

ПРО- ВОКА- ТОРЫ

ВОСПОМИНАНИЯ,
МЫСЛИ
И ВЫВОДЫ



**Виктор
ДЖАНИБЕКЯН**

ПРОВОКАТОРЫ

ВОСПОМИНАНИЯ, МЫСЛИ И ВЫВОДЫ



**ГЕЯ
ИТЭРУМ**

**Москва
2000**

УДК 351.746(47+57)(091)
ББК 67.401.212

Ответственный редактор серии
Виталий Черняский

Серийное оформление и компьютерный дизайн
С. Е. Власова

Документальная повесть, основанная на свидетельствах, воспоминаниях и архивных документах, рассказывает об интригах правящих кругов России, авантюристах и провокаторах царской охраны. Даны портреты ее агентов — Азефа, Богрова, Гапона, Малиновского, Черномазова... Дан ответ и на вопрос: служил ли Иосиф Сталин в тайной полиции? Рассказывается о карьере Лаврентия Берии — сталинского “железного” наркома и соратника.

Издательство не несёт ответственности за факты, изложенные в книге

ISBN 5-85589-061-9

© Текст, разработка серии
ООО «Гейя итэрум». Москва, 2000

*Светлой памяти родителей —
Лидии Алексеевны Гладковой
и Теворка Аветисовича Джанибекяна —
посвящаю*

«... мы пишем не историю, а биографии, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-либо ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем сражение с десятками тысяч убитых, огромные армии и осады городов».

Плутарх

«Устные свидетельства об исторических личностях точнее говорят о времени, нежели труды самых добросовестных историков».

А. С. Пушкин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Каждая книга имеет свою предысторию. Имеет ее и эта. Много лет назад, направляясь в рабочее предместье Баку, Забрат-второй, я и не предполагал, к чему приведет встреча с очередным ветераном XI Красной Армии, устанавливавшей советскую власть в Азербайджане, Армении и Грузии. Работал я тогда в местной молодежной газете, которая публиковала очерки о ветеранах армии, партии, революционного движения в Закавказье. Все они с восторгом вспоминали годы молодость, доблестный пройденный путь и кумиров, которые вели их к победам.

Да, они творили историю, им было что вспомнить.

В редакции газеты имелись списки этих людей, выверенные в различных инстанциях, не раз согласованные и утвержденные. Иногда в результате журналистских поисков они дополнялись — материалы эти, не скрою, вызывали чувство глубокого удовлетворения профессионала, сумевшего найти и узнать что-то новое. Такова специфика журналистского ремесла.

Мой друг по историческому факультету Бакинского университета имени С.М.Кирова Олег Сорокин рассказал мне о героине, как он считал, незаслуженно забытой. Зная ее адрес, взялся проводить и познакомить.

Мы условились с Олегом о встрече на Сабунчинском вокзале, откуда уходили электропоезда на Апшеронский полуостров, приобрели билеты.

Хорошо помню первую встречу — маленькую дверь, обтянутую сеткой, сгорбленную старушку в простом платье,

открывшую нам. Взгляд женщины был добрым. В руке у нее дымился мундштук, и было видно, что курит она дешевые сигареты.

— Вот, знакомьтесь, Изабелла Георгиевна, — представил Олег, — я привел к вам летописца.

Она усмехнулась:

— Всю жизнь их избегала. Слава мне чужда... Ну что вы стоите на пороге? Заходите! — И она исчезла в своей маленькой комнатухе, засуетилась на кухне — ставила чайник на плиту, доставала посуду. При всей ее строгости, чувствовалось, что гостям она рада.

Жила Изабелла Георгиевна Морозова скромно и тихо, как живут старые одинокие люди — угасающие свечи. Квартира была бедной — ситцевые занавески на окнах, часы на стене из дореволюционного прошлого, канцелярского типа шкафы вдоль стен с книгами, различными документами; этажерка, комод. Квартирка маленькая — две комнатки и кухонька; дом небольшой, разделенный с чужими людьми. Крошечный палисадник в цветах, дорожка к калитке, утрамбованная битым кирпичом. В этой части Забрата — старого поселения — дома были разные: собственные — большие, огороженные белым камнем из карадагского карьера, и коммунальные домики, принадлежащие местному нефтяному управлению, маленькие, невзрачные. В таком и жила Морозова.

В отличие от других ветеранов, обитавших в центральной части Баку в благоустроенных квартирах, ходивших на различные правительственные приемы, жила она скромно, пожалуй, даже скудно, потому что пенсия, как и у многих, у нее была небольшая. Пайки она получала не всегда, не то, что городские ветераны. Чтобы купить продукты, надо было ездить в другой поселок, а так как она почти безвылазно сидела дома, то отдавала свой ветеранский билет соседям. Те, естественно, за услугу брали кое-что себе. Оправдывая их, Морозова говорила: «У них семья большая, им не мешает помочь».

Так, благодаря Олегу в мою жизнь вошла интересная личность. Признаюсь, поначалу было трудно. Старушенция оказалась молчаливая, что-то вытянуть из нее было не прос-

то — о себе она рассказывать не любила, предпочитала вспоминать о других. В ней чувствовались большие знания, начитанность. Лично мне редко приходилось встречать старых людей с такой памятью.

Я написал о Морозовой очерк, каюсь, он был небольшим и никак не раскрывал всей ее биографии. Скромная газетная площадь не позволяла вместить то, что я уже знал о Морозовой — представительнице известного дворянского рода, ушедшей в революционное движение. Сама Изабелла Георгиевна рассказывала о себе, повторяю, неохотно, а газета требовала иного ритма...

Очерк мне вернули. Полностью его я так и не напечатал, только отдельные фрагменты появлялись в юбилейных номерах. Редактор был откровенен:

— Здесь есть вещи, которые иначе высвечивают уже установившиеся понятия. Нет, я не против публикации, но необходимо, чтобы институт истории партии дал на это согласие. Пусть там завизируют материал, как обычно...

Те, кто давали «добро» и ставили визу, долго держали у себя мою работу. У меня состоялись беседы с учеными, исследовавшими историю советского и дореволюционного периодов. Некоторые приведенные Морозовой факты и выводы они не признавали, ссылаясь на свои работы. Изабелла Георгиевна, когда я переспрашивал ее, проверяя чужие утверждения, возмущалась:

— Я рассказываю все, как было, как видела... А то, что понаписали для своей официальной истории, меня не интересует. Странно, я была знакома с человеком и не раз беседовала с ним, а они, видите ли, спустя десятилетия, оказывается, лучше меня знают, что он говорил и что из себя представлял. Когда-нибудь нашу историю очистят от всей этой скверны, от фальсификаций, и наконец, станет известна правда.

Она действительно знала многое, и порой казалось, что мы не просто беседуем, а открываем для себя неизвестные страницы навсегда ушедшего прошлого. Если бы удалось все наши беседы записать!

— Я рассказчица, а не писательница, — смеясь, отвечала Изабелла Георгиевна на мои предложения взяться за мемуа-

ры. Тогда это не было в моде, как сейчас. Оставлять записи, полагаю, люди боялись — за себя, за своих родных.

Настоящее расположение я приобрел лишь тогда, когда Изабелла Георгиевна узнала, что какое-то время жила рядом с моими родителями в Гяндже в тридцатые годы. После этого она стала полностью откровенной.

Мы дружили. В выходные дни, встречаясь с Олегом на вокзале, отправлялись в Забрат, везли съестное, книги, журналы. Чаевничая, обсуждали последние новости, ворошили старое. Изабелла Георгиевна признавалась, что с нетерпением ждет каждого воскресного дня, нашего приезда.

Однажды она встретила меня неприветливо.

— Вот почему я не хотела, чтобы обо мне писали! — выговорила мне она. — Пионеры стали приходить, из коммунальной конторы тревожить, а вчера девицы прикатили из партийного архива и стали просить передать им все документы. Обещали даже заплатить!

— Только документы не отдавайте! — предупредил я. — Потом к ним не пробьешься.

— Знаю, милый. Сама видела, как исчезали в хранилищах важные бумаги...

Но начатая за архивом Морозовой охота уже велась активно. После моей публикации выяснилось, что некоторые люди, задающие тон в ветеранском движении и добившиеся у власти больших благ, имеют меньше заслуг перед государством, чем Морозова. Это ущемляло не только их, но их детей и внуков, делающих на заслугах своих стариков карьеру.

— Вот пишут про Марию, приписывают ей всякие небылицы, — возмущалась Морозова. — А кем она была во время обороны Астрахани в 1919 году? Нет, не медсестрой, в госпитале — горшки подавала. Полезное дело творила, вот и скажи о нем, а не набивайся в друзья к известным людям. А она о себе: «Я встречалась и дружила с Ларисой Рейснер, хорошо знала Кирова». Ну и врет!

— А вы встречались в Астрахани с Ларисой Рейснер? — полюбопытствовал я.

Она молча подошла к шкафу, повернула ключ, торчавший в замке, и достала книгу Рейснер «Фронт». Открыла титул. Красивым почерком черными чернилами было выведе-

дено: «Дорогой Изабеллушке от подруги Ларисы». Книга та, между прочим, была большой редкостью.

— И с ней встречалась, и с ее мужем — знаменитым Фед-Федом, — сказала Изабелла Георгиевна. — Впрочем, про Раскольников ты, может, и не слышал, долгие годы его имя было под запретом из-за открытого письма Сталину, опубликованного за границей...

Это был только один эпизод из вереницы тех дней, в которые мы узнавали свою историю. Настоящую, не причесанную и не выглаженную в отличие от той, что была гладко построена и разложена по полочкам. Не скрою, для нас, будущих историков, то было открытием.

Я стал вести записи. Читал книги, которые были у Морозовой, искал в библиотеках те, что она советовала прочесть. Иных достать в ту пору было нельзя. Был жив спецхран, о котором сегодня уже и позабыли. А тогда, чтобы прочесть работы Троцкого или Зиновьева, воспоминания генерала Деникина, уже не говоря о мемуарах Керенского, надо было добиваться особого разрешения. Для того, чтобы работать в архивах, требовался допуск, а для того, чтобы получить его, нужны были ходатайства. В серьезной организации просили ответить на главный вопрос: с чем связана работа? Просили принести письмо от издательства, а в издательстве, в свою очередь, когда слышали про серьезную организацию, отвечали: если хотите писать для себя — пишите, у нас в планах рукописей на пять лет вперед, издавать вашу книгу о революционерах, если вы ее и напишете, да еще в таком ракурсе, мы не намерены.

Так замыкалось хождение по кругу.

Документы, собранные Морозовой и переданные ей товарищами, заслуживали особого отношения. Несомненно, они позволяли по-иному взглянуть на трактовку тех или иных событий нашей истории. Но кто принимал всерьез старушку, не имевшую ни титулов, ни постов?

Зато архивисты стучались к Морозовой, чтобы заполучить ее бумаги. Ее упрашивали, обещали льготы и деньги — свой архив отдавать она отказывалась.

Как-то пригласили меня в солидное учреждение. Беседовал со мной большой начальник, к которому прежде я про-

биться никак не мог. Он говорил запросто, словно мы были с ним давно и хорошо знакомы.

— Мы знаем, вы дружите с Морозовой, — начал он без всяких предисловий. — Знаем и то, что она вам доверяет. Нам бы хотелось попросить вас об одной любезности: уговорите Изабеллу Георгиевну передать все свои бумаги в архив, где они окажутся в надежных руках. Или же... — он сделал многозначительную паузу, — возьмите у нее эти бумаги для себя. Со временем вы смогли бы все передать нам сами. Мы думаем, что там нет ничего сенсационного, но будет жаль, если они исчезнут — обеднеет наша с вами история...

Он говорил высокопарно, призывая меня выполнить свой гражданский долг. Я выполнил его. Я рассказал Морозовой о состоявшейся встрече, рассказал подробно и честно, как на исповеди.

— Ишь чего захотели, — возмутилась она. Потом, помолчав, неожиданно спросила: — А может, действительно, надо отдать? — И резко: — Нет, не отдам! Умру, тогда пусть и берут. Что будет, то будет...

Я поинтересовался, почему же идет такая охота за ее бумагами? Она высказала только одно предположение, словно не было других:

— Хотят уничтожить. У меня есть кое-что такое, что внесет сумятицу в их многотомные издания, доктора наук и академики будут посрамлены. Они же изрядно набрежали и теперь горят желанием, чтобы все так сохранилось, как ими сочинено...

— Какие же у вас могут быть секреты? — поинтересовался я.

— Кое-какие, — с улыбкой ответила она. — Я ведь даже дома не все держу, а храню у надежного человека. Когда умру, этот человек и передаст все бумаги тебе и Олегу — вот тогда и решайте, как с ними поступить. Как найти вас, этот человек знает.

— А вам не кажется, Изабелла Георгиевна, что здесь какая-то мистика. Вы что-то прячете, кто-то это ищет...

— Нет, не мистика, а тайны, которые со временем должны стать известны всем.

— Какие могут быть тайны в наше время, когда все изучено и опубликовано?

— Да, в наше время многое известно, но не все. А я ведь знаю много интересного, — добавила она вполне серьезно. — Умру и заберу все с собой.

Я слушал внимательно, намного внимательнее, чем прежде.

Морозова, как я узнал, работала в бакинском подполье, выполняла особые поручения партийных комитетов. Одно время ее наставником был Леонид Красин, возглавлявший боевую организацию большевиков. Позже она была в комиссии, которая разоблачала секретных сотрудников царской охранки и полиции. В двадцатые годы входила сразу в две комиссии Азербайджанской ЧК — боролась с провокаторами и с проституцией. В одну входила добровольно, в другую — по принуждению. Председателем АзЧК тогда был Баба Алиев. Позже его место займет Джафар Багиров, заместителем которого станет будущий сталинский «железный» нарком Лаврентий Берия. Так вот, Баба Алиев в ответ на очередную ее просьбу сказал: «Нет у нас женщин, Изабелла, нет! В комиссию со стороны мы брать никого не будем, нужны люди свои, проверенные! Так ты, пожалуйста, успевай!»

— О тех, кто сотрудничал с охранкой, мы помещали заметки в газетах. В то время эта тема была особой — провокаторов ненавидели, руки по ним чесались. В тридцатые, строча доносы, анонимы указывали на своего врага или недруга, мол, сотрудничал он с царской охранкой, контрразведкой мусавата, — то были страшные обвинения, защититься было трудно.

В тридцатые годы, когда начались активные поиски врагов среди своих, к Морозовой поступали:

— Изабелла Георгиевна? Вы нам нужны!

Она пришла в организацию, которую когда-то создавала. Самое странное, вспоминала она, что в анкете, которую приходилось тогда заполнять, черным по белому было написано: «ЧК — храм революции». В тот период так считала и она, пока не разочаровалась и в самой организации, и в самом движении.

В НКВД ей показали газетную верезку, дескать, вы подтверждаете, что Н. был стукачом охранки? Она удивилась вопросу и посоветовала поднять из архива дело, которое вела когда-то с товарищами. По ответу поняла, что такого дела в архиве почему-то уже нет. Беседовавший с ней сотрудник признался:

— Мы стали изучать дела партийных работников и вышли на Н. Оказалось, что он в анкете не указал про своего отца, а тот, выходит, был агентом охранки, враг, одним словом! А вы знаете, что объясняет его сын? Он утверждает, что отец выполнял задание партийной организации, и даже привел к нам свидетеля.

Морозова спросила:

— Через пятнадцать лет выяснилось, что он сотрудничал с ротмистром Зайцевым по заданию партии? А задание давал ему от имени партии один человек? Не Сталин ли?

Сотрудник побледнел и поднял глаза. На стене висел портрет товарища Сталина, и офицер боялся произнести лишнее слово.

— Не пугайтесь, — успокоила его Морозова. — С товарищем Сталиным я работала в бакинском подполье, я его знаю, и он знает меня. Так вот, если бы этому вашему Н. дал задание сотрудничать с охранкой сам товарищ Сталин, то об этом обязательно знали бы еще два человека в комитете. Кто именно? Те, кто работал против полиции, — имена этих людей были известны руководителям комитетов. Узнать их можете и вы. Обратитесь к товарищу Енукидзе, если не хотите тревожить товарища Сталина...

— Я вас понял, — сказал чекист. — Простите, что потревожил. Не знал, что вы работали с товарищем Сталиным. Значит, вы знаете и первого секретаря ЦК товарища Багирова?

— И товарища Багирова знаю, и товарища Берию, — добавила тогда она.

— Кстати, — продолжила Изабелла Георгиевна, уже обращаясь ко мне, — у Лаврентия Павловича были некоторые сложности с парткомиссией, которая занималась провокаторами.

— Известны факты сотрудничества Берии с охранкой?

— Нет, не с охранкой, хотя и это не исключено. Но в контрразведке мусавата он служил, и даже ходили разговоры, что имел отношение к убийствам в ней наших агентов. Подозрения были серьезные...

Как бусинки на ниточку, нанизывались различные эпизоды — вот и о Берии ходили нехорошие слухи, а ведь Морозова была причастна к разоблачению провокаторов, действовавших в бакинском подполье, — Егорова, Леонтьева, Козловской, Сергеева, Чуркина, Бакрадзе и других.

Да, она была действительно интересной личностью. Выросла в родовитой семье, отец ее был инженером, служил в Тифлисе в железнодорожном ведомстве, дружил с наместником Кавказа, И. И. Воронцовым-Дашковым, с семьей графа Витте. В молодые годы увлекалась идеями социализма, занималась в революционном кружке, выполняла задания бакинского городского и некоторых районных комитетов партии. Ей верили, на нее полагались. В годы гражданской войны Морозова принимала участие в обороне Астрахани, была в закордонной разведке. Была в числе тех, кто участвовал в установлении советской власти в Азербайджане, Чечне, Дагестане, Грузии. Работала в ЧК, потом по специальности — в медицинских учреждениях. Профессия медика ее не раз выручала. В первый раз, когда она ушла из ЧК, чтобы бороться с холерой в астраханских степях, и во второй, когда как врач она была необходима в лагере, где отбывала срок в тридцатые годы. Это ее спасло. Спасло, потому что к своим, попавшим им в лапы, энкаведешники относились плохо. Они считали их самыми отъявленными предателями.

В ее жизни было много интересных встреч. В Астрахани она работала вместе с Кировым, Шляпниковым, Мехоношиным, Атарбековым, Бутягиным, Колесниковой, Лещинским... Она знала Спандаряна, Шаумяна, Азизбекова, Стурра, Камо, Фиолетова, Серго Орджоникидзе, Орахелашвили, Екукидзе, Каспарова, Тер-Габриэляна, Кариняна, Мусабекова, Нариманова и многих других, о ком в советское время слагали легенды, писали книги, снимали кинофильмы. Иных вычеркивали, словно их не было вовсе, но она о них помнила. В тетрадах мелким почерком делала записи. Это был своеобразный дневник, который она вела и смогла

сохранить, несмотря на превратности судьбы. Не раз говорила, что очень сожалеет о тех документах, которые ей не удалось уберечь. Товарищи сдавали ей свои ценности, как в камеру хранения, говоря: «Так надежнее».

Морозова собрала интересный архив, который помещался в канцелярских шкафах, стоявших в ее комнате.

Убедив ее написать хоть какие-нибудь воспоминания, я увлек ее работой. Она коснулась гражданской войны, высказав и свое личное мнение, которое в ряде вопросов расходилось с постулатами официальной истории. Возможно, потому книга ее так и не увидела свет. Мои хождения в издательства и различные инстанции были безрезультатными. В конце концов она сказала: «Сохрани, когда-нибудь и стодится».

Возможно, ее записи и будут изданы. Но будут ли они интересны нашему поколению, которое уже многое знает и которое уже отреклось от прежних кумиров, разочаровавшись в них и в их делах? Не знаю, утверждать не могу.

Некоторые документы, переданные мне Морозовой, я использовал в повести о Георгии Атарбекове — личности неоднозначной и по-своему трагической. Одновременно записывал рассказы своей собеседницы о подпольной работе и борьбе с провокатурой. Иные записи вошли и в эту книгу.

Лишь после того, как газета «открыла» Морозову, на нее обратили внимание власти. Даже выделили новую квартиру в поселке 8-й километр, в доме по 811-му проезду, на окраине Баку. С насиженного места она переезжать не хотела, мы с Олегом долго ее уговаривали: «Все же новая квартира, есть удобства». Она заметила: «Вы бы видели квартиру инженера Морозова в Тифлисе!» Мы парировали: «Вы же сами делали революцию, чтобы всем было поровну!» — «К сожалению, вышло иначе», — с горечью констатировала Изабелла Георгиевна.

Уже на новой квартире мы много говорили о борьбе с провокатурой — так называли революционеры свое противодействие царской охранке. Конечно, не только с большевиками боролась охранка, всем революционным течениям досталось от нее — и большевикам, и эсерам, и меньшевикам...

Вот так, собственно, и начиналась эта работа. Мне представлялось, да и сейчас я такого мнения, что интерес к своему прошлому у нас сохранится всегда.

— Если доведется и ты издашь свои записи, — говорила Морозова, — то обязательно посвяти работу родителям. Они были прекрасные люди...

Изабелла Георгиевна вспомнила, как вернувшись из лагерей, была принята моим отцом и матерью, в то время как другие, родные и друзья, боялись открыть двери — страх режима еще убивал в людях все доброе и хорошее. «А у твоих родителей было иначе, — радовалась она, — доброта в них одолела страх. Я всегда высоко ценила таких людей...»

Мне вспомнился случай, как Морозова пришла к первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана Багирову в годы террора просить за товарища, высказав вслух сомнение, что тот может быть врагом народа. Только тот, кто жил в ту эпоху, поймет, что это был за шаг. Сам Багиров поразился ее смелости.

— Знаешь, Изабелла, ты можешь ошибиться, — ответил он. — Люди ведь меняются. Ты знала одного человека, а он остутился, стал другим. Ты понимаешь, что классовая борьба обостряется, тут не до снисхождения...

— Отвечу, Джафар, тебе словами писателя Короленко, — неожиданно произнесла она, хотя намеревалась сказать совершенно иное. — Он писал, что история еще вспомнит, как большевики расправлялись с революционерами так же, как с ними расправлялся царский режим.

— Ты слишком горяча, — сказал Багиров, — потому и рубишь сплеча. Другой бы на моем месте поступил иначе, но я тебе советую молчать. Ты ничего мне не говорила, я ничего не слышал. Если что надо другое, проси...

Это был предпоследний их разговор. Последний состоялся, когда ее досрочно освободили, сняв все обвинения. В пятьдесят шестом году Багирова расстреляли. Он был объявлен врагом народа. Рассказывают, что во время следствия Мирджафар изрек фразу: «Морозова была все же права», — и дошныые следователи стали выяснять, кто такая Морозова, о которой он неожиданно вспомнил.

В том году о ней знали немногие, разве что оставшиеся в живых бакинские подпольщики. В тридцатых их было значительно больше. Тогда-то, ожидая арестов, товарищи доверяли им свои документы.

Рассказы очевидцев, документы и воспоминания служат хорошим материалом для задуманной мною книги. Я предлагал написать ее Морозовой.

Браться за перо Изабелла Георгиевна не хотела, просила: «Напиши ты, время и возможности у тебя есть. А я, чем могу — помогу...»

История борьбы тайной полиции и революционных партий меня всегда увлекала. Так появилась эта книга. Вошло в нее не все, многое, по ряду причин, осталось за рамками повествования. Возможно, когда все соберется в единое целое, получится более подробный рассказ о далеком времени.

Для того, чтобы дополнить портрет женщины, которая помогла мне в работе и была ее фактической задумщицей и вдохновительницей, поведаю, как освободили Морозову из лагеря. Случай в нашей истории уникальный, второго подобного, по-моему, не было. На совещании в Ставке во время войны к Сталину, рискуя жизнью, обратился генерал, который знал Изабеллу Георгиевну еще по XI Армии, сказав, что арест Морозовой никак не вяжется с действительностью. «Вы уверены в том, что она не виновна?» — спросил Сталин. «Да!» — прозвучал по-военному короткий ответ. Сделав паузу, Сталин сказал: «Я помню, как барышня Морозова носила нам секретные записки комитета и проверяла явочные квартиры накануне собрания... Вы правы, такой человек не может быть врагом!» Тут засуетился Берия: «Мне не доложили... Я знаю Изабеллу, это же настоящая большевичка... Я все выясню!»

В далекий казахстанский лагерь пришла телеграмма, чтобы с делом Морозовой немедленно разобрались. Начальник лагеря бросился в ноги заключенной, произнося смешную фразу: «Вам же было здесь хорошо! Подтвердите, умоляю вас!» Ее освободили, потому что телеграмма была подписана самим Берией. Виновных тут же расстреляли — начальника лагеря, его зама по оперчасти и заодно (был удобный случай расправиться со своими врагами) нескольких офицеров. Когда она вернулась домой, в пустую квартиру, к ней наведалься

большой чин НКВД. «Как вы устроились? — поинтересовался он. — Не волнуйтесь, мы обставим вашу квартиру... Кстати, Изабелла Георгиевна, наказать следователя, который вел ваше дело, мы не можем. Его уже нет...» Она ответила: «Я так и думала. Уж слишком рьяно он искал врагов. Когда уничтожаешь людей ради карьеры, служба обычно заканчивается в камере...» «Вы правы», — не смущаясь, согласился чин.

Она не отрицала, что на стене ее квартиры долго висела фотография молодого Сталина вместе с фотографиями других революционеров, с кем ей приходилось дружить и работать.

— Было в нем что-то дьявольски притягательное, — признавалась она, объясняя свой поступок. — А может, сказывалось влияние далекой молодости, когда мы все бываем такими наивными...

Я видел ту фотографию. Я взял ее себе, как доказательство причастности моей героини к революционным делам. На оборотной стороне твердой фотографической карточки, сделанной в девятьсот седьмом году в Баку и сохранившей, несмотря на прошедшие десятилетия, черты вождя, стояла подпись Кобы: «Изабелле, верному другу. Иосиф». И подпись, которая еще не так давно была хорошо знакома миллионам людей.



НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБ ОХРАНКЕ

Самым могущественным и страшным из всех министерств в царское время, несомненно, было министерство внутренних дел. После первой русской революции значение этого ведомства для династии Романовых еще больше возросло — боялись новых революций и новых потрясений.

Министр располагался в здании у Чернышова моста. Дом сразу бросался в глаза.

Но само министерство было не так страшно, как страшен Департамент полиции, располагавшийся на набережной Фонтанки в доме № 16.

С виду это было тихое заведение, вокруг которого не замечалось суеты. Главный подъезд выходил на Фонтанку.

Бывавшие в том здании отмечали, что больше оно напоминало частное владение, чем государственное учреждение. Мебель — белая с позолотой. На лестнице, выложенной мрамором, стояли кадки с растениями, привезенными из экзотических стран. В ветвях пощелкивали канарейки. Странное явление: все без исключения полицейские чины царской России любили этих птичек. Может, мода была особая в том ведомстве, а быть может, просто копировали начальство.

На мраморной доске возле центральной лестницы были высечены фамилии жандармов, погибших за царя и Отечество, — их чтили и помнили.

Находилась здесь картинная галерея с портретами всех императоров, чуть ли не лучшая коллекция Российской империи. Картины принадлежали кисти известных мастеров,

отражали величественность представителей династии. После революции все они исчезли.

Но не коллекция составляла главную ценность размещенного в здании ведомства. Главным здесь было иное. На втором этаже, в огромном зале, помещалась не менее огромная картотека, или, как ее называли сами сотрудники, «книга живота». В списках ее картотеки числились все подданные империи, имевшие неосторожность обратить на себя внимание властей. Ежедневно сюда стекались различные данные: о потерявших паспорт, о дебоширивших в ресторациях, о произносивших крамольные речи, о подписавших в местном издании обывательскую записку. За считанные минуты можно было получить на сером листе бумаги все необходимые сведения.

На первый взгляд картотека казалась безобидной. Но это было не так. Собранные за многие годы и затем строго систематизированные данные делали ее важной и необходимой сыску в его неустанных поисках.

Сам сыск, собственно, находился в этом же здании, на третьем этаже. Все собранное в картотеке было ему просто необходимо — списки личного состава, доносы агентов и филеров, находящиеся в толстых, аккуратно прошнурованных папках, сведения на самих агентов. Здесь же находилась исключительная по своей ценности библиотека, фонду которой могла позавидовать любая другая. В ней хранились не только разрешенные издания, но и все те, что были в империи строжайше запрещены. На стеллажах лежала вся систематизированная легальная и нелегальная литература: та, что привозилась скрытно из-за границы, и та, что конфисковывалась. Многие издания были просто уникальны.

На бесшумном лифте, который не был слышен даже в нескольких шагах, можно было подняться на четвертый этаж и попасть в ту часть департамента, где велись разработки различных акций. Впрочем, в эту часть мог попасть не каждый сотрудник, так же как и в архив, где хранились секретные документы, скрывавшие имена провокаторов, состоявших на довольствии в охранке и полиции.

Кто только не мечтал заглянуть в секретные папки, доступные особо высоким чинам империи, ознакомиться с их

содержимым, узнать тайны, скрываемые за семью печатями. Подобное стало возможным лишь в феврале 1917 года, когда олна новой революции смела царствующую династию. Вот тогда-то и засуетились революционеры и их противники для того, чтобы получить доступ в «святая святых», в сердце охранки, так долго их терроризировавшей. Все ожидали: непременно взорвется бомба! И не ошиблись. Сенсация следовала за сенсацией. Становились известны имена провокаторов. Всплыло имя А.С.Романова, который был делегатом Пражской конференции большевиков, представляя организации Центрального промышленного района. Оказалось, что революционер «Аля», т. е. А.Шурканов — старый агент Московского охранного отделения.

Но бомба заключалась в другом. В секретном досье обнаружилось доказательства провокаторства Романа Малиновского, который совсем недавно являлся членом ЦК РСДРП и большевистской фракции IV Государственной думы. До этого большевики в предательство Малиновского не верили, но против документов возражать уже не могли.



Вспоминая дело Малиновского, большевик Леонид Красин сказал:

— Провокатора подвел учет. В этом плане охранка была точной...



Строгий учет, как в самом центре, существовал и во всех охранных отделениях. В Московском, например, на учете числилось свыше 300 тысяч человек. В особом сейфе хранились карточки на 30 тысяч человек, признанных опасными революционерами. В другом сверхсекретном сейфе, к которому имели доступ лишь несколько человек, значились имена агентов.

Карточки на подозреваемых в революционной деятельности были везде одинаковыми, что в столице, что в Киеве, Баку, Тифлисе, Ростове и других городах. Это были как раз те учетные карточки, о которых упоминала Морозова.

Они были примитивны и, как могло показаться, бесхитростны. На каждой значились фамилия, имя и отчество, зва-

ние, перечислялись приметы подозреваемого, указывались даты обыска, ареста, высылки, временного задержания. На оборотной стороне вписывался псевдоним секретного сотрудника, от которого поступали сведения. Карточки строго различались по цветам, что позволяло сразу же определить принадлежность подозреваемого к той или иной партии.

— На вас была карточка в охранке? — спросил я у Морозовой.

— Конечно. Лично я ее видела уже после революции, когда вместе с товарищами, перебирала архив бакинской охранки. Скромная была карточка, выходит, всерьез меня долго не воспринимали. Отмечалась только в сношениях с большевиками, а за это в тюрьмы не сажали. Кроме того, я общалась с ограниченным кругом лиц, входящих в руководящее звено, а там провокаторов было не так много, как в низшем. Все друг друга знали.



Думаю, Изабелла Георгиевна была права. На карточке отмечались три донесения о связях с руководителями бакинской и тифлисской организаций, — выходит, ее «вели», но, к счастью, арестов и высылки она избежала. До советского времени. Но об этом — в другом месте.



В мае 1920 года Изабелла Георгиевна Морозова входила в группу большевиков, которая выявляла провокаторов, действовавших в дореволюционные годы в Баку. К сожалению, было потеряно много времени, упущена возможность вскрыть все подлинные имена, — за три года, прошедших после Февральской революции, власть в городе сменялась несколько раз. Документы, естественно, уничтожались.

Морозову вызвал к себе Серго Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар по Кавказу, которого она знала еще по подпольной работе.

— Решили, Изабелла, тебя в комиссию включить, — начал он без всякого предисловия. — Кандидатуру предлагаю по двум причинам. Первая — этими вопросами ты, кажется, занималась с Красиным еще в старые времена. Вторая —

Нариманов, Микоян, Караев, Буниат-заде и другие товарищи верят в твою принципиальность. Так что, дорогая, вопрос решен...

Всегда отличавшаяся энергичностью, Морозова принялась действовать незамедлительно. Вспомнила всех товарищей, которые по поручению большевиков занимались ликвидацией охранных учреждений еще в семнадцатом году. Отыскала Аршака Хачиева и Баласана Григорьяна, которым для этого даже выписывался мандат.

— Они мне рассказывали, — вспоминала Изабелла Георгиевна, — что тогда, в семнадцатом, успели арестовать жандармского подполковника, но все же промедлили — ротмистры охранного отделения скрылись, унеся с собой некоторые документы. А нам повезло, мы задержали сотрудника наружного наблюдения, который руководил филерами. С него и стали разматывать клубок...

Старший филер, понимая трудность своего положения, выкладывал все начистоту, надеясь на снисхождение. Несколько имен он назвал сразу.

Первый агент, который был установлен с его помощью, носил псевдоним «Даш Алты», больше известный под кличкой «Дорогой». Работал он в бакинской охранке с 1907 года, получая в месяц по 200 рублей — сумму по тому времени немалую. В его обязанности входила информация о большевиках. Как выяснилось, благодаря его сведениям охранке удалось арестовать Кнунянца и Зурабова. Он же помог полиции обнаружить склад дашнаков в Завокзальном районе Баку с оружием, за что получил вознаграждение в тысячу рублей.

Правда, ромистр отдельного корпуса жандармов Зайцев был не очень доволен этим «открытием».

— Дашнаки нам не мешают, они действуют на территории, захваченной Турцией у Армении. Это забота турков... С революционерами нашими дашнаки не связаны — к чему все это? Ты нам говори о складах и типографиях, организованных нашими революционерами.

«Дорогой», когда его арестовали, совсем пал духом. На первом же допросе на коленях просил пощады.

— Я скажу вам все. Все, что спросите, и все, что не спросите, а я знаю — все расскажу! Поверьте!

Был разоблачен и большевик Сергеев, сотрудничавший с охранкой, как оказалось, тоже с 1907 года. То был очень популярный рабочий в бакинской среде, и это «открытие» вызвало большое удивление. Многие большевики не хотели этому верить, даже бывшие члены подпольного городского комитета. «Ты, Изабелла, ошибаешься!» — говорили они. Она отвечала: «Рада бы, да факты говорят об обратном».

Держался Сергеев иначе, чем «Дорогой». С самого начала стал уверять, что провокатором никогда не был и что все сказанное — выдумка жандармов, которые специально распространяют о нем порочащие слухи, чтобы подорвать популярность среди рабочих. Но Аршак выкопал в архиве неопровержимую улику — расписку Сергеева, в которой он подтверждал, что получал за оказанное содействие охранному отделению по 60 рублей в месяц.

Морозова изобличила предателя, устроив над ним партийный суд, за что получила от товарищей кличку «охотник за шпионами». В бакинской среде ей верили так же, как знаменитому разоблачителю провокаторов В.Л.Бурцеву, зная, что напраслину возводить она не будет и всегда постарается докопаться до истины, кто бы ей ни мешал.

Фигура третьего провокатора — некоего Бакрадзе — весьма любопытна. Он служил истопником в бакинской гимназии. Когда его вызвали на допрос и заявили, что имеются все данные о том, что он состоял на службе у охраны с 1908 года, он нисколько тому не удивился. Напротив, возразил: не с восьмого года, а с седьмого. Причем сказал об этом спокойно, без всякого сожаления о содеянном, подробно перечислив свои доносы, по которым арестовывали на сходках большевиков и меньшевиков. За свое доносительство он получал ежемесячно 40 рублей и был весьма удручен, узнав, что другие агенты бакинской охраны получали гораздо большее вознаграждение.

— Сволочи! — ругал он жандармов. — А мне божились, что я у них самый лучший сотрудник. Сволочи! А платили-то меньше, чем другим...

Тогда впервые от Хачиева Морозова узнала, что у охраны были свои осведомители в бакинской школе техники и конструкций. Фамилий он не помнил — в семнадцатом его интересовали платные агенты, действовавшие в партии,

а что касалось осведомителей, так тех было немало в различных местах, всех не упомнить.

И все-таки Хачиев вспоминал:

— Был осведомителем в школе один грузин, веселый, общительный. Фамилию не называли, кличка, кажется, была «Карьерист». Мне один из жандармов сказал, что далеко пойдет этот прохвост, маму продаст, не то что товарищей. Говорил, что такой дряни в жизни не встречал.

Школа техники и конструкций, о которой я еще скажу в отдельной главе и по другому поводу, была оценена жандармом накануне революции абсолютно верно. Как только речь шла о том, кто учился в этой школе, а потом стал при большевиках большим начальником и даже вождем, следовало проверять — не осведомитель ли он? Профессионалы сыска свое ремесло знали досконально, в людях разбирались — в этом мы убедимся не раз.

У тех же, кто выискивал провокаторов, были и свои трудности.

— Не все они числились в картотеке, — рассказывала Изабелла Георгиевна. — Бывало, какой-нибудь чин имел своего личного осведомителя, о котором не знал никто. Жандарм, грубо говоря, сам содержал его, оплачивая услуги. Получая информацию, учитывал ее ценность. Бывало, такой агент получал не вознаграждение, а протекцию — это тоже было немало. Так что мелкие осведомители так и остались неизвестными...

— А как Лаврентий Берия?

Этот вопрос не давал мне покоя.

— К этому разговору мы с тобой еще вернемся, — отвечала она. — По логике тех событий, что произошли позже, с полицией он был связан. Но тогда мы никаких следов не обнаружили, кроме признания жандарма Хачиеву. Все документы школы перевезли в Азербайджанскую ЧК, где часть их потом таинственно исчезла. Дел тогда было невпроворот, так что до них просто не дошли руки. В сущности, кто-то их изъял...

Кстати, в АзЧК Морозова позже разоблачила двух осведомителей охраны, которые пробрались в организацию, носящую громкое название «Разящий меч революции»...

Разговор о Берии впереди. Пока же отметим, что удалось установить старым большевикам по горячим следам. В бакинской организации действовали провокаторы Егоров, Прусков, Леонтьев, Чуркин, Козловская...

Для того, чтобы их выявить, пришлось перевернуть целую грудку документов и опросить многих товарищей. Комиссия установила, что эти провокаторы имели в той или иной степени отношение к провалам типографий, случившихся в Баку в 1902 и 1907 годах, двух конференций в 1905 году, собрания на квартире купеческой вдовы Левит на Гимназической улице в 1907 году, где была арестована большая часть членов бакинского комитета большевиков, арест в литературно-художественном клубе «Наука» в 1911 году. Тогда охранке удалось арестовать многих активистов бакинской организации.

Неустанные поиски комиссии выявили опытных провокаторов, действовавших долгие годы в рядах бакинских большевиков, эсдеков, меньшевиков, эсеров и прочих. Но все это относилось к 1902–1914 годам. Провокаторы более позднего периода так и остались неизвестными.

— В этом много удивительного, — спустя десятилетия вспоминала Морозова. — Например, исчезли карточки одних, но остались документы на других агентов. Ведь по сути жандармам надо было скрывать опытных сотрудников, старых, а вышло так, что их картотека сохраняла, а мелюзгу нет. Аршак и Баласан долго терзали себя вопросом: почему так произошло? Потом пришли к выводу: кто-то из мелюзги, имевшей маленькие грехи, мог при новой власти подняться вверх, на это, видимо, и рассчитывали те, кто выкрал часть картотеки.

Впрочем, ответ на этот вопрос она пыталась узнать, работая в АзЧК, когда к ней попал один из служащих канцелярии охранного отделения. Тот пояснил дело так:

— Мы пытались уничтожить все документы, но не было приказа. Тогда мне дали команду изъять из картотеки «новичков», что мы и сделали.

На поверхности, как известно, лежали имена «молодых». Их уничтожить было легче, чем фамилии опытных провокаторов, проходивших по многим секретным документам.

Для того, чтобы скрыть все имена, необходимо было уничтожить весь архив. Но часть архива все же сохранилась.

— Наши начальники полагали, что революция закончится, как в пятом году, — рассказывал собеседник Морозовой, — а если так не произойдет, думали они, то и новой власти понадобится старая агентура.

Но они просчитались. Просчитались в том, что новой власти потребуются старые предатели. Новая власть всегда набирает новых, старые, как правило, ей бывает не нужно.



Из записей И.Г.Морозовой.

«Если мне не изменяет память, то, по-моему, в 1907 году охранка разработала систему шифра губернии уже не по значимости партийных организаций, а по алфавиту. Теперь система политического сыска охватила всю территорию Российской империи полностью. В делах сосредоточивалась самая разнообразная документация: перехваченная при перлюстрации партийная переписка комитетов в виде подлинников и копий листовок, резолюций, решений партийных организаций; а также переписка главного жандармского управления с департаментом по наблюдению за местной организацией — записки о ее деятельности, донесения об обысках, арестах, вырезки из газет. На каждую губернию заводилось несколько дел под литерами А, Б, В, Г — они указывали на характер документов. Для удобства пользования предусматривался определенный цвет на делах. Дела без литеры были белокремовыми, под литерой «А» — бело-серыми, под литерой «Б» — темно-розовыми, под литерой «В» — зелеными, а под литерой «Г» — синими.

Так же формировались дела по наблюдению и за другими партиями.

В делах под литерой «А» собирались материалы под общим названием «разная переписка» — здесь находились документы о разработке в особом отделе адресов, по которым шла переписка местной партийной организации с центром о выяснении лиц, связанных с местной организацией, встречались циркуляры о розыске партийных деятелей. В делах

под литерой «Б» собирались материалы агентурного характера и перлюстрация; под литерой «В» — наружного наблюдения, а под литерой «Г» — о партийных изданиях и их распространении.

Департамент полиции стремился держать в поле зрения деятельность всех революционных лидеров и партийных центров и, нарушая свои же инструкции, поощрял своих сотрудников к активной партийной деятельности с целью получения большей информации о «партийных верхах».

Особой была литера «В», под которой собирались отчеты по наружному наблюдению. Филерская служба была одним из важных методов розыскной деятельности. Существовала инструкция по наружному наблюдению, где перечислялись предъявляемые к филерам требования. При комплектовании штата филеров предпочтение отдавалось строевым запасным чинам унтер-офицерского звания не старше 30 лет. Приводились качества, так необходимые для филеров: благонадежность, честность, трезвость, ловкость, смелость, сообразительность, выносливость, терпеливость, настойчивость, осторожность, дисциплинированность, крепкое здоровье, «особенно крепкие ноги», хорошее зрение, слух, память, неброская внешность.

В случае необходимости к работе по наружному наблюдению привлекались жандармские унтер-офицеры, хотя это и не рекомендовалось, а также работники гостиниц, меблированных комнат, дворники».

— В Баку, — рассказывала Морозова, — было, например, штатных филеров человек двадцать. Это мне стало известно уже после революции. Так вот, восемнадцать из них я знала в лицо.



Тайная агентура политического сыска по всей империи составляла почти 40 тысяч человек. В ней действовали завербованные охранкой и жандармскими управлениями представители всех сословий: рабочие, крестьяне, студенты, солдаты и даже члены Государственной думы, к примеру, Малиновский, Ильин, Шурканов. Тайные агенты в большинстве случаев получали ежемесячное жалование в

пределах 30–50 рублей, что для того времени было весьма значительной суммой.

Но были и такие, которые получали гораздо больше и ценились выше остальных. О них, думаю, удастся рассказать, хотя, может быть, и не в полной мере.

В советское время агентов стало значительно больше. Новая эпоха потребовала значительного количества энтузиастов, и осведомителями органов внутренних дел и госбезопасности становились десятки тысяч людей в различных ведомствах, организациях. Если, к примеру, охранка не смогла практически завербовать ни одного русского ученого или общественного деятеля, то в советский период осведомителей из этой категории, платных и большей частью добровольных, было немало.

К сожалению, под предлогом соблюдения государственных интересов многие имена «спрятали», закопав в архивах так глубоко, что потребуется немало сил и, разумеется, времени для того, чтобы восстановить правду. Несомненно, многие важные документы к тому времени будут уничтожены.



Беседуя с царским генералом В.Ф.Джунковским, председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский интересовался не только организацией личной охраны царя, но и общими вопросами агентурного наблюдения, которым была охвачена империя. В первую очередь его интересовали промахи революционеров — он был старым подпольщиком и, разумеется, хотел знать слабые места в работе большевистских организаций.

Джунковский признался:

— Я лично никогда не любил... — он сделал брезгливую гримасу, — провокаторов и доносителей.

Дзержинский, услышав это, рассмеялся.

— Но без них не может быть никакой контрразведывательной работы, — возразил он. — Правда, нам намного легче, чем было вам. Вы набирали платных осведомителей, а мы действуем на основе классовой сознательности масс. Наши люди приходят в ЧК сами и говорят: вот там-то собираются враги советской власти, обратите на них внимание. И, знаете, благодаря этому мы раскрываем много гнусностей.

Джунковский побледнел:

— Если вы докатитесь до массового доносительства, вы себя погубите. Конечно, кто-то должен заниматься грязным ремеслом, для того и существует сыск, но если этим займутся все, то будет страшно... Понимаете — страшно. Исчезнет понятие чести — вы же это понимаете лучше меня...



Совершим еще один небольшой исторический экскурс. В 1918 году в Москве вышла некая книжонка, ныне забытая. Для нашего разговора она просто-таки необходима. Называлась она весьма прозаически: «Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 г. по 1916 г. бывшего Московского охранного отделения». Оттуда мы и почерпнем некоторые положения инструкции, касающейся внедрения и организации внутренней агентуры, практиковавшейся в дореволюционное время.

Итак, в ней изложены общие требования, предъявляемые к тайному сотруднику охраны, работавшему в революционных организациях. Вот часть вопросов, на которые он должен был четко и недвусмысленно ответить.

1. В чем заключается программа партии, в которую он входит и о которой будет давать сведения?
2. Как сформирована местная организация партии, из каких отделов она состоит?
3. Какая литература этой партии распространяется в данное время?
4. Кто из членов партии был арестован и кто оставался на свободе?

Были и другие вопросы, касающиеся наблюдения, но главные состояли в следующем: они требовали более обстоятельного ответа, вдумчивости и сосредоточенности.

Та же инструкция ставила задачу обязательной перепроверки всех получаемых от секретных сотрудников сведений, подчеркивая, что «ложное заявление, искаженное в ту или иную сторону добываемых сотрудниками сведений, и умышленное создание обстановки преступления в видах получения вознаграждения, из мести или иным соображениям личного характера, является тяжким преступлением и наказу-

ется на общем основании согласно существующих на сей предмет законов».

Не мешает заглянуть и в раздел, где шла речь о вербовке агентуры. Там четко сказано: из революционной среды желательнее переманить на свою сторону «слабохарактерных, недостаточно убежденных, жадных до денег, давших правдивые показания на следствии, избобличивших своих же товарищей по борьбе в антиправительственной деятельности, лиц, крайне материально нуждающихся, способных предавать своих товарищей за деньги».

Имелось там и прямое указание способствовать продвижению на руководящие должности в революционных организациях тайных агентов, систематически проводить аресты наиболее опытных и авторитетных работников.

Многое из этой инструкции было позже использовано одним из советских «железных» наркомов Генрихом Ягодой, когда создавался советский репрессивный аппарат. Последователи знали: надо использовать все то, что давно уже изобретено до них. А изобретено, как видим, было немало.

Что же говорили о своих агентах сами профессионалы?

В различных источниках мы найдем много интересного, но для того, чтобы не утомлять читателя пересказом всей литературы, обратимся лишь к некоторым выдержкам.

Вот мнение небезызвестного начальника Московского охранного отделения корпуса жандармов подполковника А.П.Мартынова: «...без хорошего провокатора невозможно сделать карьеры. Только там, где есть «солидные сотрудники», и выдвигаются жандармы. Словом, «солидный сотрудник» — это успех, это повышение, награды, бесконтрольные суммы, власть».

По мнению Мартынова, «солидный сотрудник» — это опытный агент.

Коротко, но ясно.

Между прочим, многие сведения из истории революционных партий, в том числе и КПСС, почерпнуты из документов охраны и полицейских источников, которые довольно таки объективно отражали все происходящие события, если имели к ним доступ. Уж как точно описал в своей книге «Ис-

тория большевизма в России», изданной в 1922 году в Париже, бывший охранник генерал А.И.Спиридович события, которые происходили на Пражской конференции большевиков. Информаторов, как мы теперь знаем, было трое: Малиновский, Шурканов и «Аля» — Романов, непосредственные участники событий. И если большевики ради конспирации уничтожали многие записи, скрывая их, то донесения провокаторов были точны и непредвзяты. Ведь действовали они по инструкции.

В документах, составленных опытными охранниками, а также в воспоминаниях, которые они написали после крушения империи, мы находим немало поучительного, проливающего свет на многие происходившие события.

Вот, к примеру, свидетельства генерала П.П.Заварзина, бывшего в свое время начальником Московского охранного отделения. Он делал подробный отчет о деятельности партии большевиков, с которой много лет боролся.

«В работу посвящались лишь причастные к тому или иному действию. Лица высших организаций появлялись в низших всегда под псевдонимами. Переписка с шифром и химическим текстом. Активные работники зачастую жили по нелегальным паспортам и для корреспонденции своими квартирами не пользовались. Корреспонденция в их адрес направлялась на имя нейтральных лиц. Избегали излишних встреч друг с другом. Старались не хранить материалов, которые могли бы быть использованы против них полицией. Стремилась обнаружить за собой установленное наружное наблюдение. Выставляли условные знаки в случае прихода полиции и ареста. Лампа или какой-нибудь другой предмет, спускалась или поднималась занавеска, принимала определенное положение ставня и т. д. Действовали изолированные друг от друга группы. Верхи партии всегда находились за границей. В результате гибла лишь одна группа или часть партии. Революционеры из-за конспиративных соображений почти всегда отказывались от дачи показаний на допросах. Умелое использование для революционной пропаганды союзов, библиотек, фабричных школ... Конспирация, проявляемая большевиками, является весьма поучительной».

Заварзину верить можно, он имел хороший опыт борьбы с революционным движением и изучал противника досконально. В точности наблюдений ему не откажешь.



Об опыте царской охраны упоминали многие мастера сыска, у нее учились не только свои.

В 1963 году в Нью-Йорке, например, вышла книга руководителя Центрального разведывательного управления США Аллена Даллеса «Искусство разведки», в которой он изложил свои взгляды на профессию. Лично меня заинтересовала оценка, которую дал небезызвестный мастер теории и практики разведывательной деятельности царской охране.

«Сам термин «агент-provokator», — пишет А. Даллес, — свидетельствует о том, что он зародился во Франции, где provokatory использовались в прежние времена, во времена политических смут, но опять-таки именно русские подняли provokacию до уровня искусства. Это было главное средство, с помощью которого царская охранка нападала на след революционеров и инакомыслящих. Агент, вступив в какой-нибудь революционный кружок, не только шпионил за его участниками и передавал сведения о них полиции, но и подстрекал их к таким действиям, которые давали бы повод для ареста отдельных или всех членов кружка. Агенты точно сообщали, когда и где должна была совершиться намеченная акция, поэтому полиция не испытывала никаких затруднений при осуществлении своих мероприятий.

На практике provokacioнные действия могли приобретать крайне изощренный, сложный и драматический характер. Самым гнусным царским provokatorам присущи черты персонажей Ф. М. Достоевского. Чтобы побудить революционеров к действиям, которые могли бы дать полиции повод обрушиться на них, provokator сам должен был играть роль революционного лидера и террориста. Если полиция хотела захватить значительное число лиц и предъявить им обвинение, революционная группа должна была совершить нечто чрезвычайное, более серьезное, чем просто проведение тайных собраний. В России в начале нынешнего века имели

место поразительные случаи. Самый известный из царских провокаторов, агент Азеф, по-видимому, был инициатором идеи убийства дяди царя Великого князя Сергея и министра внутренних дел Плеве. Эти убийства дали охранке возможность арестовать большое число террористов.

Один из ближайших соратников Ленина с 1912 года и до революции, Роман Малиновский, был в действительности агентом царской полиции и провокатором. Близкие к Ленину люди подозревали Малиновского, но Ленин неоднократно защищал его. Малиновский помогал полиции выявлять местонахождение подпольных типографий, сообщал о тайных собраниях и конспиративных встречах. Но самое главное его достижение было еще более эффективным.

Он добился своего избрания (при содействии полиции и с согласия ничего не ведавшего Ленина) в русский парламент — Государственную думу и стал членом большевистской фракции. Здесь он отличился в качестве главного большевистского оратора. Полиции неоднократно приходилось призывать его умерить революционный пыл своих речей. В случае с Азефом и Малиновским, как и со многими другими «двойниками», трудно с уверенностью утверждать, кому они в действительности служили. Они так хорошо играли роль персонажей, под маской которых им приходилось действовать, что иногда, по-видимому, увлекались своей игрой, всерьез верили в реальность этих ролей».

Агент-двойник, о значимости которого говорит известный специалист по шпионажу, в полной мере раскрылся лишь в этом веке. В прошлом эта фигура еще не была так уточнена. Да, Азеф так и остается загадочной фигурой, хотя в полицейской принадлежности его сомневаться не приходится. Но Малиновский! Это был типичный агент, потому что работал он лишь на одну сторону — на Департамент полиции — и приносил информацию только ей, ей и служил.



Царская охранка со своей хорошо продуманной агентурной сетью бледнеет перед обширной сетью осведомителей, которая была создана после нее в годы сталинского правления.



Рассказывают, что толчком к активизации агентурной работы в советский период послужила беседа Сталина с Ягодой. В то время Генрих Ягода — бывший ученик ювелира, служивший до революции в семье Свердловых в Нижнем Новгороде, — был уже заместителем председателя ОГПУ и, минуя своего непосредственного начальника В.Р.Менжинского, фактически выполнял многие личные поручения Сталина.

То было время великого перелома страны и самой партии большевиков, когда Сталин брал бразды правления в руки, выдвинув себя на роль первого и верного продолжателя дела Ленина. Естественно, что ему противостояли внутри партии различные оппозиционные группы и течения. Надо признать — он боролся с ними хитро, настойчиво и расчетливо.

Большой неожиданностью для самого Сталина стало поступившее в ЦК ВКП(б) 14 сентября 1932 года заявление от членов партии Н.К.Кузьмина и Н.А.Стороженко, сообщавших, что от сына старого большевика В.Н.Каюрова — А.В.Каюрова — им передано для ознакомления обращение ко всем членам ВКП(б). Текст обращения был вложен в конверт.

Два этих документа секретариат сразу же передал генсеку, который, уединившись в кабинете, долго и внимательно изучал их. Он не мог не понять, что организованный «Союз марксистов-ленинцев» — новая оппозиция, направленная прежде всего против него. Кузьмин и Стороженко писали, что считают своим долгом сообщить Центральному Комитету о создании новой оппозиции против генеральной линии ЦК и заверяли о своем полном несогласии с товарищами, вошедшими в нее.

Они приложили документ — программу, составленную М.Н.Рютиным, который не так давно был исключен из партии и снят с должности первого секретаря Краснопресненского райкома Москвы с формулировкой «за пропаганду правооппортунистических взглядов». Изгнанный теперь из партии Рютин трудился на скромной должности экономиста в «Союзэлектро» и, выходя, не отрекся от своих старых убеждений. Как выяснилось, его поддержали два старых члена партии большевиков — Василий Николаевич Каюров, руководитель плановой группы Центрархива, и Михаил Семенович Иванов, работавший в Наркомате рабоче-крестья-

янской инспекции РСФСР. В своем обращении они писали, что обеспокоены широко распространившимися грубыми нарушениями внутрипартийной демократии, насаждением в руководящем звене административно-командных методов.

— Ай да Рютин, — произнес вслух Сталин, — все никак не уgomонится. И Каюрова на свою сторону тянет, чтобы придать своей платформе весомость...

Фигура Каюрова, несомненно, смущала Сталина. Тот относился к старой большевистской гвардии, активно участвовал в партийной работе, до революции возглавлял организацию большевиков на заводе «Эриксон», после Октября был председателем Выборгского районного Совета рабочих и солдатских депутатов. В июльские дни 1917 года он — в числе тех, кто укрывал Ленина на своей квартире на Выборгской стороне, когда тот прятался от преследований Временного правительства. После революции Каюров пользовался особым расположением Ленина, получая от него важные задания. Именно он привез в июле 1919 года из Москвы письмо Ленина «Питерским рабочим».

Не менее популярна была и фигура самого Рютина, который был известен в партии как активный участник революционного движения. В 1917 году он возглавлял Харбинский совет, был командующим войсками Иркутского округа, командиром партизанских отрядов в Прибайкалье, делегатом X съезда РКП(б). Впоследствии находился на ответственной работе в Восточной и Западной Сибири, Дагестане; в 1927 году на XV съезде ВКП(б) был избран кандидатом в члены ЦК партии.

В острой внутрипартийной борьбе, возникшей после съезда между сторонниками Сталина, с одной стороны, и Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, М.П.Томского — с другой, о путях и методах строительства социализма, развития деревни, в вопросе неприятия чрезвычайных мер по отношению к крестьянству, он целиком поддерживал Бухарина.

Да, Рютин исключили из партии, но это, подумал Сталин, не стало для него уроком, он по-прежнему продолжает вредить ее генеральной линии.

Немедленно в Кремль был вызван Ягода. Сталин показал ему полученную почту:

— Вот, знакомьтесь...

Пока Ягода внимательно читал, сидя за столом, Сталин размеренно ходил по комнате, покуривая трубку.

— Ну... Что скажете? — спросил он, заметив, что чекист уже прочитал письмо.

— Со стороны Рютина это, конечно, подло, — сказал Ягода, демонстрируя свою преданность генсеку. — И Каюрова втягивает в свою провокацию...

— В том-то и дело, товарищ Ягода! Что и не только Каюрова втягивает, а уважаемых в партии людей!

Сталин резко остановился и пристально посмотрел в глаза своему преданному человеку. Дальше он произнес длинный монолог, высказав вполне определенное отношение к происшедшему.

— Знаете, что лично мне непонятно, товарищ Ягода? Мне непонятно, что партия поставила вас на такую ответственную должность прежде всего для борьбы с врагом, а вы на своей Лубянке сидите и хлопаете ушами! Как же понимать, что не от вас, а из своего секретариата я получаю такие подробности? Речь, я думаю, идет о заговоре, а вы не обращаете серьезного внимания на оппозиционеров, которые не только собираются и рассуждают, как им действовать, но и организуют борьбу с ленинским курсом партии. Для чего же вас поставили во главе ОГПУ? Мы вас, товарищ Ягода, поставили на такую ответственную должность прежде всего для того, чтобы вы всегда знали, где же собираются наши враги, что они намерены делать...

Голос вождя звучал монотонно, но фразы, произнесенные им, были довольно-таки грозными.

Вот тут-то и произнес Сталин слова, которые в корне изменили подход к политическому сыску в советских органах правопорядка.

— Вы должны учиться у царской полиции, — посоветовал он. — Вы представляете себе, как работала царская охранка? Не успевали мы, большевики, где-то собраться, чтобы обсудить положение, как на стол полиции ложилось донесение: собрались там-то, обсуждали то-то, были такие-то... Да, у охранки была отменная агентура. А у вас она имеется?

Ягода молчал, не зная, что ответить. Он боялся вызвать гнев своего покровителя, который явно был не в духе от полученной почты.

— А у вас она не имеется! — констатировал Сталин. — Почему же вы не знаете, что еще 21 августа в деревне Головино под Москвой, на квартире электрика Сильченко прошла нелегальная встреча заговорщиков? Вы обязаны были знать не только это, но и все другие подробности...

— Виноват, товарищ Сталин! — произнес Ягода, выкручиваясь из шекотливого положения, и тут же заверил: — Мы создадим свою агентуру, надежную... Я над этим уже работаю. Она будет получше царской...

Генсек смягчился:

— Хорошо, — и кивнув на документы, лежавшие на столе, сказал: — А с этим разберитесь лично!

Уже на другой день начались аресты всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к «союзу». Посыпались допросы, во время которых выяснилось, что с материалами оппозиции в свое время знакомились Л.Б.Каменев и Г.Е.Зиновьев. В тот же день об этом было доложено Сталину, который оповестил остальных членов Политбюро, сообщив, что Каменев и Зиновьев, не поставив в известность ЦК о действиях оппозиции, совершили партийное преступление.

Исключив участников «Союза марксистов-ленинцев» из партии, ЦКК ВКП(б) передали их в руки ОГПУ. Там постарались выполнить поручение с честью. 11 октября 1932 года все члены «союза» были осуждены к различным срокам тюремного заключения и ссылки, кто на больший срок, кто на меньший, но наказания не избежал никто. Всего по этому делу прошло тридцать человек.

В дальнейшем судьба участников этой группы сложилась печально. Все они погибли в год «великой чистки». Долго мучили Рютина, то арестовывая, то отпуская на свободу.

В партийном архиве до последнего времени находилось письмо коммуниста А.С.Немова, который сообщал в ЦК ВКП(б), что, будучи в августе на отдыхе в городе Ессентуки, он встретил там Рютина, который резко отозвался о политике ЦК, проводимой Сталиным, считая ее губительной для страны.

Вновь чекисты принялись за Рютина. Но сначала была «разборка» на верхнем этаже власти, когда позицию Рютина клеймили ближайшие сторонники Сталина — Е.М.Ярославский и М.Ф.Шкирятов. Его упрекали не только в том, что борется с партией, но и в том, что он прежде всего ненавидит Сталина.

Рютин защищался.

— Даже тогда, в двадцать восьмом году, когда я выступал против Сталина на бюро Краснопресненского райкома, — сказал он, — я считал Сталина самым крупным вождем партии, способным проводить ленинские принципы. Но я считаю, что товарищ Сталин напрасно ошельмовал меня и ловким маневром вышвырнул с партийной работы. Я считаю это нечестным с его стороны по отношению ко мне...

Но даже признание своих ошибок Рютину не помогло. После проработки партийной наступила пора проработки чекистской. Рютина арестовали.

Во внутренней тюрьме особого назначения НКВД, томясь по сути в застенке, он пишет письмо вождям партии, не признавая своей вины.

«...Я, само собой разумеется, не боюсь смерти, если следственный аппарат НКВД явно незаконно и пристрастно для меня ее приготовит. Я заранее заявляю, что я не буду просить даже о помиловании, ибо я не могу каяться и просить прощения или какого-либо смягчения наказания за то, чего я не делал и в чем я абсолютно неповинен. Но я не могу и не намерен спокойно терпеть творимых надо мной беззаконий и прошу меня защитить от них».

Шел 1936 год. В тот год на Лубянке был уже новый хозяин, другой «железный» нарком — товарищ Н.И.Ежов, не менее преданный генсеку человек, чем предыдущий. Ежов поспешил доставить письмо Рютина к Сталину, ибо не знал, как поступить. Возможно, он ждал указания.

Ответа на письмо не последовало. Судьба Рютина была решена. «Наши органы никогда не ошибаются», — любил поговаривать вслух товарищ Сталин.

10 января 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР без участия обвинения и защиты приговорила Мартемьяна Никитича Рютина к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.

Все сказанное — маленький штрих к большому террору, который крушил страну в тот период.

Но рассказ не о нем, а о политическом сыске, который был начат царской охранкой, а усовершенствован в последующие годы, в советские. К сожалению, невозможно назвать точную цифру платных и добровольных осведомителей, напичкавших всю страну, чуть ли не каждое учреждение, каждый дом, — в царское время их было во сто крат меньше.

— В чем этот мерзавец Ягода преуспел, — высказался как-то Сталин, — так только в том, что сумел создать хороший аппарат слежки...



Большевиков Кузьмина и Стороженко, проинформировавших ЦК ВКП(б) о создании оппозиции Рютиным и его единомышленниками, расстреляли в 1937 году как врагов народа. Судьба Немова, написавшего на Мартемьяна Никитича донос, мне так и неизвестна.



КАК ПОЛИЦИЯ ВЕРБОВАЛА ПРОВОКАТОРОВ

Методы вербовки доносителей были стереотипны во все времена. Вербовщики играли на низменных чувствах задержанных. Тех, кто был покрепче духом, брали другими методами. Трусливый и падкий на деньги попадался в расставленные сети сразу. Крепких ломали. Если одним обещали заработки и поддержку, то другим грозили: «Распустим слух, что ты предал товарищей, — тебе, сам знаешь, несдобровать».

Арестованный знал, что полиция действует гнусными методами, знал, что пустят провокационный слух, выгонят с работы, лишив заработка, выдадут «волчий билет», а то и сошлют в далекие края.

Морозова рассказывала:

— Многие полицейские чины действовали топорно, предпринимая попытки вербовки чуть ли не каждого задержанного, беря на испуг. Более тонко поступали жандармы. Те, выбирая свою жертву, действовали расчетливо — из таких сетей выпутаться было очень сложно. Если человек давал слабину — то было началом конца, никто не мог ему помочь. Был, пожалуй, только один способ удержаться, показав на первом же допросе свой нрав, свою твердость. Иной раз вербовщики и отступали.

Революционеры рассказывали, как их пытались склонить к сотрудничеству в охранке. Унижали, издевались, били, морили голодом, помещали в карцер, в темноту, в холод и

сырость. Арестованный понимал: если не сдашься, схватишь чахотку. Чахотка была медленной смертью.

Методика обработки арестованного была проста: один жандарм выглядел зверем — пытал, издевался; второй представлялся добрым — говорил простым языком, предлагал сигареты, вел доброжелательные разговоры, обещал поддержку. И цена такого сотрудничества выглядела пустяковой: пара маленьких, ничего не значащих фактов. «Ну что такое имя человека, одна явка? После вас отпустим, вы нам не нужны. Больше и не свидимся».

То была неправда. Первая уступка вела в ловушку, из которой не было выхода, кроме смерти и позора.

Падение всегда начинается с одного неверного шага.

Но и тот, кто выстоял в первый допрос, еще не выигрывал дуэли. Многие охранники хорошо владели своим мастерством и, вступая в психологическую борьбу со своим «подопечным», рассчитывали ходы намного вперед.

Впрочем, и у мастеров сыска случались осечки.

Когда, например, Морозова сама впервые попала в лапы полиции, чуть ли не два часа вежливый чин читал ей нравовучения, попутно интересуясь, как она попала на собрание. Морозова играла роль наивной барышни. «Мы знаем, что вы, собравшиеся, читали запрещенную литературу, — настаивал офицер. — Лучше бы сказали правду...» — «Ну, если знаете, к чему все эти расспросы? Ни о каких запретных книгах не знаю. Я просто зашла к своей подруге, а та обратилась к соседке с вопросом по кухне. Полицию интересуют и кулинарные рецепты?» Чин не отставал: «Ну вот... А ваши подруги говорят совершенно иное: собрались, чтобы ознакомиться с запрещенной литературой...»

В сущности так и было, но Морозова делала вид, что ничего не понимает, и для убедительности прикидываясь наивной и в чем-то глупой девушкой, даже пустила слезу. Повозившись с ней, чин разговор отложил. А тут еще другой «заступился», посоветовав сослуживцу не терять время даром: «Видишь, непонятливая попалась. Не трать время попусту!»

Самым страшным для барышень было исключение из гимназии. Но помогли знакомые родителей, а связи у инже-

нера министерства путей сообщения в Кавказском крае были большие, и факт сделали пустяковым, дело замяли. И в те времена связи ценились.

— Больше не балуйте, — посоветовали гимназисткам в полиции на прощание. — Иначе докатитесь до позора.

Домой она возвращалась с отцом в пролетке, и отец тихо, чтобы не слышал кучер, сказал ей на ухо:

— В следующий раз, прошу тебя, будь осторожной и не всем доверяй. В вашей компании кто-то проговорился. Больше меня ни о чем не спрашивай...

Она долго пыталась вычислить, кто же наядбедничал? Но сделать правильный вывод было трудно — собрались организовать кружок для чтения революционной литературы девушки одной гимназии, чужих не было. Тогда она поняла простую истину: предавать может только близкий человек, тот, кто что-то знает. Отец прав, подумала она, осторожность не мешает.



У Изабеллы Георгиевны были старые клеенчатые тетради, в которых она вела многолетние наблюдения. В одной из них она записывала попытки полицейских вербовать революционеров. Из всего, что рассказывали ей старшие товарищи, главное значило: не сломаться в первые дни. Как только охранники убеждались, что коса нашла на камень, пыл свой убавляли.

Как проходит вербовка, она интересовалась у многих. Однажды спросила у Кобы, пробовала ли полиция поймать его в свои сети, и вызвала усмешку:

— Пробует-то она поймать каждого, но не всегда ей это удается. Если ты тверд, то никакая охранка тебе не страшна.

Бакинский большевик Иван Голубев рассказывал, как долго с ним велись в полиции душещипательные разговоры, а потом, убедившись в бесполезности затеянного, его посадили в карцер на несколько дней. После карцера привели обратно на допрос: «Одумался?» — «Подумал, товарищей предавать не буду». — «Тогда пойдешь на каторгу». Но выяснилось, что запугивали, хотя отсидеть ему и пришлось.

Леониду Красину жандарм сказал откровенно: «Мы вас обрабатывать не будем, мы знаем, что вы — человек убеж-

денный. Но как только дадите маху и попадетесь — мы вам покажем, почем фунт изюма!»

И легендарного революционера Камо пытались вербовать во время первого ареста. Тот прикинулся дурачком — отвечал глупо, не к месту смеялся, и жандармский офицер сразу же вернул его в камеру, назвав тупицей. Камо спросил: «Кого вы имеете в виду?» — «Тебя, дурак!» — ответил офицер. «Я думал, кого-то другого», — наивно пояснил Камо. А в кабинете они были вдвоем.



Сергей Аллилуев — тесть Сталина — рассказывал, как его, арестованного после забастовки, в Метехском замке — печально известной тифлисской тюрьме — вербовал жандармский ротмистр Лавров.

После шести недель ареста его по узким лабиринтам тюремных коридоров ввели в большую комнату, залитую солнечным светом. За письменным столом, покрытым зеленым сукном, сидел Лавров и что-то писал. Не поднимая головы, произнес:

— Садитесь.

Лавров писал быстро, то и дело зачеркивал написанное. Перо безжалостно скрипело. Кончив писать, он поднял черные помутневшие глаза и еле улыбнулся.

— Вы Аллилуев, не так ли? — спросил он, подвинув на столе портсигар.

— Да.

— Закуривайте, — сказал Лавров. — Не стесняйтесь.

— Не курю.

— Не курите? — удивился ротмистр. — Может быть, чаю хотите?

— Не хочу. Пил.

Ротмистр откинулся на спинку кресла и, пуская дым, заговорил:

— Вы, конечно, знаете, почему мы вас арестовали. У нас нет никакого желания держать вас в тюрьме. Мы вас выпустим, — он сделал паузу, — если вы назовете организаторов забастовки. Вы согласны?

— Я никого не знаю.

— Не знаете? — спросил он удивленно. И протянул несколько фотографий. — А этих не узнаете?

Аллилуев перебрал фотографии и вернул их ротмистру:

— Никого не знаю, не встречал.

— Припомните. Так ли не встречали? Напрягите свою память.

На столе лежали фотографии революционеров — Владимира Родзевича, Павла Пушкарева и Прокофия Джапаридзе. Все они были арестованы и находились в Метехском замке. О том, что они организаторы забастовки, в полиции еще не знали.

После долгой беседы в разговор вступил присутствующий при допросе прокурор:

— У вас есть семья? — спросил он.

— Есть, жена и трое детей.

Прокурор удивился:

— Вы взрослый человек и так варварски относитесь к своей семье. Ваше молчание может печально на ней отразиться. Вы должны это понять... — И тихим голосом добавил: — Да поймите вы, что никто ничего не узнает. Вы скажете имена зачинщиков, и мы оставим вас в покое.

Аллилуев молчал.

Ротмистр, протянув арестованному протокол, процедил сквозь зубы:

— Ничего, заговорит. Не таких ломали... В одиночку!



В те же дни был арестован рабочий Никифор Беридзе, бригадир токарного цеха. Он был подавлен, бледен. Несколько ночей подряд его вызывал на допрос Лавров, угрожал сгноить в тюрьме, сослать в Сибирь. Человек, впервые попавший в тюрьму, боялся и того, и другого. Он ломался, несмотря на то, что товарищи пытались его поддержать.

Как-то всех вызвали на очередной допрос к Лаврову. Беридзе повели последним. На допросе он был дольше других, вернулся в камеру совершенно подавленным.

— Ну как? — спросил один из арестованных.

— Грозится отправить в Сибирь, — ответил тот и свалился на койку.

Его и выпустили последним. Впоследствии выяснилось, что Лавров все-таки принудил Беридзе стать осведомителем, и кое-кого он выдал. После ареста он опять поступил в мастерские. Вскоре его разоблачили как провокатора, и один из рабочих во время ночной смены ранил его. Когда Беридзе перевели на дорогу осмотрщиком поездов, он был убит.

Провокаторов ждала неминуемая смерть, и редко кому из них, если он был разоблачен, удавалось избежать возмездия.

О своих тайных осведомителях полиция всегда заботилась.

Вот что писал В.С.Зубатов, обращаясь к своим коллегам: «Вы, господа, должны смотреть на тайного сотрудника, как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный ваш шаг, и вы ее опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас: доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно... Никогда никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по псевдониму».

Характеристика, которую дает осведомителям жандармский генерал А.И. Спиридович, долгое время бывший близким к царскому двору: «Причины, толкающие людей на предательство своих близких знакомых, очень часто друзей, различны... Чаще всего будущие сотрудники сами предлагали свои услуги жандармскому офицеру, но бывали, конечно, случаи, и очень частые, когда предложения делались со стороны последних. Так или иначе, но из-за чего же шли в сотрудники деятели различных революционных организаций? Чаще всего, конечно, из-за денег. Получать несколько десятков рублей в месяц за сообщение два раза в неделю каких-либо сведений о своей организации — дело нетрудное... Если совесть позволяет».

Тем, кто «работал» хорошо, охранка платила намного больше — от ста до трехсот рублей в месяц. Иным и того больше. Словом, ремесло предателя было денежным.

Провокатура помогала охранке быть в курсе если не всех, то очень многих дел революционеров. Примеров множество, один из них — как «вели» Орджоникидзе.

Пражская конференция большевиков состоялась в 1912 году. Был на ней и Серго Орджоникидзе. Путь в Петербург для него лежал через Париж. Вернувшись в Россию, он колесил по городам, сплывая организации, — Киев, Ростов, Баку... В тот самый период Надежда Крупская прислала Малиновскому зашифрованную «Избирательную платформу РСДРП», предупредив в письме, что до того, как рукопись будет отпечатана большим тиражом, ее необходимо хранить в секрете. Никто, кроме Серго и Малиновского, ничего не должен знать.

Малиновский молча снял с рукописи копию, передав ее жандармскому полковнику Заварзину. Тот со специальным курьером переслал донесение директору Департамента полиции. Подробности о Серго Малиновский еще не знал, но своих начальников уже информировал. Вот и докладывает Заверзин в столицу: «При сем имею честь представить вашему превосходительству копию добытой агентурным путем избирательной платформы РСДРП. Означенная платформа в рукописи переслана из-за границы и подлежит отпечатанию под непосредственным присмотром члена ЦК — «Серго», упоминаемого в моих предыдущих представлениях и ныне, по сведениям агентов, находящегося в г. Киеве.

К сему ходатайствую перед вашим превосходительством сведения о месте нахождения «Серго» использовать без указания источников на г. Москву. И докладываю, что о поступлении подлинника «Платформы» известно лишь двум лицам, почему и дальнейшая разработка по сему делу крайне нежелательна ввиду опасности безусловного провала весьма серьезной и ответственной центральной агентуры».

Серго ничего плохого не подозревал, Малиновского не опасался. Напротив, его отношения с последним стали после пражской работы намного теплее.

— Рукопись надо напечатать в Киеве, — поделился Орджоникидзе с Малиновским, — там есть подходящая для печатания типография. Думаю, что с владельцем ее договорюсь.

— А как в Тифлисе или в Баку? — поинтересовался Малиновский.

— Здесь же ближе, легче будет распространять.

Он действительно уехал в Киев. Но вышло все не так, как задумывалось. Владелец типографии от заказа отказался, испугавшись текста. Орджоникидзе тотчас уехал в Тифлис. Затем, побывав в Харькове и Ростове, вернулся в Москву, где в первых числах апреля встретился с Малиновским.

Полковник Заварзин после этой встречи настроил в Петербург очередное сообщение:

«Решено, если обстановка не изменится, организовать летом текущего года ряд заседаний нового Центрального Комитета партии с приглашением для участия в таковых представителей от отдельных подпольных организаций империи... В видах ознакомления активной партийной среды с взглядами и намерениями центра партии предложено устройство в возможно большем числе местностей империи ряда нелегальных законспирированных собраний. Из коих первое должно состояться в ближайшем будущем в г. С.-Петербурге под непосредственным руководством «Серго». По имеющимся предположениям, он намерен на днях выехать в г. С.-Петербург для осуществления вышеуказанного собрания».

Белецкий тут же дал указание установить за «Прямым» постоянное наблюдение. «Прямой» — так охранка окрестила Орджоникидзе.

Три опытных филера ведут Серго. Рапорты поступают постоянно, и охранка знает, что делает ее «подопечный», с кем встречается, где находится.

«Прямой» встретился с неизвестным, прибывшим с Казанского вокзала...»

«На Патриарших прудах «Прямой» сорок минут беседовал с «Кобой», центровиком...»

«Перед отходом поезда Москва-Одесса «Прямой» появился на вокзале. Что-то сунул в руку кавказцу или еврею, следовавшему в вагоне № 4...»

Вот другая депеша Заварзина в Петербург, в Департамент: «Срочно. Лично начальнику охранного отделения.

9 апреля Николаевского вокзала поездом № 8 выехали Москвы Петербург центровики эсдеки Серго и кооптированный Коба. Примите наблюдение филеров Андреева, Атрохова, Пахомова. Последнего верните. Ликвидация желательна, но допустима исключительно лишь местными связями

без указания источников на Москву. Полковник Заварзин. № 289303».

Жандарм дает указания взять под стражу Сталина и Орджоникидзе, сохранив в тайне своего агента, на которого может пасть тень подозрения. Он просит коллег быть бдительными и не допустить промашки.

Филеры «ведут» «Прямого» несколько дней, видимо, выявляют его связи. Потом решаются брать.



Орджоникидзе рассказывал бакинским товарищам про тот арест так:

— Правильно говорят в народе, сердце — вещун. У меня вроде документ был надежный, выписанный на имя Гасана Новруз-оглы Гусейна, крестьянина деревни Сарван Борчалинского уезда Тифлисской губернии, умершего несколько месяцев назад, но это смутило Веру Швейцер. Она рекомендовала паспорт на прописку в полицию не посылать, устраиваться на конспиративной квартире. А я через дня два почувствовал, что не все идет гладко. Так и вышло. Вдруг на Невском заметил за собой «хвост». Крикнул извозчика: «Гони быстрее, спешу, дам на водку!» Оглянулся, а сзади сани, за ними другие. Протянул извозчику трешницу: погоняй, дружок, изо всех сил. Но тут выскочили из подворотни дворники, засвистели, всполошили городских, и стало ясно: крышка. А у меня в кармане рецепт и коротенькое письмо в контору братьев Лианозовых — известных нефтепромышленников. Подумал: уйду от полиции, улик ведь нет никаких. А в полиции уже про меня знали. Оказывается, «удружил» Роман Малиновский. Ротмистр протянул папироску и задал ряд пустяковых вопросов: где взял паспорт, зачем приехал в столицу, где родные проживают? Я им твержу про рецепт да всячину всякую, вроде простой обыватель. «Проверим», — пообещал ротмистр и отправил в камеру.

10 октября 1912 года Серго доставили на Ореховый остров Ладожского озера. В знаменитую Шлиссельбургскую крепость, в которой он находился в заключении до октября 1915 года.

Выдал его Малиновский. Сам Белецкий по этому поводу ходил на прием к министру внутренних дел: птица в сети попалась серьезная.

— Ваше предложение? — спросил министр.

— Улик серьезных против него нет, — сказал шеф полиции, — но отпускать не хочется. Его бы в крепость...

— Полностью разделяю ваше мнение, — отозвался министр. — Вы правы. С этими смутьянами, наводнившими империю, надо бы пожестче...

Белецкий ни словом не обмолвился про Джугашвили, которого незадачливые филеры упустили. Он подумал, что расстраивать министра не будет. «Поймаем и доложим», — решил он. И не ошибся. Вскоре взяли и Кобу.

Маленькие штрихи к разговору о провокаторстве Сталина, о котором периодически вспоминают. Известно, что брали полицейские большевиков Серго и Кобу по наводкам Малиновского. Для чего же им было арестовывать своего агента?..



АЗЕФ — КОРОЛЬ ПРОВОКАТОРОВ

Несомненно, самым большим провокаторм, сотрудничавшим с царской охранкой, был Евно Азеф. О нем рассказано многое, но многое так и осталось непонятным.



Если искать истоки разоблачения видного провокатора охранки, то можно ошибиться. Их называют несколько, и среди них — письмо, переданное в 1905 году революционеру Ростковскому. Дама, передавшая письмо, осталась неизвестной. В письме, как я уже говорил, повторяя рассказ Морозовой и отчасти Бориса Савинкова — друга и товарища Азефа по партии и Боевой организации, приводились факты, изобличающие предателя, — «в партии есть провокаторы», «бывший ссыльный Т. и какой-то инженер Азиев, еврей».

Письмо Ростковский передал товарищам, задав им головоломку, которую сам не смог отгадать.

Есть и другая версия. Когда Ростковский вернулся домой, в гостях у него был нелегал — «Николай Николаевич», человек, занимавший важный пост в Боевой организации эсеров. Ростковский показал письмо. Тот прочел и усмехнулся:

— Все очень просто, — пояснил он. — «Т.» — это Татаров, а Азиев, видимо, я — Азеф.

На этом версия, схожая с правдой, завершается. Вожди партии письму не поверили, не придав ему серьезного значения. Азеф продолжал вести революционную работу.

Но письмо, как предполагается, было, и написал его М.Е.Бакай.

Был еще один случай, о котором поведала П.О.Ивановская. В 1905 году в Женеве собрались русские революционеры на свою обычную встречу — пели, говорили пламенные речи, спорили. Когда песни и танцы надоели, сели играть в почту. Играл и Азеф. Ему принесли письмо. Раскрыв его, он не дрогнул, а прочитал вслух с усмешкой:

— Называют меня негодяем и предателем! Смешно!

И все присутствующие рассмеялись.

Азеф обладал необыкновенным самообладанием. Впрочем, такие же крепкие были и его друзья по организации, которых не могла сломить любая неожиданность.

Впрочем, есть свидетельства, что подозрения против Азефа в различные годы высказывали Мельников, Мортимер, Крестьянинов, Делевский, Тютчев, Трауберг, но вожди партии к этим обвинениям относились пренебрежительно. Позже за это они и поплатились.

Морозова считала, что все обвинения против Азефа возникли после его действительного разоблачения, когда каждый хотел попасть в него камнем, считая себя провидцем. На самом деле, отмечала она, все мелкие намеки были недосказанными, и потому лидеры партии не воспринимали их всерьез.

Михаил Гоц, один из лидеров эсеров, как-то поведал Плеханову:

— Поступило донесение о провокации Азефа...

— Есть доказательства?

— Нет, — сказал Гоц.

— Обо мне и о Лаврове как-то говорили подобное, — равнодушно ответил Плеханов. — О лидерах всегда сплетничают — это обыкновенное дело.

За Азефа товарищи готовы были встать стеной. Он был героем, вождем, чуть ли не святыней партии, на него опасно было поднимать руку. Ему верили, с ним считались. Революционеры, имевшие немалый опыт подпольной работы, не замечали за ним никаких грехов. Напротив, они считали его своим идеалом.

Савинков говорил Минору:

— Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Азефа я не поверю никогда!

Впоследствии Минор вспоминал это с большой грустью, честно признавая, что в тот момент и он верил в Азефа так же, как Савинков.

Да что там улики! Когда дело Азефа стало раскручиваться в партийных кругах и уже лидеры знали о стремлении Бурцева доказать провокацию Азефа, никто не стал подавать руки «крысолову». Бурцева считали клеветником. На семнадцатом заседании суда, уже зная всю ситуацию, Вера Фигнер, выходя из комнаты, сказала Бурцеву:

— Вы ужасный человек. Вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!

Бурцев в долгу не остался.

— Я застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!



Внешностью Азеф к себе не располагал. Был он толстым, грузным, неприятным. Лицо полное, набухшее, нижняя губа оттопырена. Все, кто встречался с ним, утверждали: наружность не то что некрасивая, а скорее всего отталкивающая.

Революционеры отмечали взгляд Азефа — пристальный, тяжелый, бегающие глаза.

Другие, напротив, отмечали «прелестную улыбку, бесконечную доброту в чисто детских глазах».

По фотографиям судить трудно. Сниматься он не любил, но по тем, что дошли до нас, можно сказать, что фигура его должна была бросаться в глаза своей полнотой. Возможно, и лицо его было своего рода «двойным» — в одном случае каменное, скрытное, в другом — если надевалась маска, доброе, располагающее.

Азеф был слишком несимпатичен. Познакомившись с ним в 1904 году, финский социалист К.Циллиакус дал ему позже нелестную характеристику — круглый, шарообразный череп, выдающиеся скулы, плоский нос, грубые губы, мясистые щеки — все это отталкивало от нового знакомого. В рекомендательном письме, полученном им, говорилось, что

Иван Николаевич — выдающийся член партии, и приписывалось: «Не цени собаку по шерсти».

Теоретик эсеров В.М.Чернов, по рассказу Бурцева, не отрицал, что Азеф производил иногда тяжелое впечатление.

А жена писателя И.А.Бунина В.Н.Муромцева-Бунина отмечала: «Люди подполья определяют свое отношение к товарищам по их высказываниям и поступкам и не чувствуют фальши в их проповедях и действиях. Нам рассказывали, что когда однажды Азеф пришел в семью известного революционера, то нянька доложила: «Барыня, к вам провокатор пришел!» — чем и вызвала общий смех. А у нее было, конечно, художественное восприятие, какое нередко встречается в народе, и она сразу почувствовала, что этот Иван Николаевич — дурной человек, а так как среди революционеров самым дурным считался провокатор, то она его так и определила».



Он пришел в охранку сам, добровольно.

В марте 1893 года Департамент полиции получил по почте заказное письмо. Оно было небольшим. Неизвестный человек предлагал свои услуги — давать сведения о кружке учащейся молодежи в Карлсруэ, сообщил и о намерении неких лиц послать в Россию нелегальную литературу.

Департамент особого рвения не проявил, видимо, кружок учащейся молодежи, да еще за границей, его не сильно беспокоил. Ответ был дан только через месяц. Департамент не отказывался от услуг автора, но просил сообщить имя и дать сведения о транспорте. Вознаграждение было обещано, тайна гарантирована.

Неизвестный тоже не спешил, приняв стиль полиции. В новом письме он деловито изложил, что намерен сообщать, и указал размер вознаграждения — 50 рублей ежемесячно. Обратился с просьбой: прислать в ответе кусок его первого письма в доказательство того, что ответ исходит из Департамента.

Так завязалась переписка.

Дело ускорил сам доброволец. Кроме Департамента полиции, он направил письмо в жандармское управление Ростова-на-Дону. Там и начался поиск по почерку автора, кото-

рый вскоре был определен. Ростовские жандармы выяснили, что из Карлсруэ пишет «мещанин Е.Азеф, выходец из бедной семьи, недавно учившийся в местной гимназии». Некоторое время назад он примкнул к «бунтовщикам» и занимался «рабочей пропагандой», попав в поле зрения политического розыска, но потом исчез. Взяв след, сыщики навели справки. Как сообщал начальник Донского жандармского управления Страхов, товарищи Азефа подвели его с деньгами — «выманив у него чужие деньги, поставили в необходимость бежать за границу».

В переписку с добровольцем вступил Семякин, заведовавший в то время политическим розыском Департамента полиции. Он написал, что его учреждение соглашается платить указанную сумму ежемесячно, принимает программу, «изложенную в вашем письме от 25 мая», внеся свои предложения, дал точную инструкцию, которую необходимо соблюдать и вложил в конверт обрывок письма, о котором просил автор.

Свое письмо Семякин закончил сногшибательной фразой: «Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г. Азеф, Вашим именем, и прошу Вас уведомить, следует ли Вам писать по Вашему адресу: Шютценштрассе, 22.11, или иначе».

Получив письмо, Азеф наверняка был поражен припиской к ответу. Но, думается, был все же рад: своей цели он достиг.

Так было подписано дьявольское соглашение.

Азеф оказался неплохим учеником. Если первые его сообщения вызвали недовольство чиновников, находившихся с ним на связи, и тех, кто перепроверял его сведения, то затем, спустя время, его донесениями просто зачитывались, ставя в пример другим. Одна из пометок, сделанная начальством Департамента полиции: «Сообщения Азефа поражают своей точностью при полном отсутствии рассуждений».

К донесениям Азефа стали прислушиваться. Он давал точную характеристику и указывал своим хозяевам имена молодых революционеров, которые еще не были хорошо известны полиции. Азеф информировал Департамент так полно, что охранка была в курсе многих дел, начинаемых революционерами. Чем выше, авторитетнее становился он в революционной среде, тем важнее становилась его информация.

А язык переписки был по-оперативному краток.

Вот телеграмма, переданная Азефу из Петербурга 17 апреля 1902 года: «Очень беспокоюсь о положении Гриши в Петербурге. Хотел бы получить какие-нибудь сведения, чтобы иметь возможность с ним повидаться. Дмитрий». Это означало задание: Гершуни должен быть арестован, сообщите его местонахождение.

И Азеф сообщал.



Школу полицейского ремесла со всеми тонкостями Азеф прошел у самого Зубатова. Тот был доволен: ученик все схватывает буквально на лету.

— Вы далеко пойдете, — каждый раз отмечал он усердие молодого провокатора.

— Служу не за деньги, а за идею, — отвечал самодовольный ученик.

Думается, что он врал — деньги в то время его интересовали. В течение трех-четырёх лет он становился все более высокооплачиваемым тайным осведомителем. Охранка деньгами не разбрасывалась, и потому сделаем вывод, что ставки Азефа росли не из симпатий, а за конкретную «работу».

В ведомостях 1899 года его жалованье составляет 100 рублей ежемесячно, 50 рублей наградных к Новому году. Через год ставка увеличивается — 150 рублей. Еще через год он получает ежемесячно по 500 рублей, вдобавок различные прогонные, суточные, «наградные», «премиальные». В годы первой революции наградные Азефа составляли несколько тысяч рублей.

Ситуация странная и парадоксальная: участвуя в эсеровском движении, занимаясь терроризмом, организовывая убийства царских сановников, Азеф исправно получал в охранке «зарплату», которая не снилась даже большим чиновникам.

— Этот толстяк, несомненно, станет нашим лучшим агентом, — говорил Зубатов, и не ошибался.

Самое поразительное было все же в том, что, кроме охраны, платила ему жалованье и партия. Конечно, не огромные деньги, но все же такие, чтобы он мог безбедно существовать.

зовать — 125 рублей в месяц. Бывало и больше, но в те месяцы, когда партийная казна была полна.

Понимая, что расточительность может броситься в глаза и вызвать у товарищей подозрение, Азеф стремился быть таким же скромным в быту, как и его друзья. Он экономил деньги, полученные от партии.

Гоц рассказывал, как однажды на вокзале товарищи убеждали Азефа взять носильщика. Но тот упорно тащил свой чемодан:

— Мы не имеем права жить в роскоши...

Впрочем, когда выдавалась такая возможность, Азеф к роскоши все же стремился. Доказательство — записка Меньщикова, в которой сообщается: «Азеф приезжает первым классом курьерского поезда из Петербурга... Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого...»

Это было в январе 1905 года.



У Азефа было две жизни и два списка дел в каждой из них. В одной он был активным революционером и руководителем Боевой организации, в другой, противоположной, — активным агентом политического сыска. В одной жизни он убивал, во второй — выдавал тех, с кем убивал. Многие, кого он предал, были казнены, сосланы, заключены в темницы.

Защищая Азефа во время партийного разбирательства, Борис Савинков перечислял его заслуги перед партией. То был своеобразный реестр террористических дел «короля провокаторов» — двадцать пять крупных актов, организованных при его непосредственном участии или содействии. В этом списке значатся: три покушения на царя, покушения на Великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича, покушения на Столыпина, Дурново, Трепова, адмиралов Дубасова и Чухнина. По части убийств — теракты против Плеве, Великого князя Сергея Александровича, генерала Богдановича, Татарова...

Савинков подписал список «и т. д.», и это означало, что были и другие дела, менее громкие, менее значительные, упоминание о которых можно опустить. К сожалению, в документах партийного разбирательства они не значатся,

а жаль — мы имели бы полную картину всей деятельности этого провокатора.

Несомненно, сам он помнил все содеянное.

Старые революционеры, знавшие Азефа, рассказывали о его буквально феноменальной памяти, которой он поражал. Пароли и явки он запоминал так же просто, как и номера телефонов. Записной книжки не имел, хотя мог бы себе это позволить, не боясь арестов. При составлении терактов никогда не пользовался справочной литературой: он знал наизусть все улицы и дворы Петербурга и при разработке операции по памяти рисовал схему местности, на которой должны были разыгаться кровавые события.

Выводя схему бомбометания, он говорил товарищам:

— Из меня вышел бы неплохой рисовальщик!

Друзья его поддерживали:

— Ты мог бы стать и неплохим метальщиком.

В сказанном была высокая оценка — боевики поручали метать бомбы самым смелым и надежным товарищам.

Но какой-то бес жил в его скрытой натуре, какое-то ребячество. Видимо, тщеславие иногда вырывалось наружу, и тогда он разрешал себе маленькие вольности, позволявшие ему как бы раскрепоститься. В некоторых донесениях это видно невооруженным глазом. Сообщая, например, о прибывающем в Россию транспорте с нелегальной литературой, он рекомендует его захватить, добавляя: «А то уж больно хвалится Гершуни, что замечательный путь он устроил».

Он был не только актером, но и хорошим психологом, давая оценки в своих «реляциях», отправляемых в Департамент полиции. «Следует особо обратить внимание на...» «Особое внимание обратить...» Он советовал охранке присмотреться к тем личностям, о которых она еще не ведала. Время показало, что в своих оценках Азеф был непогрешим: все, на кого он выводил охранку, стали активными революционерами. Иных он как бы не видел, просто отмечая в донесениях. Те так и остались второстепенными фигурами.

Прав был Зубатов, когда характеризовал Азефа:

— Такие таланты рождаются редко, раз в столетие.

В каждом деле бывают свои таланты.



Я уже упоминал о террористических актах, проведенных против царских сановников, — во всех прямое или косвенное участие принимал Азеф.

Здесь мне хотелось бы попытаться понять внутренний мир «короля провокаторов», каков он был на самом деле, к чему он стремился, сочетая жизнь одновременную в двух измерениях? Были ли в том его истинные убеждения или все то была лишь игра, в которой он пытался самоутвердиться? Что заставляло его ходить по канату, протянутому над пропастью, столько лет? Почему он выбрал именно эту стезю, а не какую-нибудь другую, где бы мог проявиться его талант?

Многие историки и революционеры пытались ответить на эти вопросы, но так и не ответили.

Каждый изображал Азефа по-своему. Одни считали его трагическим злодеем, другие — наивным, безмятежным человеком, запутавшимся в сетях тайной полиции. Он, дескать, попытался сыграть с нею в рулетку и оказался затянутым в опасную историю. Иные отводили ему роль обыкновенного мещанина, мечтавшего выбиться в высшее общество, другие — превосходного коммерсанта, который, поставив на карту жизнь, был не прочь ею рискнуть, чтобы хорошо заработать.

Заработать Азеф в силу своих способностей мог и на другом поприще, ибо был все же человеком незаурядным.

Метко сказал о нем прозаик Марк Ландау, писавший под псевдонимом «Алданов»: «Ему вполне удался образ трагического злодея. Азеф был злодей совершенно будничным. Одни изображали его демоном, другие — мещанином-коммерсантом. Думаю, что истина лежит приблизительно посередине. Азеф мог так же хорошо торговать селедкой, как торговал человеческой жизнью. Но все же по призванию (совершенно добровольно) он избрал для торговли не селедку, а человеческую жизнь».

Внутренний мир секретной агентуры — явление непостижимое, и понять его весьма затруднительно даже тем, кто долгие годы жил в том мире.

Свою точку зрения на это высказывала Изабелла Георгиевна, знавшая психологию агентуры не понаслышке.

— Да, Азеф был талантлив и обладал определенными способностями, и в любом ином деле, как и в агентуре, мог достичь успехов. Он мог бы хорошо торговать не только седелкой. Он мог быть отличным инженером, в те годы профессия инженера-электротехника позволила бы накопить хороший капитал. Но он добровольно (она повторила это дважды) предложил свои услуги охранке, и причины такого предложения понять невозможно. Я объясняю это лишь одним. Он был игроком, а страсть игрока и втянула его в бездну предательства.

Наверное, в этом объяснении — ключ к разгадке его тайны.

Азеф не был убежденным сторонником режима, слепо отдававшим за него свою жизнь. Не был и ловцом удачи, стремившимся скопить большой капитал, обеспечить себе благополучие. Пожалуй, он был лишь игроком, и страсть, захватившая его в молодости, не отпускала ни на миг в зрелые годы. Он играл со всеми, с кем ему приходилось вступать в игру, — и с революционерами, и с полицией, и с системой; и в каждой партии он вытаскивал из колоды козырной туз, позволявший ему выигрывать.

Он был настоящим игроком не только в политике, но и в мелочах жизни.

В Лондоне он попросил товарища сопроводить его на почту, чтобы отправить заказной пакет в... полицию.

— Куда это вы пишете такие длинные письма? — спросил товарищ.

— Друзьям, — ответил Азеф, — они должны иметь полную картину происходящего.

А случай, когда планировался взрыв особняка министра Дурново?

— Я согласен взорвать дом только в том случае, если пойду сам впереди. В таких делах, я имею в виду открытые нападения, всегда необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я пойду впереди!

Савинков и Гольц стали его отговаривать, умоляя побереечь свою жизнь, убеждая, что организация не может жертвовать его жизнью.

— Ну, хорошо... Если вы настаиваете... — согласился после спора Азеф.

Не был он и трусом, как позже утверждали некоторые революционеры. Впрочем, те, кто знал его, как раз утверждали совершенно противоположное.

Революционер В.М.Зензинов вспоминал:

— Он сто раз мог быть разорван взрывом, потому что носил на себе «динамитный жилет»...

Боевики изготавливали и примеряли на себе самодельные снаряды. Случалось, снаряды взрывались.

— Нервы у Азефа были, конечно, нечеловеческой крепости, — заключал Зензинов. — Он никогда не спихивал «примерку» на других, а говорил: «Позволь мне». Он был смелым человеком.

Можно продолжить наш рассказ о «короле провокаторов», но стоит ли, если о нем написано немало, пересказано много раз, но до самой сути так и не докопался никто? Ближе всех к ней подобрался Бурцев, поставивший перед собой нелегкую задачу: разоблачить предателя. Сам Азеф не выдал себя ничем за долгие годы хождения по канату над пропастью.



Разоблачил Азефа «крысолов». А началось все с того, что в редакцию журнала «Былое» к Бурцеву пришел неизвестный человек и представился самым неожиданным образом:

— Я служу в Департаменте полиции, но убеждения у меня совершенно противоположные. Хочу предоставить вам полезную информацию. Называйте меня просто Михайловский.

Бурцев вначале опешил, но сразу пришел в себя. Он выслушал посетителя, который предложил ему некоторые секретные документы для публикации, а затем назвал имена секретных полицейских сотрудников в польской социалистической партии.

— Но это еще не все, — сказал незнакомец, — скажу и о главном. Пользуясь совершенно секретными сведениями Департамента полиции, я имею возможность констатировать, что главные обыски и аресты среди революционеров в течение последних двух лет явились результатом провокации. К ним я отношу аресты Штифтаря, Гронского, участников готовившейся экспроприации у Биржевого моста, аресты в типографии «Мысль», Венедиктовой и Мамаевой в

Кронштадте, участников заговора на цареубийство, поголовный арест фракции социал-революционеров в Москве, аресты в Финляндии «Северной летучки», а также обнаружение Либединцева, Распутиной и других.

— Вы сказали много интересного, — ответил Бурцев, — но почему вы уверены, что это результат агентурных сведений?

— Давайте вместе с вами проследим весь ход событий, выстроим цепочку.

— Давайте, — согласился «крысолов».

— Для наглядности я приведу несколько примеров, где действовала провокация и что из этого вышло. Когда Гершуни стал во главе Боевой организации, об этом тотчас узнали в Департаменте: за его арест назначили десяти тысячную премию и напрягли все силы. Когда Гершуни был за границей — это тоже было известно Департаменту. Объясняется это тем, что он освещался заграничной агентурой. В России же ситуация сложилась весьма интересно: несмотря на то, что у жандармов были на руках карточки Гершуни, он всегда благополучно ускользал. Арестовали его по данным киевской агентуры, которая знала, что он едет из Уфы в Киев. Департамент полиции знал также и то, что Гершуни должен принять участие в покушении на Богдановича, и для его ареста командировал даже заведующего наружным наблюдением всей России Медникова.

Бурцев слушал внимательно рассказ собеседника, стараясь запомнить каждое слово.

— Другой эпизод, — продолжил Михайловский. — О готовящемся покушении на Великого князя Сергея Александровича тоже было известно. Знали, что в нем примет участие Борис Савинков. По пути следования князя выставлялись филеры, но покушение состоялось, и это лишний раз доказывает, что филерское наблюдение без точных данных не способно что-либо предотвратить.

— Но это лишь ваше предположение...

— Не только, — ответил Михайловский, — есть выводы конкретные. Так, заведующий наружным наблюдением Попов сообщил мне, что о возможном покушении на князя известно московскому охранному отделению. Департамент рассылал телеграммы: Савинкова арестовать, за его

родными, проживающими в Варшаве, учредить строгое наблюдение.

— И вы сделали вывод, что информация исходит из самого Департамента?

— Не только, — повторил Михайловский, — я имел в виду и петербургское охранное отделение, где мог находиться источник информации.

— Кто же он? — не выдержал Бурцев.

— Агент по фамилии Раскин.

— Но как вы вышли на этого Раскина? — спросил Бурцев.

— Это отдельный разговор. Пока же разрешите продолжить мой рассказ. В одном из номеров вашего журнала я прочел воспоминание Аргунова о провале томской типографии. Никто не может догадаться о причине ареста типографии, но я знаю ее.

— Тоже провокация? — предположил Бурцев.

— Вот именно! — воскликнул гость. — Я внимательно ознакомился с докладом Зубатова о ликвидации типографии, с рассказами Медникова, филера Дмитрия Яковлева и узнал, что у Департамента был в партии социал-революционеров провокатор, инженер по профессии. Его псевдоним Раскин.

— Что вы еще знаете об этом субъекте? — заинтересованно спросил Бурцев.

— То, что уже в январе 1903 года — именно тогда я впервые услышал о нем — он уже давал сведения Зубатову и Медникову, получая по 350 рублей в месяц. Эта сумма считается в полиции очень солидным жалованьем. Можно предположить, что этот провокатор является в партии главным работником.

— Вы не можете ошибаться в своем утверждении?

— Нисколько, — возразил Михайловский. — Раскин разъезжал по России, бывал на съездах и совещаниях, и всегда за ним следовали филеры «летучего отряда», а то и сам Медников. Это как раз и говорит о том, что его поездки были для Департамента важны.

Дальнейшая информация все больше захватывала Бурцева, который понимал, какие важные сведения к нему пришли.

— Я установил, что Раскин обладает серьезной информацией и находится в самом центре партии. Он постоянно в курсе всех революционных предприятий. Он осветил не только роль Гершуни, но и указал на Серафиму Клитчоглу как на члена Боевой организации, указал кружок Негрескула, оповестил об инженерере Витенберге, сообщил и о связях тверских земцев Бакунина и Петрункевича с революционерами. Откуда полиция узнала, что в Твери должна появиться Брешко-Брешковская? Из того же источника. И за земцами стали следить филеры «летучего отряда».

— Вы меня поразили, — признался Бурцев. — Такого я не ожидал.

Михайловский усмехнулся:

— Но это еще не все. Раскин встречался с Зубатовым и Медниковым на квартире сожительницы последнего некоей мещанки Румянцевой. Даю адрес: Преображенская улица, дом сорок, квартира один.

— Но все это старые сведения, — сказал Бурцев.

— Есть и свежие. Переехав в Варшаву, я потерял Раскина из виду. Но вдруг в 1904 году приезжает из Петербурга к нам через Москву Медников в сопровождении филеров и заявляет: прибывает сотрудник Раскин, который должен иметь свидание с Н. и после этой встречи наблюдение за Н., будут вести прибывшие филеры, а не местные. Наши же филеры доносили: в таком-то часу в квартиру наблюдаемого пришла «подметка»... Вы знаете, что это такое?

— Да, — ответил Бурцев, — так филеры называют сотрудников-провокаторов...

— Так вот «подметка» была там недолго. Раскин скоро вышел оттуда и пошел под наблюдение приезжих филеров. В тот же день Раскин и Медников из Варшавы уехали. Такова печальная правда, — заключил свой рассказ таинственный незнакомец.

Бурцев был потрясен. Он спросил:

— Что вы еще могли бы добавить к сказанному?

— Немного, — ответил собеседник. — Возможно, я отождествляю личность Раскина и Виноградова, работающего сегодня, но со слов многих деятелей Департамента, в том числе и Гуровича, знаю, что независимо от Татарова, вернее,

одновременно с ним, с полицией сотрудничает какой-то социал-революционер Виноградов, который способствовал провалу готовившихся покушений на Трепова и Булыгина в марте 1905 года.

Теперь о главном. С вашей помощью я хотел бы довести мои предположения до социал-революционеров, чтобы они позаботились выяснением, кто же скрывается под псевдонимом Раскин? Я полагаю, он продолжает нести свою «службу». Если бы он провалился, я бы это знал — провокатор такой величины, каким он является для Департамента полиции, не мог пройти мимо меня. Остается предположить: либо Раскин отошел от революции, либо продолжает предавать революционеров...

— Ну и задали вы мне задачу, — сказал Бурцев, прощаясь с незнакомцем.



Действительно, трудная задача, почти головоломка возникла перед ним, но Бурцев решил ее сам. Справился после долгих рассуждений, сопоставляя факты, сравнивая предположения.

Он знал всех лидеров партии социал-революционеров и к каждой личности примерял «костюм» Раскина: подходит ли? Никому не подходил.

За «крысоловом» ходили филеры, вынюхивая, куда направляется, где бывает.

В тот день Владимир Львович вышел из конторы редакции погулять на свежем воздухе. Осмотрелся, нет ли за ним слежки, и оторопел. По Английской набережной на извозчике ехал ему навстречу Азеф с женой-социалисткой.

«С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться», — вспоминал позже «крысолов».

Пронесло. Жена Азефа с ним не поздоровалась. Как говорят, инцидент был исчерпан.

Но ни один факт не проходит в жизни бесследно. Если, конечно, к нему приглядеться. Бурцев пригляделся и задал себе вполне естественный вопрос: почему за ним, в сущности безобидным для полиции существом, идет слежка, а за

известным террористом нет? Он подумал, что полиция не арестовывает известнейшего террориста, видимо, потому, что пока ей это невыгодно. Значит, подумал он, возле Азефа вертится какой-то провокатор, от которого она получает ценные сведения. Надо бы предупредить Азефа, подумал он.

А дальше произошло невероятное. Мысль, как молния, поразила разоблачителя провокаторов.

«Как-то неожиданно для самого себя, я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф — глава Боевой организации и организатор убийств Плеве, Велико-го князя Сергея и т.д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то навязчивая идея, всюду меня преследовала...»



Имя Михайловского вскоре для Бурцева стало говорить больше, чем прежде. Теперь он знал, что это чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении Михаил Ефимович Бакай. Своими сведениями, разоблачающими охранку, он приобрел доверие Бурцева.

Бакай сообщил факт, который приводил к заключению, что Раскин, он же Виноградов — не кто иной, как Азеф.

По мнению Бакай, в 1905 году анонимное письмо, встревожившее социал-революционеров, написал начальник петербургского охранного отделения полковник Кременецкий. Сделал это он по злобе на Рачковского. И такое ведь бывало! Рачковский, пользуясь услугами провокаторов Татарова и Виноградова, произвел 17 марта 1905 года аресты членов Боевой организации без ведома петербургского охранного отделения и за это получил вместе со своими сотрудниками не только крупную денежную сумму, но и был назначен заведующим всем политическим сыском империи на правах директора Департамента полиции. Кременецкий никакой награды не получил.

Сказал ли Бакай правду? По другим источникам, автором этого анонимного письма был он сам. Впрочем, для на-

шего повествования это существенного значения не имеет, главное все же в том, что они подобрались к Азефу.

Итак, вывод первый, сделанный Бурцевым. Анонимное письмо устанавливает тождество Азефа с Виноградовым.

Вывод второй. Азеф тождественен Раскину. Сообщение Бакая о посещении Раскина в 1904 году Варшавы совпало по времени с посещением Варшавы Азефом.

Теперь предстояло эти предположения обнародовать. Что, собственно, Бурцев и сделал. Но прежде он сделал еще один ход, без которого не мог обойтись. Почему — читатель сейчас поймет.



В этой истории есть еще одно действующее лицо. Лицо важное, без которого нельзя обойтись в рассказе. Не мог без него обойтись и «крысолов». Когда его журнал в Петербурге прикрыли, он перебрался в Париж, где в крохотной, запущенной квартирке продолжал расследование, начатое в России.

Там, на улице Люпен, где часто появлялся бывший охранник Бакай, Бурцев впервые подумал о Лопухине — бывшем директоре Департамента полиции. Уж он-то, мыслил исследователь, может снять маску с таинственного агента.

Действительный статский советник Лопухин был личностью интересной. Анкета без сучка, без задоринки: семья родовитая, жена из князей Урусовых, в орловской гимназии его однокашником был родственник П.А.Столыпин, который стал председателем Совета министров. В Департамент в 1902 году привел Лопухина министр и статс-секретарь В.К.Плеве. До этого Лопухин прокурорствовал в Москве, Твери и Харькове. Провокацию как метод работы он не воспринимал, считал ее неприличным делом.

Лопухин был человеком передовых взглядов, по происхождению аристократом, по складу ума либералом. Такого несоответствие жизни: человек передовых взглядов был директором Департамента полиции в реакционные годы — при Плеве. Впрочем, считали, что Лопухин был признателен Плеве, именно тот заметил его выдающиеся способности. Самое странное, что во взглядах они все же расходились.

Лопухин считал возможным успех русской революции, Плеве плохо верил в то, что при твердой власти возможно подобное.

До последних дней своих Лопухин считал Плеве непонятным человеком. «С ним можно было работать, — считал он. — С умными людьми хорошо иметь дело и тогда, когда расходишься с ними во взглядах».

В 1917 году Лопухин рассказывал о своей беседе с Плеве, состоявшейся после назначения его министром. Плеве повторил ему слова, сказанные как-то государю: «Если бы лет двадцать назад, когда я был директором Департамента полиции, мне сказали, что в России возможна революция, я засмеялся бы; а теперь мы накануне революции».

В пору первой русской революции Лопухин оставил должность, уйдя с государственной службы. После Департамента полиции он стал эстляндским губернатором и считал это назначение понижением. Он был уязвлен, что его после Департамента не назначили в сенат, а дали такую скромную должность, обиды не стерпел, опубликовал письмо о погромной практике полиции и жандармерии. Казалось, за это будет посажен. Но все обошлось. Его уволили из министерства внутренних дел, и особый отдел Департамента полиции взял своего бывшего шефа на заметку.

Теперь Бурцев намеревался обратиться к Лопухину, чтобы найти ответ на так долго мучивший его вопрос.



Ночной разговор в поезде, о котором расскажу, сказался на внутренней жизни империи.



Лето 1908 года Лопухин провел с семьей на отдыхе в Германии. Собирался ехать в Италию и, понятно, ни о каких разоблачениях не думал. Но роковая встреча с «крысоловом» приближалась. Узнав от знакомого, что Лопухин проедет через Кельн в Берлин, Бурцев ждал его на вокзале. 5 сентября в час дня Лопухин, выйдя из нейенарского поезда, сел в поезд берлинский. В купе вошел Бурцев, вежливо с ним поздоровался.

Эта встреча, имевшая для многих трагические последствия, позже описана ее участниками с некоторыми расхождениями. Но суть не в этом. Главное, что Бурцев после шести часов разговора добился своего, узнав правду.

Задыхаясь от волнения, Бурцев подбирался к Раскину.

— Алексей Александрович, если позволите, я вам назову настоящую фамилию секретного агента. Вы скажете только одно: да или нет.

Лопухин молчал. Час молчал, два, пять. По словам Бурцева, он был потрясен.

Бурцев напирал, приводя все новые факты, — карта шла за картой. И Лопухин видел, как перед ним раскрывалась ужасная картина: двойная игра мастеров провокации и их детища — центрального агента. Все это было замешено на крови. При попустительстве полиции был убит министр, а затем и Великий князь.

— Они остались бы живы, если бы охранка не занималась провокацией, — говорил Бурцев. — Здесь тонкие нити заговоров, которые связывал Азеф... Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь...

После долгих колебаний, когда поезд уже подходил к Берлину, Лопухин ответил на вопрос Бурцева утвердительно. Да, Азеф состоит на службе у охранки, лично он дважды встречался с Азефом по служебным делам.

— Я думаю, мои ответы вас устроят, — сказал в конце разговора бывший директор Департамента полиции. — Не устроят они только власть.

И был прав. Он навлек беду не только на провокатора, но и на себя. Последствия ночного разговора в поезде были печальными для многих: сенсация прокатилась по газетам, Лопухин был сослан в Сибирь, разразился громкий судебный процесс, некоторые революционеры, разочаровавшиеся в движении, пошли на самоубийство. Боевая организация эсеров стала агонизировать. Да и сама партия после разоблачения «азефщины» многое потеряла, оказавшись у разбитого корыта.

В 1915 году в Петербурге произошла случайная встреча Бурцева с А.И.Гучковым. Встретились они на квартире М.А.Стаховича.

— Я знаю, что вы стоили нашему правительству крупнейшего состояния, — признался Гучков. — Все эти деньги были выброшены на улицу, ибо вы никогда не состояли в партии, а ваши разоблачения Азефа принесли только пользу, ибо деморализовали революционные круги.

— Я не мог поступить иначе, — ответил «крысолов». — Для меня истина всегда была выше всего.



Вернемся к последствиям разговора в поезде.

Поспешив из Берлина в Париж, Бурцев направился прямо с вокзала к Савинкову.

— Борис Викторович, вы должны дать мне честное слово, что все это останется между нами. Мы обязаны сохранить имя Лопухина в тайне...

Савинков поклялся честью. Но ни Бурцеву, ни Лопухину он не верил, отрицая обвинения против Азефа: «Рассказ Лопухина не заставил меня заподозрить Азефа. Мое доверие к последнему было настолько велико, что я бы не поверил даже доносу, написанному его собственной рукой: я бы считал такой донос подделкой. Однако сообщение Лопухина было мне неприятно. Я не видел цели у Лопухина обманывать Бурцева. Я не мог допустить также мысли, что он участвует в полицейской интриге, если такая интрига в действительности существует: бывший директор Департамента полиции едва ли мог унизиться до роли мелкого провокатора. Я склонился к мысли, что произошло печальное недоразумение: Лопухин принял за Азефа кого-либо из многочисленных секретных сотрудников полиции. Как бы то ни было, для меня было ясно, что рассказ Лопухина должен произвести большое впечатление на судей».

Намечался суд чести. Защищая себя, партия собиралась обличить самого Бурцева. Для этого ей было необходимо защитить честь Азефа.



Суд чести состоял из избранных Центральным комитетом партии Г.А.Лопатина, П.А.Кропоткина и В.Н.Фигнер. Бурцев с этими именами согласился. Партию представляли

Б.В.Савинков, В.М.Чернов и М.А.Натансон. Заседали в Париже — в помещении библиотеки имени Лаврова, а затем на квартире Савинкова, по адресу: ля Фонтэн, 32.

Первые заседания были предоставлены докладу Бурцева. Доклад этот поколебал Кропоткина и Лопатина. Азефа они не знали, но соображения, высказанные обвинителем, показались им серьезными. Фигнер спорила с ними, продолжая верить в невиновность Азефа. Разбирательство было долгим и упорным.

Савинков однажды спросил Лопатина:

— Как ваше мнение, Герман Александрович?

— Да ведь на основании таких улик убивают, — ответил тот.

Кропоткин допускал возможность двойной игры со стороны Азефа — на правительство и революционеров. Но Фигнер верила Азефу — она его знала по конкретным революционным делам.

Выслушав обвинение, пригласили свидетелей и в первую очередь Бакая. Тот повторил то, что уже рассказал Бурцев. Правда, он не отождествлял Раскина с Азефом или с Виноградовым, но уверял, что провокатура в центре партии имеется.

Представители партии пытались доказать судьям, что свидетельства Бакая не заслуживают доверия, тем более что были в них и противоречия.

Кропоткин, идеальный по беспристрастию судья, спокойно сказал Савинкову:

— Бакай производит хорошее впечатление.

Лопатину тоже казалось, что Бакай говорит правду, но Фигнер была с ними не согласна. К бывшему чиновнику полиции она относилась с недоверием.

Выслушав мнение сторон, суд объявил перерыв для допроса свидетелей вне Парижа и для представления документов. Предстояло допросить и Лопухина. Бурцев написал ему письмо с просьбой приехать, ЦК партии эсеров решил командировать в Петербург Аргунова, чтобы на месте навести о Лопухине справки: о его политических убеждениях, взглядах, о причине отказа ему в приеме в конституционно-демократическую партию и в сословие присяжных поверенных.

Словом, суд удалился на совещание. Лопатин укатил в Италию, Кропоткин вернулся в Лондон. Аргунов отправился в Петербург на разговор с Лопухиным.



Во время суда Азеф жил на юге Франции. Тревожась обвинениями, писал Савинкову. В ноябре не выдержал, приехал в Париж.

Он пришел к своему другу утомленный, разбитый. Не терял присутствия духа, чувствуя: Савинков что-то скрывает.

— Опять какой-нибудь Бакай? — спросил Азеф.

— Нет, не Бакай.

— Но чиновник полиции? — настаивал Азеф.

— Не знаю... — ответил Савинков, обязанный молчать о Лопухине.

— Ты говоришь, что Кропоткин подозревает двойную игру? — переменял Азеф тему разговора.

— Да.

— Конечно, не очень-то вы умны, чтобы нельзя было вас обмануть, — сказал Азеф, рассмеявшись.

Затем он вновь вернулся к старой теме:

— Значит, есть еще показание. Верно, из полицейского источника?

Савинков ответил неопределенно:

— Не знаю. Мы сделали все, что могли, для тебя, и не наша вина, если не можем сделать большего.

Азеф долго молчал. Потом он сказал:

— Так ты думаешь, лучше, если я явлюсь на суд?

— Да, лучше.

Азеф ответил не сразу.

— Нет, — сказал он. — Я не могу. У меня больше нет сил.

Он казался Савинкову совсем разбитым.

— Может, мне поехать в Россию?

— Поедем, — предложил Савинков.

— Но если вас всех повесят? — спросил Азеф. — Нет, я этого не могу сделать... — Прощаясь, сказал: — Знаешь, эта история убьет меня совсем...

Он уехал, а через несколько дней прислал Савинкову письмо, в котором вновь вернулся к тревожащей его теме.

Объясняя причину своего отказа участвовать в заседаниях суда, просил «ускорить дело и принять все меры и посчитаться с моим требованием — потребовать санкцию на очную ставку...» Последнее означало: вызвать на суд человека, который имел доказательства его измены.

После этой встречи и письма Савинков записал в своей книжке: «Во мне впервые зародилось смутное подозрение».



Аргунов собирал в Петербурге справки о Лопухине. Выяснилось, что Лопухин заслуживает доверия — о полицейской провокации не может быть и речи. С правительством связь он порвал и теперь занимается предпринимательством, учреждая акционерную компанию Амурской железной дороги.

Аргунов пошел на встречу, желая лично удостовериться в происходящем и задать интересующие его вопросы. Результат получился неожиданный. Лопухин поведал Аргунову немало интересного.



Откуда Азеф узнал про Лопухина, так и осталось тайной. Имя человека, подтвердившего службу Азефа в охранке, знали Бурцев, трое судей и представители ЦК партии эсеров. Никто, по их словам, не проговорился. Годы спустя на эту тему высказалась Вера Фигнер: каким образом Азеф мог броситься к Лопухину, если ему об этом не сообщали? Или то было чутье секретного агента?

Ответа на этот вопрос нет. Есть факты.

Азеф пришел к Лопухину просить пощады. Он говорил прямо, без всяких хитростей: уважаемый Алексей Александрович, партия ведет надо мной суд, вы — главный свидетель и вас неизбежно будут допрашивать; покорнейше прошу вас спасти мою жизнь и не подтверждать показания, данные Бурцеву.

Лопухин был тверд, как человек чести: никакому революционному суду никаких показаний давать не буду; однако вам запрещаю ссылаться на меня как на человека, отрицающего вашу розыскную службу; в противном случае вашу ложь вынужден буду опровергнуть.

21 ноября 1908 года к Лопухину явились незваные гости. Швейцар предупредил, что хозяин никого не принимает. Молодой человек оттеснил швейцара от входа, пояснив, что перед ним генерал Герасимов, которого Лопухин обязан принять.

Начальник Петербургского охранного отделения прошел в кабинет Лопухина.

— Вы по делу, Александр Васильевич? По служебному или частному?

— Я пришел к вам по просьбе Азефа, — сказал генерал, — ввиду суда над ним, угрожающего его жизни.

— Я уже имел честь говорить с господином Азефом, — ответил хозяин кабинета, — и просил его не впутывать меня в эту историю. На суд революционеров я не собираюсь, но если мне приставят браунинг, то не может быть и речи, что сказать: правду или ложь — выбора между мной и Азефом нет.

— Но ведь это измена, — повысил голос Герасимов, — вы не ведаете, что творите. По долгу присяги, совести и чести вы не имеете права предавать Азефа...

— Понятие чести и совести применительно лишь к вашему агенту, — ответил холодно Лопухин. — Я считаю инцидент сей исчерпанным. Я дал Азефу ответ весьма определенный.

Герасимов стал убеждать Лопухина изменить точку зрения.

— На вашем месте, если бы даже ко мне явились революционеры с браунингом, дал бы показание отрицательное...

— Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое! — прервал Герасимова Лопухин.

Тогда Герасимов перешел к угрозам.

— Вы же юрист и прекрасно понимаете, что совершаете тяжкое государственное преступление. Вы расшифровываете агентуру, которую обязаны хранить в тайне. Я приехал просить вас прекратить антигосударственную деятельность, в ином случае ни за что поручиться не могу.

— Вы говорите со мной в моем доме так, словно находитесь в арестантском помещении, — заметил Лопухин. — Прошу вас, измените, пожалуйста, свой тон...

— Учтите, я буду знать все, что происходит в Париже на революционном суде. Лицу, которое будет давать показания там, не поздоровится, против этого лица будут приняты исключительные меры.

Лопухин, прервав генерала, указал ему на дверь:

— Прошу прекратить разговор и выйти из комнаты...

Взбешенный генерал хлопнул дверью, а Лопухин сел писать письма председателю Совета министров П.А.Столыпину, товарищу министра внутренних дел А.А.Макарову и директору Департамента полиции М.И.Трусевичу. Изложив суть визитов к нему Азефа и Герасимова, он просил защитить его от «действий агентов политического розыска».

Отправив письмо Столыпину, Лопухин уговорил жену покинуть Петербург, а сам уехал в Париж. Он знал, что Герасимов вместе с жандармским офицером Комиссаровым считался непревзойденным специалистом по организации тайных убийств. Так что медлить ему было нельзя.



Письмо А.А.Лопухина П.А.Столыпину — председателю Совета министров и министру внутренних дел:

«Милостивый государь Петр Аркадьевич!

Около 9 часов вечера 11 сего ноября ко мне на квартиру в доме № 7 по Таврической улице явился известный мне в бытность мою директором Департамента полиции, с мая 1902 г. по январь 1905 г., как агент находившегося в Париже чиновника Департамента полиции Евно Азеф и, войдя без предупреждения ко мне в кабинет, где я в это время занимался, обратился ко мне с заявлением, что в партию социалистов-революционеров, членом которой он состоит, проникли сведения о его деятельности в качестве агента полиции, что над ним происходит поэтому суд членов партии, что этот суд имеет обратиться ко мне за разъяснением по этому поводу и что вследствие этого его, Азефа, жизнь находится в зависимости от меня.

Около 3 часов дня 21 ноября ко мне, при той же обстановке, без доклада о себе явился в кабинет начальник СПб охранного отделения Герасимов и заявил мне, что обращается ко мне по поручению того же Азефа с просьбой сообщить,

как поступлю я, если члены товарищеского суда над Азефом в какой-либо форме обратятся ко мне за разъяснениями по интересующему их делу. При этом начальник охранного отделения сказал мне, что ему все, что будет происходить в означенном суде, имена всех имеющих быть опрошенными судом лиц и их объяснения, будут хорошо известны. Усматривая из требования Азефа, в сопоставлении с заявлением начальника охранного отделения Герасимова о будущей осведомленности его о ходе товарищеского расследования над Азефом, прямую направленную против меня угрозу, я обо всем этом считаю долгом довести до сведения Вашего Превосходительства, покорнейше прося оградить меня от назойливости и нарушающих мой покой, а может быть, угрожающих моей безопасности, действий агентов политического сыска. В случае, если Ваше Превосходительство найдет нужным повидать меня по поводу содержания настоящего письма, считаю своим долгом известить вас, что 23 сего месяца я намереваюсь выехать из Петербурга за границу на две недели по своим личным делам.

Прошу Ваше Превосходительство принять выражение моего уважения.

21 ноября 1909 г.

А.Лопухин».

Впоследствии это было опубликовано в газетах: лондонской «Таймс» и парижской «Юманите».



Неизвестно, общались ли в те критические дни Бурцев и Лопухин, обменивались ли мнениями, но интересно, что «крысолов» тоже решился на смелый шаг. Это было понятно: если бывший директор Департамента полиции откажется подтвердить свои показания, то он, Бурцев, предстанет перед партийным судом как лжец, а провокатор выйдет из воды сухим.

И Бурцев отправился к начальнику личной охраны царя полковнику Спиридовичу.

— Что же вас привело ко мне, господин Бурцев? — спросил удивленный Спиридович.

«Крысолов» обстоятельно рассказал о деле Азефа.

После его ухода полковник записал в журнале приема посетителей: «Бурцев. Уверял меня, что, давая сведения генералу Герасимову, Азеф в то же время подготовлял цареубийство».

В тот же день в рапорте коменданту Царскосельского дворца генералу Воейкову Спиридович подробно изложил содержание своей беседы с Бурцевым. Воейков довел эти сведения до царя. Николай II велел сенаторам из первого отдела Государственного совета расследовать дело Азефа. Руководители политического сыска сами оказались под следствием.

Да, ход Бурцева оказался точен.



Но и эсеры уже действовали.

После разговора с вернувшимся из Петербурга Аргуновым Савинков выехал в Мюнхен. Имя собеседника своего там он не называет, но цель поездки не скрывает: в связи с сообщением Бурцева было необходимо выяснить местопребывание Азефа в средних числах ноября. «Н. и товарищи его рассказали мне, что Азеф приехал в Мюнхен 15 или 16 ноября ст. стиля и оставался там всего пять дней, — писал Савинков. — Они получили от него письмо из Берлина от 9/22 ноября. Азеф был уличен во лжи: он сказал Чернову и Натансону, что пробыл в Мюнхене десять дней. Кроме того, в Берлине он был без ведома Центрального комитета. Тогда Центральный комитет постановил произвести тайное расследование об Азефе».

Мы еще вернемся к проверке, проведенной Савинковым, и убедимся, что, как и Татаров, Азеф допустил серьезную ошибку, создавая себе алиби. Факт, который сыграл роковую роль в судьбе провокатора.



В декабре в Лондон приехал Лопухин — главный свидетель обвинения. На свидание к нему выехали Савинков, Аргунов и Чернов. Их встреча состоялась в маленькой гостинице недалеко от вокзала Чаринг-кросс.

— Мои друзья, — представил Аргунов Савинкова и Чернова. — Мы расследуем дело Азефа...

— Ну что ж, следствие так следствие, — сказал Лопухин. — Я расскажу все, что знаю.

И рассказал.

Впервые об Азефе Лопухин узнал весной 1903 года, когда был назначен на должность директора Департамента полиции. Дурново, тогда еще товарищ министра внутренних дел, сказал Лопухину, что заведующий русским политическим сыском за границей Рачковский ходатайствует об ассигновании секретному сотруднику Раскину 500 рублей для передачи Гершуни. Дурново боялся, что эти деньги пойдут в кассу Боевой организации.

— Я прошу вас увидеть Раскина и лично выяснить истинное назначение этой суммы, — попросил Дурново Лопухина.

По требованию Лопухина Раскин явился к нему по приезде из-за границы.

— Эти деньги не предназначаются на боевое дело, — пояснил Раскин, — но они нужны для освещения весьма видных революционеров. Через Гершуни это будет легко сделать.

Второе свидание Лопухина с Азефом состоялось, по его словам, в конце 1903 года или в начале 1904 года. Лопухин через прислугу получил записку, в которой «лицо, ему лично известное» просило о свидании. Этим лицом был Азеф, просивший увеличить ему содержание. Лопухин отказал. В тот период (это известно из отчета Ратаева), Азеф получал до 6 тысяч рублей в год.

Третье свидание с Азефом состоялось 11 ноября 1908 года.

— Он пришел просить обмануть Бурцева...

— Вы могли бы нам описать Азефа? — спросили Лопухина.

— Да, — ответил он.

По этому портрету товарищи узнали Азефа: толстый, сутуловатый, выше среднего роста, шея короткая, руки маленькие; лицо круглое, одутловатое, смуглое; череп кверху суженный; волосы прямые, жесткие, темный шатен; лоб низкий, брови темные, глаза карие, слегка навывкате, губы толстые, нос большой, приплюснутый...

«В искренности Лопухина, — отмечал позже Савинков, — нельзя было сомневаться: в его поведении и словах не было

заметно никакой фальши. Он говорил уверенно и спокойно, как честный человек, исполняющий свой долг... Нет сомнений, что он действовал более чем бескорыстно: он знал, что правительство будет преследовать его».

При прощании эсеры начали благодарить Лопухина.

— Не стоит, — сухо ответил тот. — Я руковожусь соображениями общечеловеческого свойства и потому мои действия не следует рассматривать как услугу партии социалистов-революционеров...



— Если сыск на верном пути, — говорила Морозова, — то кольцо вокруг преступника всегда смыкается.

Медленно, но верно смыкалось кольцо вокруг Азефа.



События 11 ноября были для эсеров самыми главными. Они проясняли: если Лопухин говорил правду, то виновность Азефа доказывалась полностью. Центральный комитет решил допросить Азефа о дне 11 ноября.

На квартиру Азефа на бульваре Распай эсеры пришли неожиданно. Первым вошел Савинков, вторым Чернов, после них молчаливый боевик Попов, которого сам Азеф ценил очень высоко.

Азеф прошел к окну, стал в позу:

— В чем дело, господа?

— Нам известно, что 11 ноября ты был в Петербурге у Лопухина, — сказал Чернов.

— Такого не было и не могло быть, — отрезал Азеф.

— Где же тогда ты был?

— В Берлине, — ответил Азеф и вынул из кармана два счета. — Вот, смотрите.

Он ждал этого вопроса и, похоже, был готов к нему.

— Первый счет на имя Лагермана, — Азеф овладел своим голосом, дрожавшим вначале. — Это гостиница «Фюрстенхоф» в Берлине, где я был с седьмого числа по девятое... Вот второй счет на имя Иоганна Данельсона с девятого ноября по тринадцатое в том же Берлине, меблированные комнаты «Керчь», которые содержит русский еврей Черномор-

дик... Там я остался, чтобы отдохнуть. Из Берлина ездил к другу в Мюнхен...

— Ты ничего не хочешь добавить? — спросил Чернов.

— Нет, — ответил Азеф. Он уже пришел в себя и выглядел более уверенным. — За меня ручается мое прошлое.

— Мы даем тебе срок подумать, — сказал Чернов.

— После этого мы будем считать себя свободными от всяких обязательств, — добавил Савинков.



Вторичная проверка, проведенная эсерами в Берлине, установила, что меблированные комнаты «Керчь» похожи не на гостиницу, а на притон низшего разряда, что Черномордик вовсе не хозяин его, а служит переводчиком при берлинском полицейско-президиуме, что лицо, остававшееся в «Керчи» под фамилией Данельсона, даже отдаленно не напоминает собой Азефа.

Эсеры поняли, что счет был фальшивый. За первым выводом следовал второй — Азеф не был в Берлине; и третий — в это время он был в Петербурге, Лопухин говорил правду.

Круг смыкался.



Во всей литературе, описывающей разоблачение Азефа, нет и намека на то, как мог такой опытный конспиратор и провокатор опростоволоситься.

Секрет мне раскрыла Морозова. Он стал ей известен в двадцатые годы.

— Когда к Герасимову явился Азеф и, как на исповеди, изложил трудности, связанные с беседой между Бурцевым и Лопухиным, генерал понял сложность ситуации и распорядился: сотруднику Департамента срочно выехать в Берлин, чтобы приготовить счета гостиниц на несуществующие имена. Он должен был приготовить алиби. Но агент не знал, какое значение придает начальство этой поездке, — он принял ее за приятное времяпрепровождение: подумаешь, счета гостиницы! Неудачно выбрал «Керчь» и вдобавок перепутал имя ее хозяина. Понятно, что и внешностью своей агент не походил на Азефа.

Маленькие проколы, повлиявшие на исход дела. Кто мог об этом подумать?

— К тому же описание комнаты в «Керчи» было сделано Азефом неверно, — рассказывала Морозова. — Эсеры не сомневались в том, что если Азеф и был там, то мимоходом и недолгое время. В подлинном протоколе допроса Азефа мы читаем: «На вопрос, имел ли Азеф когда-либо и в каких-либо целях сношения с полицией, Азеф ответил, что никогда и никаких сношений не имел. Он заявил: из гостиницы «Фюрстенхоф» переехал в меблированные комнаты «Керчь» из-за сравнительной дешевизны последних и по причине, назвать которую отказывается, не находя вопрос о ней относящимся к делу. Из «Керчи» Азеф переехал в «Централ-отель» в видах конспирации, не желая прямо из «Керчи» ехать в Мюнхен». В дальнейших его показаниях появляются неточности, которые по ходу он начинает устранять, и это свидетельствует прежде всего о том, что путается он по вполне простой причине — из-за лжи.

Ложь всегда опасна, маленькая, она превращается в большую.

И шаг за шагом члены комиссии убеждались: Азеф врет. Сведения, данные Бурцевым и Лопухиным, подтверждались.



Письмо Е.Ф.Азефа от 7 января 1909 года, посланное в Центральный комитет партии эсеров:

«Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защищаться против возведенного полицией или ее агентами гнусного на меня обвинения, возмутителен и противоречит всем понятиям и представлениям революционной чести и этики. Даже Татарову, работавшему в нашей партии без году неделя, дали возможность выслушать все обвинения против него и ему защищаться. Мне же, одному из основателей партии с.-р. и вынесшему на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему благодаря своей энергии и настойчивости в одно время всю партию на высоту, на которой не стояли другие революционные организации, прихо-

дят и говорят: «Сознавайся — или мы тебя уьем». Это ваше поведение будет, конечно, историей оценено. Мне же такое ваше поведение дает моральную силу предпринять самому, на свой риск, все действия для установления своей правоты и очистки своей чести, запятнанной полицией и вами. Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите отчет за меня партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться.

Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня. Иван Николаевич.

Я требую, чтобы это письмо мое стало известным большому кругу с.-р.»



Извещение ЦК партии эсеров от 23 декабря 1908 года:

«Центральный комитет п. с.-р. доводит до сведения партийных товарищей, что инженер Евгений Филиппов Азеф, 38 лет (партийные клички «Толстый», «Иван Николаевич», «Валентин Кузьмич»), состоявший членом партии с.-р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом Б.О. и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокатором. Скрывшись до окончания следствия над ним, Азеф ввиду своих личных качеств является человеком крайне опасным и вредным партии. Подробные сведения о провокаторской деятельности Азефа и ее разоблачения будут напечатаны в ближайшем времени».



Обвинения, предъявленные Бурцеву, отпали сами собою. Суд чести закончился соглашением:

«Мы, нижеподписавшиеся, представители партии социал-революционеров, сим заявляем:

Ввиду того, что:

расследованием Центрального комитета вполне подтвердился факт провокации Азефа,

Центральный комитет партии социал-революционеров берет назад предъявленное им тов. Бурцеву обвинение во всех этого обвинения частях.

Я, В.Л.Бурцев, со своей стороны, отказываюсь от обвинения, предъявленного мною к Центральному комитету партии социалистов-революционеров.

О вышеизложенном обе стороны постановили довести до сведения судебной комиссии.

Вл. Бурцев, Б.Савинков, М.Бобров, О.Гарденин.

Париж, 17 января 1909 г.



Азеф исчез из Парижа после встречи с товарищами по партии 5 января. Позже исследователи утверждали, что эсеры его просто отпустили.

Морозова была иного мнения.

— Он и должен был скрыться, потому что знал: партия может смыть позор только его смертью. А умирать ему не хотелось...



От брошенного в воду камня пошли круги. Шум вокруг дела Азефа прокатился по всей Европе.

В феврале в Государственной думе состоялся запрос по делу провокаторов. Этот запрос поддержали депутат Покровский от имени социал-демократической фракции, депутат Булат от трудовиков и депутат Пергамент, представлявший конституционно-демократическую партию. Булат даже прочитал письмо Азефа Савинкову, датированное 10 октября 1908 г. О полицейской провокации заговорили вслух.

На запрос депутатов премьер-министр Столыпин вынужден был ответить:

«Перейдем к отношению Азефа к полиции. В число сотрудников Азеф был принят в 1892 году. Он давал сначала показания Департаменту полиции, затем в Москве поступил в распоряжение начальника охранного отделения; затем перешел за границу, опять сносится с Д-том полиции и, когда назначен был директором Д-та Лопухин, переехал в Петербург и оставался там до 1903 года. В 1905 году поступил в

распоряжение к Рачковскому, а в конце 1905 г. временно отошел от агентуры и работал в петербургском охранном отделении. Конечно, временно, когда Азефа начинали подозревать или после крупных арестов, Азеф временно отходил от агентуры».

Столыпин считал, что скандал вокруг Азефа поднят только во славу революции. В конце своей речи он назвал источники, откуда пошло это дело, — Бакай, Бурцев и Лопухин. Два первые, отметил он, не заслуживают доверия в силу своего прошлого, а из дела о Лопухине видно, что об участии Азефа в террористических актах он ничего не знал. И Столыпин заключил: несмотря на цитированное письмо о полицейской провокации, каких-либо незаконных действий ни в деятельности министерства, ни в агентурной работе Азефа нет.

Премьер-министр защищал честь мундира, свое ведомство, которое возглавлял, не предвидя, что из этого ведомства и будет пущена в него пуля.

Кто может предсказать свою судьбу?



Свою судьбу мог предсказать только Лопухин, когда назвал Бурцеву провокатора. Он знал, что будет арест, но когда это произойдет, не предполагал.

Арест состоялся в потемках зимнего утра, когда в его дом на Таврической улице вошли прокурор, товарищ прокурора, пристав с помощником, околоточный и городовые. Был долгий обыск, потом хозяина дома отвезли в знаменитые Кресты, где поместили в камеру первого корпуса. Возможно, камера была «привилегированная», но от этого арестанту лучше не стало.

Следствие шло три долгих месяца. В апреле 1909 года рассмотрению Особого присутствия подлежало дело отставного статского советника Алексея Александровича Лопухина, обвиненного в государственной измене. Обвинение поддерживал прокурор Корсак, распорядившийся обыском на Таврической. В качестве свидетелей в суд были приглашены бывший министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский и бывший начальник Московского охранного от-

деления Зубатов. На суде были зачитаны протоколы допросов полицейских чинов — Рачковского, Ратаева и Герасимова, составленные в ходе следствия.

Позиция сыска была сложной, на суде следовало, защищаясь, доказать, что провокатор действовал на благо империи и ни в каких террорах, тем более против лиц царской семьи и сановников, участия не принимал.

Полицейские чины дружно лгали, спасая свою шкуру.

Герасимов: «Я категорически заявляю, что с того момента, как ставший моим агентом Азеф проник в Центральные учреждения партии, благодаря сведениям, им мне доставленным, была спасена жизнь нескольких высокопоставленных лиц и разрушен целый ряд террористических предприятий».

Ратаев: «Из изложенного видно, что Азеф был в высшей степени ценным и полезным для правительства агентом... За время моей службы, т. е. по август 1905 г., Азеф, по моему убеждению, к Боевой организации не принадлежал и террористическими актами руководить не мог».

Зубатов: «Во время нашей работы Азеф не был даже членом партии социал-революционеров...»

Князь Святополк-Мирский доказывал, что Азеф не играл никакой руководящей роли в эсеровской партии. Да и какую роль мог играть этот простой агент?

Как ни старались полицейские чины доказать, что Азеф непричастен к убийствам Плеве и Великого князя Сергея Александровича Романова, сделать это им не удалось. Однако отделались они весьма легко — некоторые были уволены в отставку с весьма солидными пенсиями.

А Лопухин был признан виновным в совершении преступления и осужден к пяти годам каторжных работ. Отбывать наказание его отправили в Минусинск.

Генерала Герасимова с ключевой должности в политической тайной полиции империи убрали тихо и незаметно. Его прикрыл сам Столыпин. Герасимов — герой подавления первой русской революции — не был предан суду за «халатность, допущенную за работу с Азефом». Его перевели на должность генерала для поручений при министре внутренних дел. Он и числился в ней вплоть до февраля 1917 года.

Скандал, вызванный делом Азефа, постепенно стал стихать.

В 1912 году Лопухину разрешили поселиться в Москве, где он стал вице-директором торгового банка. В 1923 году он опубликовал отрывки из своих воспоминаний. Умер в 1927 году за границей.



В архиве Департамента полиции сохранился отчет, переданный по телеграфу Гартингом о собрании эсеров, состоявшемся в январе 1909 года. На том собрании присутствовали все виднейшие революционеры. Чернов рассказал об измене руководителя Боевой организации.

«Когда Чернов окончил свою речь, — говорится в донесении, — председательствующий Фундаминский (Бунаков) и многие из присутствующих плакали; другие сидели с опущенными головами, не произнося ни слова...»

Потрясение революционеров было ужасным. Некоторые из них требовали немедленной ликвидации Азефа.



Европейские газеты писали о слухах, ходивших вокруг «короля провокаторов». Наверняка он их читал, путешествуя по Италии, Греции и Германии. Он даже побывал в Египте, проведя значительное время в Луксоре.

Жена от него ушла, но это было ему не в тягость, а скорее на руку, потому что свою судьбу он связал с немкой Н., с которой познакомился в петербургском кафешантане «Аквариум» еще в 1907 году.

Азеф поначалу не очень-то испугался обвинений, предъявленных Бурцевым, и в то время, когда революционеры разоблачали «крысолова», проводил время на курорте в Биаррице, наведываясь в Мадрид и Сан-Себастьян. Он знал, что видные революционеры в обиду его не дадут, а товарищи — тем более. К материалу, собранному Бурцевым, он относился с иронией, пока не возникла фигура Лопухина. Последнего он испугался и в смятении допустил ряд ошибок, которые повлияли на его судьбу.

Вот что он писал генералу Герасимову после разоблачения:

«Все могло кончиться не так плохо, а может, и хорошо, если бы удалось установить свое алиби. Словом, было роковой ошибкой мое и Ваше посещение к Л. Когда Бог хочет наказать кого-то, он отнимает у него разум».

В этом же письме он просил своего покровителя выдать ему «жалованье за декабрь», если имелась возможность, то и пособие. Просил помочь трудоустроиться по инженерной части. Азеф собирался жить.

В 1910 году он поселился в Берлине, снял квартиру, обзавелся мебелью. Своей любимой женщине он делал дорогие подарки. Слежки не боялся или делал вид, что не боится. Он стал Александром Неймайером, и позже историков этот факт удивил, поскольку этим псевдонимом он пользовался еще в годы революционной деятельности.

Жил он тихо, незаметно, занимался коммерцией, играл на бирже. Приглашал гостей на русский чай и угощал, наливая чай из настоящего самовара, привезенного из Петербурга. Репутация у господина Неймайера была как у настоящего русского — человек хлебосольный. У него были приятели из добропорядочных буржуа, он бывал в оперетте, посещал увеселительные заведения и ездил на известные курорты. Словом, не отказывал себе ни в чем.

Все обходилось. Но в 1912 году его постигла неудача. На одном из курортов его узнали люди, знавшие прежде. Почувяв неладное, он исчез. Но по номеру стакана на источнике определили его медицинскую карту, затем нашли запись в книге отеля. Оказалось, что в отеле «Вестенд» живет господин Неймайер из Берлина.

Зимой 1912–1913 годов Азеф заметал следы: ездил по гостиницам, менял паспорта.



Конец жизни «короля провокаторов» можно назвать запоздалым правосудием.

Началась первая мировая война, и все его состояние, вложенное в русские ценные бумаги, было утрачено в одно мгновение.

Он нашел выход из положения, открыв в Берлине корсетную мастерскую, осваивал новое дело и творил его с та-

кой же тщательной разработкой, как в ту пору, когда готовил террористические акты. Поэтому год прошел для супругов Неймайеров довольно-таки сносно.

Беда пришла летом 1915 года. Азеф неожиданно был арестован на улице немецкой уголовной полицией. Причина ареста так и осталась неизвестной. Известно лишь то, что в кафе на Фридрихштрассе его опознал старый знакомый, сообщивший полицейскому агенту, что узнал известного русского анархиста.

В тюрьме Азеф написал оправдательное письмо властям, утверждая, что с 1910 года не имеет никаких «сношений с русским правительством», с которым Германия находилась в состоянии войны. Он полагал, что инцидент этим и ограничится.

Власти молчали. Наконец-то один из тюремных начальников пояснил ситуацию: арестованного принимают не за агента русского Департамента полиции, а за известного анархиста.

Азеф пишет объяснение: анархистом никогда не был, а был лишь сотрудником Департамента полиции, который боролся с революционерами, но теперь все это в прошлом, теперь он мирный купец, не занимающийся политикой и честно зарабатывающий свой хлеб.

Наивно полагать, что берлинская полиция не знала про Азефа, — не так давно шумные разоблачения Бурцева прокатились по всем европейским изданиям, и каждый взрослый человек знал, кто такой «король провокаторов» на самом деле.

Два с половиной года содержался Азеф в тюрьме, где условия были не такими уж сносными, как могло показаться со стороны. Потому он и писал жалобы на свое содержание, и мольбы эти в конце концов возымели действие. Азефу предложили «переселиться» из тюрьмы в лагерь для гражданских пленных русской национальности. Вроде сделали поблажку, но Азеф от нее отказался.

Из тюрьмы он написал жене много писем, в которых немного философствовал, давал ей советы, как жить, оценивал людей и события. Письма эти интересны с той точки зрения, что по ним можно судить о мировоззрении бывшего

секретного сотрудника. Но говорил ли он в них правду — вот в чем вопрос?

Его выпустили из тюрьмы примерно в тот период, когда октябрьская революция в России была завершена и к власти пришли большевики. Освобождение, как и арест, тоже непонятно: то ли случайность, то ли выполнялся какой-то план властей. Немецкая жена Азефа утверждала, что его пригласили на службу в германское министерство иностранных дел. Но в это верится с трудом. В дипломаты он не годился, тем более что немцы не брали на службу иностранцев. Кстати, писал он по-немецки весьма безграмотно.

Но в России в то время правили одни революционеры, а другие эту власть оспаривали, и, возможно, в Берлине кто-то собирался использовать связи Азефа и его старые знакомства. Кто знает...

Здоровье его было подорвано тюрьмой. Азеф уже страдал болезнью почек, осложнившейся сердечной недостаточностью. В апреле 1918 года он оказался в больнице, где и скончался.

Его верная и единственная любовь была с ним до конца. Она похоронила Азефа 26 апреля 1918 года на кладбище в Вильмерсдорфе, купив место второго класса — за 51 марку 50 пфенигов. Похороны тоже были совершены по второму классу. За гробом шла лишь одна фрау Н.



Когда историк Борис Николаевский писал свою работу о «короле провокаторов», он посетил кладбище, на котором был похоронен Азеф.

Могила его приютилась у одной из боковых дорожек, почти на границе второго и третьего класса, писал Николаевский. На каждой могиле стоял памятник, правда, скромный, с обязательной табличкой: здесь лежит такой-то, родившийся тогда-то, и умерший тогда-то, «Упокой, Господи, его душу!» Иногда даже указывалось, какое положение занимал умерший в жизни. Только на могиле Азефа ни таблички, ни памятника. Она не была заброшенной: стояла железная ограда, за ней цветы, шиповник. Кладбищенский паспорт был скромен — дощечка с номером места — 446.

Николаевский спросил у фрау Н., почему она сознательно решила не делать никакой надписи? Она ответила искренне, ведь после похорон прошло семь лет.

— Знаете, здесь сейчас так много русских... Они часто ходят сюда... Вот видите, рядом тоже русские лежат. Кто-нибудь прочтет, вспомнит старое — могут выйти неприятности. Лучше не надо...



ГЕОРГИЙ ГАПОН

Некотрые историки утверждают, что как истинный профессионал сыска Плеве отличился еще в одном деле — он слепил, образно говоря, фигуру Георгия Гапона, который позже сыграл роковую роль не только в одной судьбе, я имею в виду графа Витте, но и в сотне других.

Идея, с которой начал Плеве, была проста, и он ее легко объяснил своим подчиненным. Впрочем, суть была заимствована у Зубатова, создававшего легальные рабочие организации. Известно, что начальники порой выдают предложения подчиненного за свои собственные. Речь шла о рабочих кружках, создаваемых в промышленных центрах империи.

— Да-с, отвлечь простонародье от политики надо бы новыми средствами. Бунтовать будут всегда — так уж устроен человек, но мы должны взять это под свой неусыпный контроль. Лучше это сделаем мы, чем революционеры...

По плану Плеве бороться с революционным брожением, будоражившим фабричный люд, надо было иначе, чем прежде. Если рабочие высказывают свои экономические требования — извольте, пусть высказывают, но не правительству и тем более царю, а самим капиталистам; пусть последние во всем и разбираются.

Промышленники, естественно, с таким подходом к делу не соглашались, но сторонники Плеве уверяли, что лучше иметь организации, подконтрольные полиции, чем «отдать» фабричных социал-демократам.

Лидера для «своей» рабочей организации полиции искать не пришлось. Для этой роли, посчитала она, больше всего

подходит священнослужитель Георгий Гапон, который становился все более популярным среди трудовых масс. Тот хорошо знал жизнь бедных кварталов и сам шел навстречу их обитателям.

— Гапон для нас больше, чем находка, — говорил Плеве.

Сам Гапон утверждал, что созданное при его участии «Общество русских рабочих» привьет простому люду «философию христианского духа». Конечно, уже тогда кое-кто подозревал его в связях с полицией или, может, высказывал подозрения, но никаких доказательств двурушничества не было, да и основная масса, веря священнослужителю, шла за ним.

Плеве создавал фигуру «вождя» на свой манер:

— Так же, как люди слушаются батюшку, он должен слушаться нас...

Вначале, как бывает часто, это удавалось. Гапон прислушивался к мнению своих покровителей, но по мере роста популярности становился все более независимым. Популярность, как известно, портит характер человеческий.

Подоспела русско-японская война, до столицы донеслась затем унижительная весть о падении Порт-Артура — в начале января 1905 года волна возмущения, как цунами, прокатилась по России. Забастовка, начатая в Петербурге на заводе известного русского промышленника Путилова, снабжавшего армию, переросла в стачку, в которой приняли участие тысячи возмущенных и недовольных людей.

Застигнутый врасплох Гапон должен был сделать выбор: остаться в стороне или возглавить рабочее движение. Он выбрал второе. Правда, утверждают историки, обличающие Гапона, вначале такой совет ему подали советчики из охраны, которые и сами не смогли верно оценить ситуацию. Им казалось, что брожение не такое уж опасное: стоит лишь выпустить пар из котла, и температура спадет.

Но все сложилось иначе, чем задумывалось. Гапон все больше стал входить в уготованную ему роль — выступал на митингах, произнося резкие речи, составлял списки, в которые включал требования рабочих. У него появилась идея: собрать народ и привести его к Зимнему дворцу, чтобы от имени собравшихся вручить царю петицию. Задуманное он представлял так: Николай II на балконе дворца из рук

слуги Божьего принимает петицию, в которой народ просит его освободить от злых притеснителей: эксплуататоров, грабителей, воров. После этого он становился личностью еще более значительной и весомой. Естественно, Гапону это льстило.

Таковы предпосылки к тому дню, получившему в народе название Кровавого воскресенья. Позже в нашей истории были и более кровавые дни, но тот, в начале века, был первым Кровавым.



— Вы знали Гапона?

— Нет, — отвечает на мой очередной вопрос Изабелла Георгиевна. — Зато знала Рутенберга, который казнил его.

— Вы были хорошо знакомы с Рутенбергом?

— Не близко, — последовал ответ, — но знакомы. Он знал, что я представляю бакинских большевиков, а я — что он является одним из лидеров эсеров. Наше знакомство не могло долго продолжаться — большевики и эсеры не очень-то дружили; кроме различия программ и методов борьбы с самодержавием, было немало спорных вопросов, касающихся отношения к царской охранке. Каждая сторона действовала по-своему.

— Всегда ли были столь существенны различия между этими партиями?

— Во многих вопросах — да, хотя в одном мы были едины и даже обменивались информацией. В тех случаях, когда речь шла о провокаторах. Каждая сторона считала обязанностью помогать даже своим идейным противникам в борьбе с предателями...



Гапон получал деньги и, несомненно, не только от своей организации, но и от охранки (так утверждали его обличители). И щедро раздавал их, не отказывая никому.

Социалист О.С.Минор вспоминал, как обсуждал какие-то вопросы с Гапоном у того на квартире в доме против кафе Ландольта в Женеве и прервал разговор, когда в комнату постучали. Гапон открыл дверь — на пороге стоял Влади-

мир Ульянов. Увидев Минора, Ленин отозвал Гапона в глубь комнаты и о чем-то его тихо попросил. Они пошептались. Минор заметил, как Гапон, вынув из бумажника пачку ассигнаций, передал ее гостю. Тот ушел довольный, почтительно откланявшись.

В те годы общение Гапона с социалистами было самым теплым и, выходит, даже тесным. Многие на него рассчитывали, иные даже гордились знакомством с такой популярной личностью. Были и такие, кто не чурался одалживать у него деньги. Впоследствии многие от него отреклись.



Вернемся к Кровавому воскресенью, всколыхнувшему всю империю.

Затеивая «крестный ход», Гапон общался с революционерами и, естественно, не мог не учитывать их советы и пожелания. Поначалу скромная петиция стала приобретать все более радикальный характер. В ней звучали уже иные требования: об Учредительном собрании, амнистии политическим заключенным, восьмичасовом рабочем дне, прогрессивном подоходном налоге, предельном минимуме заработной платы.

Охранка, контролировавшая действия Гапона, сделала подробнейший доклад новому министру внутренних дел князю Святополк-Мирскому, но тот, занятый подготовкой визита царя в Петербург на традиционный христианский праздник Водосвятия, должного внимания сообщению не придал.

Толпы народа приветствовали царя, когда он проезжал по улицам и проспектам столицы. Грянул салют. По ошибке, по недосмотру, в одну из пушек сунули боевой снаряд, тот грохнул, как надо, — взрыв раздался недалеко от царя, ранив полицейского. Следствие позже установило, что то был не умысел, а просто оплошность, — это и спасло руководителей охранки, проморгавших сие неблагополучие: заговора-то не было.

В ту субботу, как утверждают источники, близкие к правительственным кругам, Гапон вдруг заявил властям о намечаемой манифестации и попросил, чтобы царь принял

петицию. Министр внутренних дел, до которого дошла просьба, встревожился. Тогда Гапон заикнулся о своем намерении в высоких кругах, соглашаясь на известные ограничения, но поддержки так и не получил. Никто не собирался просить царя о подобном приеме. Слишком памятен еще был снаряд, выпущенный на Водосвятие.

Святополк-Мирский возмутился:

— Это уж слишком! Что он себе позволяет, этот наглец?

Реакция была мгновенной. Разъяренный шеф полиции потребовал срочно вызвать к себе Гапона для того, чтобы поставить выскочку на место. Но тот неожиданно показал свой нрав: отказываетесь, так пеняйте на себя, манифестация все равно состоится!

Об ответе Гапона доложили министру, тот приказал ввести в столицу войска и, конечно, казаков.

— Пусть только попробуют выйти на улицу! — пригрозил министр.

Не буду излагать различные версии, описывающие кровавый день и объясняющие происходившее, сошлюсь на одну из них, которую от нас долго скрывали. Это точка зрения самого царя. В дневнике Николая II, который он исправно вел, записано: «Из предместий были переведены в город войска, чтобы усилить гарнизон. Это достаточно, чтобы успокоить рабочих. Их число достигло 120 тысяч человек. Во главе их союза стоит какой-то священник — социалист по имени Гапон. Мирский приходил сегодня вечером, чтобы представить свой доклад о принятых мерах».

Версия о том, что царь не знал о готовящейся акции, отпадает. Как и полицейские чины, он не оценил сложность ситуации.

9 января 1905 года, воскресенье. Сквозь метель и ледяной ветер начался ход, который возглавил Гапон. Люди мирно шли по улицам, держа за руки своих детей. Царило оживление — все верили в добро, все надеялись. Несли кресты, иконы, хоругви, портреты императора, пели церковные молитвы и «Боже, царя храни!»

По замыслу организаторов процессия должна была подойти к Зимнему дворцу к двум часам дня. Шедшие видели выстроенных в шеренги солдат, за которыми стояли гусары

и казаки, но это казалось им обычным явлением для соблюдения порядка.

Случилось непредвиденное: солдаты неожиданно дали ружейный залп. Пролилась кровь. Люди побежали, давя друг друга. Все смешалось...

По официальным данным, число жертв составило 92 человека убитыми и несколько сот ранеными, но, как утверждают историки, пострадавших было значительно больше.

Гапон, шедший в первом ряду, был ранен в руку. Рядом с ним шел революционер Петр Рутенберг, который помог Гапону протиснуться через обезумевшую толпу и спрятал его на конспиративной квартире эсеров.

Залп по толпе на Дворцовой площади был залпом по империи, ставшим, как отметили большевики, поворотным пунктом в отечественной истории. Прежде большинство рабочих верили в царя, теперь эта вера была убита. Под пулями они кричали: «У нас нет более царя!»

И ушедший в подполье Гапон не молчал. Он написал открытое письмо Николаю II, обвиняя его в пролитой крови. «Невинная кровь рабочих, их жен и детей навсегда разделила тебя и русский народ, — писал Гапон. — Да падет вся кровь на тебя, Вешатель!»

Гапон призывал все социалистические партии России объединиться, прийти к немедленному согласию и начать вооруженное выступление.

Обстановка накалялась. В спешке и растерянности правительство собралось на заседание правительства, мучительно долго ища выход из создавшегося положения. Граф Витте предложил, чтобы царь публично извинился и отмежевался от бойни, объявил, что войска применили оружие без его согласия.

Очевидцы свидетельствуют: Николай II отказался клеветать на армию, решив принять рабочую делегацию в Царском Селе. Все верили, что тем самым напряжение будет ослаблено.

Подготовили встречу. Рабочих на приеме напоили чаем, угостили вареньем и печеньем. Царь по-отечески попросил их поддержать армию, воюющую на полях сражений. «Не слушайте преступных мыслей революционеров-предателей, — говорил он. — Они хотят лишь погибель России».

Избранные рабочие, побывавшие в царском дворце, позже пытались рассказать друзьям о просьбе царя-батюшки, но их поднимали на смех. Кое-где и поколотили.



Скрывшись, Гапон одно время жил в Гельсингфорсе на квартире студента Вальтера Стенбека, сочувствующего русским революционерам. Туда поздно вечером пришел Борис Савинков, который в то время скрывался от преследования филеров. Он и рассказал подробности их встречи.

В подъезде дома его остановили какие-то мужчины, заинтересовавшись, к кому он идет.

— К другу! — ответил Савинков и назвал, от кого он.

Его пропустили. Поднимаясь по темной лестнице, Савинков подумал, что Гапон неплохо устроился — его «пасут» не филеры, а охраняет вооруженная стража — члены активного сопротивления.

Гапон лежал. Увидев Савинкова, поднялся с кровати. Неожиданно задал вопрос в лоб:

— Как ты думаешь, меня повесят?

— Вероятно, — ответил гость.

— А, может быть, в каторгу? — с надеждой спросил бывший поп.

— Не думаю.

Гапон протер глаза. Услышанное его расстроило.

— А если тебе вернуться в Петербург? — предложил Савинков.

— Рабочие ждут, — спокойно ответил Гапон. — Я бы поехал.

Савинков пожал плечами:

— Как знаешь. Пути всего одна ночь.

— А не опасно?

— Может, и так.

Встав с кровати, Гапон как бы встряхнул с себя остатки сна.

— Мне говорят, что опасно, убеждают не ехать. Как быть? Можно ли вызвать рабочих сюда?

Дальше произошел пассаж, который впоследствии трактовался по-разному. Савинков описывал его так: «Я дал ему

фальшивый паспорт на имя Феликса Рыбницкого. Пряча паспорт, он повторил свой вопрос: «Так ты думаешь, повесят?» — «Повесят». — «Плохо». Я стал прощаться. На столике у постели лежал заряженный браунинг. Гапон взял его и потряс им над головой: «Живым не сдамся!»

По другим источникам, паспорт на имя Рыбницкого Гапон получил из рук сотрудников охраны.

Савинков ушел ночью, опасаясь преследования. Он знал, что филеры идут за ним по пятам, и не был уверен, что сбил их с толку. Из Гельсингфорса он направился в Або, оттуда при помощи активистов финской партии переехал на Аландские острова. Там его уже ждал подготовленный бот. Его высадили возле шведского маяка. Финны сказали зрителю, что он — французский турист, и с помощью зрителя наняли парусную лодку до Фюрюзунда — курортного городка под Стокгольмом. Из Стокгольма Савинков уехал в Женеву, чтобы всерьез заняться расследованием дела Татарова, которого эсеры подозревали в предательстве.



Покинув Финляндию, Гапон какое-то время жил в Париже на квартире Азефа, с которым был в дружеских отношениях. Затем переехал в Женеву.

В феврале 1905 года директор Департамента полиции Лопухин разослал срочный циркуляр:

«Департамент имеет честь просить надлежащие власти принять меры к розыску священника церкви Святого Михаила Черниговского при Санкт-Петербургской пересыльной тюрьме Георгия Апполонова Гапона и в случае обнаружения названного лица подвергнуть его обыску, арестовать и препроводить в распоряжение начальника С.-Петербургского жандармского управления».

Лопухин сообщил также приметы разыскиваемого: роста среднего, смуглый, тип цыганский, волосы остриг, бороду сбрил, жиденькие черные усики, нос с горбинкой, слегка искривлен, бегающие глаза, на левой руке ниже последнего сустава с наружной стороны указательного пальца свежая пулевая рана, говорит с малороссийским акцентом.

Для какой цели был нужен Гапон, какие счета намеревалась свести с ним охранка — судить трудно. Но было ясно одно, что в последних его действиях, шедших вразрез с официальной политикой, наметилось противостояние — там, где интересы ведомства и служивших ему людей расходились, намечались серьезные трения. Они могли завершиться не только ссылкой ослушника. Хорошо понимая опасность ситуации, Гапон решил отсидеться за границей. Он знал: для того, чтобы свалить вину с себя, охранка сведет счеты с ним, и решил выждать, надеясь, что со временем все утрясется.

Гапон еще пользовался популярностью в простой среде, имел немало последователей. Те с гордостью, почитая за честь, носили при себе локоны, которые остриг священнослужитель. Вера в него еще жила.

Все решила, как всегда, судьба.

Революция шла на убыль, и правящие круги, в первую очередь Николай II, стали тяготиться правительством. Либерализм выходил из моды, а вместе с ним и Витте, возглавлявший правительство. В начале 1906 года, когда политическая обстановка стала стабилизироваться, активные члены «теневого комитета» принялись обсуждать вопрос, как избавиться от Витте. Идея была проста: сначала скомпрометировать, а затем постараться сместить. Размышлявшие над планом решили связать Витте с Гапоном — последнего царь ненавидел.

Идею подкинул бывший начальник Департамента полиции Гарин, ставший помощником министра внутренних дел Трепова.

— Лучшего нельзя и придумать, — убеждал он своих единомышленников, — либерал Витте и запятнавший себя Гапон — чем не дуэт? Как только мы организуем их встречу и оповестим об этом, Витте не удержится в правительстве, Гапон потянет его на дно...

Гарин, несомненно знавший политический сыск, хорошо усвоил правила игры. Сценарий был такой: Гапон просит у Витте материальной помощи, которую тот, понятно, оказывает, и тогда можно будет «организовать» утечку информации из правительства, что пошатнет репутацию графа.

Трепов поддержал Гарина. Вызвав Рачковского, он приказал разыскать Гапона. Рачковский сразу же поручил заведующему заграничной агентурной сетью Департамента Гартингу переговорить со священнослужителем Гапоном.

Гапон внимательно выслушал Гартинга. Понятно, что истинный замысел шеф заграничной резидентуры от своего собеседника скрыл.

— Я не боюсь возвращения в Россию, — сказал Гапон, — но есть ли смысл лезть в петлю? Разве вы видите во мне самоубийцу?

— Нет ничего опасного, — заверил Гартинг, — надо добиться вашего формального возвращения домой. Во всех случаях это придется когда-нибудь сделать. В нынешней ситуации даже выгодно — у вас есть наша поддержка.

И Гапон поехал в Петербург.

Чиновник И.Ф.Манасевич-Мануйлов, прикомандированный к правительственной канцелярии и тесно связанный с полицией, явившись к Витте, попросил принять Гапона. Свою просьбу он пояснил так: «Громадное большинство рабочих находится под влиянием анархистов-революционеров, а Гапон, совершивший проступок, искренне раскаивается в содеянном и желает помочь правительству справиться со смутой».

Из воспоминаний самого Витте мы узнаем, что он был несколько обескуражен возвращением «блудного сына».

На предложение Манасевича-Мануйлова он ответил вполне определенно: никаких сношений с Гапоном иметь не желает, и если тот в течение суток не покинет Петербург и не уедет за границу, то будет арестован и судим за события 9 января.

Манасевич откланялся. Но на другой день он вновь вошел в кабинет Витте.

— Ваша светлость! Гапон, как выяснилось, намерен последовать вашему совету и выехать за границу, но, простите, у него нет на это денег. Не изволили бы вы дать разрешение на выдачу ему пособия?

То был крючок, заготовленный полицией, на который либерал клюнул, не предвидя подвоха со стороны сыска. Распо-

рядившись выдать Гапону 500 рублей, он предупредил Манасевича-Мануйлова: довозите Гапона до Вержболово, взяв с него слово, что он никогда больше не вернется в Россию.

Казалось, разговор окончен. Но через два дня Манасевич вновь напомнил о Гапоне. Теперь он излагал Витте план, который был давно уже разработан им и князем Мещерским. На сей раз чиновник объяснял необходимость возвращения Гапона стремлением усилить борьбу с революционным движением.

— Оставьте меня в покое, милейший, — попросил Витте, повышая голос, — я не хочу о нем больше ничего слышать!

Но в марте Дурново попросил Витте встретиться с Гапоном.

— Он намеревается выдать всю боевую организацию Центрального комитета эсеров и просит за эту услугу всего сто тысяч рублей. Это хорошее предложение. Мы могли бы покончить с эсерами раз и навсегда.

Витте промолчал.

— Рачковский уже ведет с ним переговоры, — добавил высший полицейский чин империи.

— Не вмешивайте меня в это дело, — обрезал Витте министра внутренних дел. — Не упоминайте при мне больше этого имени.

На том история с Гапоном, наверное, и закончилась бы — ну, жил бы себе, поживал за границей, дожидаясь лучших времен, — не вмешайся в нее эсер Рутенберг, человек известный и влиятельный не только в партии эсеров.



Морозова так описывала Рутенберга: красив, вид мужественный, правильные черты лица, само общение с ним внушало доверие, явно интеллигентен и начитан. Умел нравиться, и потому популярность, окружавшая его, была вполне естественной. В эсеровских кругах он был очень авторитетен. Впрочем, добавляла Изабелла Георгиевна, не только среди эсеров — с ним считались все революционеры, зная, что Рутенберг — человек чести.



Скрывшиеся после Февральской революции 1917 года жандармы написали за границей свои мемуары. По ним можно представить ход дальнейших событий.



Мировая общественность довольно долго после Кровавого воскресенья искала известий о судьбе Гапона: избежал ли ареста, пощадили ли его пули?

Первое сообщение о благополучном прибытии Гапона в Женеву напечатала берлинская газета «Vorwärts». Беглеца приветствовали многие. Старый социалист В.Адлер, правда, заметил: для революции было бы лучше числить Гапона в списке погибших героев, чем продолжать иметь с ним дело как с вождем.

Хорошо сказал о Гапоне историк Б. Николаевский:

«Слава и деньги погубили Гапона. О нем писали во всех газетах, его фотографии продавались во всех магазинах, за свою автобиографию он получил громадные деньги. В нем развилось тщеславие, желание везде и всюду играть главную роль. Встать в ряды больших, в течение ряда лет сложившихся революционных коллективов он не сумел. Вначале заявил о своем вступлении в ряды социал-демократов, но, осмотревшись и увидев, что в этой партии он сможет играть только второстепенную роль, он уже через несколько дней поспешил выйти из нее. Несколько дольше задержался он в рядах партии социал-революционеров, но и здесь не соглашались объявить его вождем: для этого он действительно не имел данных. Тогда он порвал и с социалистами-революционерами и сделал попытку создать свою собственную, не зависимую от революционных партий организацию. Здесь он действительно был «вождем», но зато, кроме «вождя», в этой организации никого не было, никакой революционной работы она не вела, никто за ней не шел. Были только деньги, и притом довольно большие: под имя Гапона давали и многие русские, и иностранцы. А в личной своей жизни Гапон скатывался со ступеньки на ступеньку: стал завсегда-таем лучших кабаков в Париже и в других городах, в которых бывал, играл в Монте-Карло, тратился на женщин, в пьяном угаре этих кутежей теряя все связи с идейными ре-

волюционерами. «Дни свободы» застали его идейно и морально уже выпотрошенным, не пользующимся в революционных рядах ничьим доверием, ничьим уважением. Когда в ноябре он приехал в Петербург и сделал попытку создать свою организацию, за ним не пошел никто».

Но охотники эксплуатировать его популярность нашлись. И это были прежде всего люди, связанные с охранкой.

Первым замаячил все тот же журналист, связанный с полицией, — Манасевич-Мануйлов, который сообразил, что сведя Гапона с руководителями полицейского сыска, можно нажить на нем капитал. В то время полицейский журналист крутился вокруг графа Витте, состоя при нем в качестве чиновника для особых поручений.

Гапон несколько раз встречался с Лопухиным — это достоверно. Но Лопухин был в отставке, и отношения с прежним ведомством у него сложились весьма щекотливые. А вот с Рачковским, который был и хитер, и умен по части провокаций, отношения у Гапона наладились.

Рачковский умело забросил приманку. Сначала он говорил о политике — о том, что правительство сожалеет о событиях Кровавого воскресенья, что «вышло печальное недоразумение», которое не должно повториться; что Гапона понимают и ценят; что рабочее движение необходимо направить в русло мирного развития и вырвать из-под влияния революционеров, которые сами относятся к Гапону пренебрежительно.

Встречи проходили в отдельных кабинетах петербургских ресторанов. Ужины были дорогие: изысканные закуски, редкие вина. Казенных денег Рачковский не жалел, а Гапон пьянел быстро.

— Вот я стар, — говорил Рачковский, — никуда не го- жусь, а заменить меня некем. России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место...

Рачковский говорил, что освещать положение дел в революционных организациях — задача честного человека.

— Они губят Россию и все наши устои, — обвинял он и социал-революционеров, и социал-демократов. Но больше обвинял террористическую деятельность Боевой организации, которая замешена на крови.

Вполне возможно, Гапон, подкупленный лестью Рачковского, сдался и пообещал наладить связи с Рутенбергом, который, — а это, несомненно, было известно Рачковскому, — близко стоял к Боевой организации.

После удачного ужина, когда Рачковскому показалось, что игра стала серьезной и разговоры доверительными, полицейский поспешил к министру внутренних дел Дурново. Тот привлек к обсуждению Герасимова — начальника Петербургской охранки. Позже в мемуарах Герасимов и поведал обо всех этих переговорах.

— Лично я полагаю, что Гапон сможет завербовать Рутенберга, — убеждал Рачковский, — и тогда мы получим новые перспективы в нашей работе...

— А я вот не разделяю ваших оптимизмов, — возражал Герасимов Рачковскому при министре. — Полгода назад Рутенберг был нами арестован и произвел во время допросов на меня впечатление стойкого революционера. Кроме того, мы располагаем данными, что он в личной жизни выдержан — не пьет, не увлекается женщинами, и потому, господа, я сомневаюсь, что мы можем соблазнить его на измену.

В разговор вмешался Дурново как высшее начальство.

— Организуйте свидание Гапона с господином Герасимовым, — поручил он Рачковскому. — Пусть лично перепроверит свои выводы.

Без большой радости, уступая нажиму министра, Рачковский согласился и сделал это очень неохотно, видя, что тот протезирует Герасимову, а ведь отличиться ему хотелось самому.

Если верить Герасимову, свидание состоялось в кафе «Париж», где отужинали три важные персоны. Герасимов докладывал Дурново: Гапон произвел на него впечатление человека легкомысленного и болтливового.

— Он действительно готов выдать все, что знает, — поделился своими впечатлениями начальник охранного отделения, — но из его ответов видно, что активных связей с террористами он не имеет и больше надеется только на Рутенберга, который, мол, ему предан и пойдет за ним, куда угодно.

— Следовательно, вы не видите перспектив нашей разработки? — спросил Дурново.

— Нет, не вижу, — ответил Герасимов.

— А вот Рачковский, Александр Васильевич, придерживается иного мнения. И я с ним согласен. Вам необходимо продолжить переговоры с Гапоном — мы можем из них все же что-то извлечь.



Потрясающая фраза, сказанная историком Николаевским о «короле провокаторов»: в отношении предателей Азеф всегда был беспощаден.



Когда Рутенберг приехал в Гельсингфорс и рассказал Азефу о переговорах с Гапоном, негодование Азефа было безграничным. Он говорил, что с гадиной нужно покончить, он даже назвал способ: вызвать его на свидание, поехать вместе на извозчике в Крестовский сад, ужинать там до поздней ночи, пока все не разъедутся, потом на том же извозчике, разумеется, принадлежащем Боевой организации, поехать в лес, ударить Гапона в спину ножом и выбросить из саней.

Существовал и такой вариант: члены Центрального комитета, ознакомленные с рассказами Рутенберга о предательстве Гапона, рекомендовали убрать Гапона вместе с Рачковским, чтобы из самой обстановки убийства была ясна его связь с полицией. Выполнение этой задачи и поручили Рутенбергу, который должен был продолжить свою игру, создав уверенность и у Гапона, и у Рачковского в том, что он намерен предать боевиков. В помощь Рутенбергу направили еще одного члена организации, который исполнил бы роль извозчика, производящего наблюдение за Дурново. Сношения с ним Рутенберга создали бы у полиции уверенность в том, что речь, действительно, идет о подготовке покушения.

Но встреча, о которой думали боевики, так и не состоялась. Рутенберг согласился на свидание с Рачковским, которое должно было состояться 17 марта в ресторане Контана,

но в последний момент позвонил Герасимов, заподозрил ловушку и посоветовал Рачковскому не ходить на встречу.

Рачковский не согласился:

— Александр Васильевич, вы ошибаетесь. Все оговорено, и сама встреча с Рутенбергом может оказаться интересной. Тем более что я решил принять меры предосторожности.

О каких мерах говорил Рачковский, известно — в соседнем кабинете ресторана, где должна была состояться встреча, засядут агенты охраны.

Но Рачковский на встречу так и не пошел. Почему-то он стал меньше интересоваться этим делом и стал чрезвычайно осмотрительным и осторожным.

Можно предположить, что здесь не обошлось без Азефа, который дрожал за свою шкуру и боялся разоблачения. Он-то и вносил свои «поправки» в эту историю, и его «поправки» меняли сценарий, разрабатываемый каждой из сторон.

Скрываясь у Азефа в Париже, Гапон фактически находился под присмотром полиции — несомненно, Азеф информировал охранку о всех планах бывшего священнослужителя.

И вот Рачковский выманивает его в Россию. Тот приезжает по поддельному паспорту, который, как утверждают некоторые источники, получил на конспиративной квартире от самого Дурново. Присутствующий при встрече Манасевич-Мануйлов, утверждают те же источники, вписал в чистый паспорт вымышленное имя, которым пользовался Гапон.

— Это вам задаток, — предупредил Дурново.

— Что еще вы жаждете от меня узнать? — спросил Гапон.

— Немногое, — пояснил Дурново. — Вы должны выведать у эсеров, готовится ли покушение на его императорское величество, на графа Витте... — он сделал паузу, — ...но это еще не все. Вам необходимо узнать имена новых членов Боевой организации эсеров. Мы знаем, что для этого нужны средства, мы идем и на это. Вам выделено тридцать тысяч рублей. Поступайте с ними, как вам заблагорассудится...

Гапон положил деньги в банк на имя, вписанное в его новый паспорт, а вот дальше сделал не очень удачный ход. Как-то в разговоре с Азефом он упомянул Зубатова, который проявлял интерес к рабочим кружкам. Азеф понял, что друг его

связан с охранкой. Иметь такого конкурента никакого резона не было, и Азеф решился на шаг, который давал ему определенное преимущество.

В ЦК партии эсеров Азефу поверили и после обсуждения решили предателя казнить. Были споры, кто возьмется за выполнение решения — отличиться хотелось многим. Но и тут Азеф поспешил воспользоваться ситуацией. Он поддержал кандидатуру Рутенберга.

— Лучше всего доверить ликвидацию прохвоста именно ему, — убеждал товарищей Азеф.

Не почувствовав подвоха, Рутенберг согласился, поблагодарив друзей за доверие.

Азеф — хитрая лиса, умеющая заметать следы, — не просто так поддержал кандидатуру Рутенберга. У него был свой личный расчет: находящегося в России Рутенберга можно будет выдать охранке. Он уже знал, что как-то Рутенберг высказывал предположение о связях Азефа с полицией, но Тютчев и Савинков его не поддержали. Врага, по его понятию, следовало устранить. Нужно ли было охранке получить труп Гапона, Азеф еще не знал, но был уверен, что живого Рутенберга ей будет получить приятно.

Но Рутенберг был настоящим конспиратором и не таким уж наивным человеком, как предполагал Азеф. Он не стал рассказывать, какой им задуман план по ликвидации провокатора, и этим ввел Азефа в заблуждение.

— У меня есть личные дела, когда я их завершу, то и займусь Гапоном, — предупредил товарищей Рутенберг.

Азеф ждал, когда его как руководителя Боевой организации посветят в план уничтожения Гапона. В практике деятельности эсеров информирование ЦК и лично руководителя Боевой организации было обязательным, чтобы не вносить сумятицу в действия партии. Рутенберг поступил иначе. Боясь утечки информации, он тайно выехал в Россию, о приезде известил Гапона, скрыв свое местонахождение.

Тот, не почувствовав опасности, был рад встретиться с известным эсером. И поспешил в охранку.

Рачковский с нескрываемым удовольствием выслушал Гапона:

— Ну что же, говорят, на ловца и зверь бежит, не так ли?

— Выходит, что так.

— Вот вам бы и попробовать привести его к нам...

— Вы хотите его арестовать?

— Нет, конечно, — ответил Рачковский. — Мы хотим с ним договориться, привлечь к сотрудничеству. Попробуйте деликатно побеседовать с ним на эту тему...

— Постараюсь, — пообещал Гапон.

Рутенберг и Гапон встретились 27 марта 1906 года. Разговор был несколько отвлеченным, но затем, почувствовав, что собеседник сам идет ему навстречу, Гапон осмелел. Он первым предложил сделку, пообещав, что на информации для знакомого ему чиновника можно неплохо заработать. Разговор идет о мелочах, заметил он, а деньги выпадут большие.

— Деньги ведь всегда нужны, — философски заключил Гапон.

— О какой сумме может идти речь?

— Думаю, о ста тысячах, — сказал Гапон. — Цена очень высокая.

Рутенберг сделал вид, что клюнул на приманку. Сказал, что надо бы подумать над предложением, и перенес разговор на следующий день. Пригласил Гапона на дачу, снятую накануне в Озерках.

— Я вас там встречу, — сказал Рутенберг, — прямо на платформе.

Он не назвал ни улицы, ни дома, но Гапона это не насторожило. Наоборот, он был рад своей инициативе и про себя подумал: «Вот вам известный и честнейший революционер! Все мы падки на деньги!»

Во время следующей встречи разговор стал более откровенным. Каждый из них сделал для себя свой вывод: Гапон решил, что эсер сломлен и станет оказывать услуги охранке, а Рутенберг убедился в том, что перед ним полицейский осведомитель.

Договорились о новой встрече, и эта встреча оказалась последней. Рутенберг привел «друга» в дом, где была заранее приготовлена веревка. За дверью комнаты, где они беседовали, спрятались рабочие — приверженцы Гапона. Рутенберг их предупредил. «Вы сами все поймете», — сказал он.

Не подозревавший о ловушке, Гапон сразу же стал уговаривать Рутенберга поступить на службу в охранку и хвалил Рачковского как настоящего мастера сыска, который сумеет все так состряпать, что ни у кого никаких подозрений не возникнет. Рабочие в соседней комнате слышали весь разговор, затаив дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова.

Вот как описывал тот разговор один из присутствующих, сделав запись по памяти:

«Гапон: 25 тысяч — хорошие деньги, и потом Рачковский прибавит еще. Нужно сперва выдать только четырех человек из Боевой организации.»

Рутенберг: А если, например, выдам тебя? Если я открою всем глаза на тебя, что спутался с Рачковским и служишь в охранном отделении?

Гапон: Пустяки! Кто тебе в этом поверит? Где твои свидетели, что это так? А потом, я всегда смогу тебя самого объявить провокатором или сумасшедшим. Ну да бросим об этом! Перейдем лучше к делу!

Рутенберг: Но ведь всех товарищей этих повесят!

Гапон: Лес рубят — щепки летят! И притом посылал же ведь ты Каляева на смерть, отчего же ты не можешь послать на эту же смерть и этих?»

Переговоры были трудными и долгими. Рутенберг искусно вел их так, чтобы открыть глаза подслушивающим рабочим. Они еще верили Гапону и молча внимали объяснениям провокатора, надеявшегося уговорить Рутенберга стать тайным осведомителем.

По условленному знаку дверь, ведущая в соседнюю комнату, неожиданно распахнулась. На пороге появились рабочие, так долго ждавшие момента вмешаться в разговор. Гапон понял: это конец.

Рабочие вытащили веревку, и тогда провокатор, упав на колени, дико завопил:

— Пощадите, братцы! Родимые мои! Простите меня!

Рутенберг, не проронив ни слова, вышел из комнаты. Он ждал на веранде, когда с предателем будет покончено. Вернулся, когда труп уже висел на крюке, вбитом над вешалкой.

Рабочие молчали.

— Так висел наш товарищ Каляев, — сказал Рутенберг. — Гапон хотел, чтобы и другие повисли так же.

— Хорошо, что мы его не расстреляли, — подал голос один из рабочих. — Он получил то, что готовил другим. Расстрел для него был бы почетом...

Закрыв двери на ключ, молча, по одному, уходили мстители на железнодорожную станцию, чтобы покинуть Озерки. Они знали, что труп Гапона обнаружат хозяева, когда приедут на дачу, а это будет не так уж скоро. Рутенберг знал больше: что полиция будет усиленно искать некоего Ивана Путилина, — он так и не понял, почему назвал эту фамилию, снимая дачу. Хозяйка могла подумать, что жилец ее — родственник знаменитого русского промышленника.

Как опытный конспиратор Рутенберг действовал быстро. Расставшись с рабочими, заранее намеченным маршрутом он поспешил покинуть пределы России. Выехал в Париж, где в это время находились почти все руководители партии эсеров, и сообщил им о свершившемся.

У Азефа полезли глаза на лоб: впервые такая акция была проведена без его согласия.

— Ты мог бы меня хотя бы проинформировать, — выдавил он.

— Зачем? — спокойно спросил Рутенберг. — У охраны и так большие уши. Я вам доверяю, но себе верю больше всех.

На том разговор и кончился.

Позже Азеф от убийства Гапона отмежевывался. Уверял, что одобрения на него Рутенбергу не давал.



Кто-то все же сообщил, что Гапон убит. Слух дошел до вездесущих газетчиков, и те поспешили уведомить об этом своих читателей.

Особенно усердствовала газета «Новое время». 13 апреля 1906 года она сообщила: Гапон выехал из Териок в Петербург 28 марта и с того дня не возвращался. Затем она сообщила о том, что труп «героя» Кровавого воскресенья обнаружен в помойной яме в посаде Колпино, во дворе одного из домов, с многочисленными трещинами в черепе. Полиция поспешила проверить сообщение. Оказалось, что убит

не Гапон, а крестьянин Тверской губернии Иван Евстегнев, работавший в Колпино угольщиком.

Исчезновение Гапона — тема дальнейших публикаций. Об этом стали писать и иностранцы, одно из зарубежных изданий — газета «Манчестер Гардиан» дала более подробное описание происшедшего, но она была единственной. Видимо, информатор у нее был осведомленной. Журналист написал: от приятеля, собеседник которого был очевидцем случившегося, я узнал подробности происшествия и могу представить доказательства. В четверг 10 апреля о Гапон был тайно повешен революционерами из рабочего движения. Не менее точно было сообщено о казни, а также ее мотивы: когда, мол, Гапон убедился, что ему не доверяют, то решил сделать карьеру, став агентом тайной полиции. «Гапон был настолько неосторожен, — отмечала газета, — что предложил другому революционеру также поступить на службу в полицию».

После этой публикации охранка зашевелилась. 19 апреля 1906 года она уже располагала информацией о том, что «Гапон действительно убит за предательство в одной из дачных окрестностей Петербурга по инициативе известного члена Боевой организации партии социал-революционеров инженера Петра Рутенберга; убийство совершено несколькими рабочими, бывшими приверженцами Гапона, посредством удушения».

В донесении отмечалось, что труп пока не обнаружен.

Выходит, информаторы охранки знали многие подробности казни провокатора, но о месте ее свершения так и не сообщили. Чем это было вызвано — неизвестно.

В последний день апреля к приставу 2-го стана Нивинскому пришла хозяйка дачи, которую снимал Рутенберг, и сообщила, что не видела своего постояльца с 26 марта, и потому тревожится. Когда полицейские сняли висячий замок на одной из комнат, то обнаружили труп, который еще предстояло опознать.

Пристав Нивинский первым высказал предположение: не Гапон ли? Все бредили поисками Гапона. Пристав, задавший этот вопрос, оказался прав.



Из докладной Санкт-Петербургского губернатора министру внутренних дел:

«Труп Гапона находился в сидячем положении с согнутыми ногами, на шее довольно толстая веревка, употребляемая обыкновенно для сушки белья, один конец которой прикреплен к небольшой железной стенной вешалке. На ногах валяется меховое пальто с бобровым воротником, один рукав которого завязан тонкой веревкой. Гапон одет в черный пиджак, темно-коричневый жилет, цветную сорочку и фуфайку, черные брюки и на ногах сапоги, слева от трупа — серая мерлушковая шапка, справа — две галоши. При покойном найдены карманные черного металла часы и проездной билет Финляндской железной дороги от 28 марта сего года с правом обратного проезда. Около этажерки близ ног покойного валяются его галстук, стекла от разбитого стакана и стоит пивная бутылка с какой-то жидкостью...»



Из письма министра внутренних дел П.Н. Дурново:

«Труп был обнаружен совершенно случайно. В то время как сообщения прессы, связанные с убийством Гапона, в точности подтвердились...»



Похороны Гапона состоялись на городском участке Ушенского кладбища 3 мая 1906 года. В них участвовали рабочие — его сторонники. На многочисленных венках было написано посвящение: «Истинному вождю всероссийской революции 9 января Георгию Гапону». Ему верили даже мертвому.

Свою оценку погибшему дала газета «Русское слово»: «Умер большой комедиант, красивый лжец, обаятельный пустоцвет. Жизнь его обманула, потому что он всегда ее обманывал».



Самое поразительное во всей этой истории то, что товарищ директора Департамента полиции Рачковский в точности знал почти все детали убийства Гапона.



Из послания Г.Гапона к рабочим после Кровавого воскресенья: «...Так отомстим же, братья, проклятому народом царю, всему ему змеиному царскому отродью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли...»



Из открытого письма Г.Гапона, направленного Николаю II: «...Из-за тебя, из-за твоего всего дома — Россия может погибнуть. Раз навсегда пойми все это и запомни. Отрекись же лучше поскорей со всем своим домом от русского престола и отдай себя на суд русскому народу. Пожалей детей своих и Российской страны, о ты, предлагатель мира для других народов, а для своего — кровопийца!»



Во всей истории, связанной с личностью Гапона, есть еще много неясностей, и, чтобы быть справедливым, надо бы сказать и о них. Выводы, где же правда, может сделать читатель.

В газетах того времени напечатано заявление бывшего священника: «Мое имя треплют теперь сотни газет — и русских, и зарубежных. На меня клеветают, меня поносят и позорят. Меня, лежачего, лишенного гражданских прав, бьют со всех сторон, не стесняясь, люди различных лагерей и направлений: революционеры и консерваторы, либералы и люди умеренного центра, подобно Пилату и Ироду, протянув друг другу руки, сошлись в одном злобном крике:

— Распни Гапона — вора и провокатора!

— Распни гапоновцев-предателей!

Правительство не амнистирует меня: в его глазах я, очевидно, слишком важный государственный преступник, который не может воспользоваться даже правом общей амнистии.

И я молчу. И молчал бы дальше, так как я прислушиваюсь больше к голосу своей совести, чем к мнению общества и газетным нападкам... Совесть моя чиста. 18 февраля 1906 года. Гапон».



Был ли Гапон действительно агентом царской охранки?

На этот вопрос его приверженцы дают отрицательный ответ, строя свои версии происходившего. Затрону эти вопросы и я.

После Февральской революции, когда многие документы охранки попали в руки революционеров и были опубликованы, в частности, списки предателей, имя Гапона нигде не упоминалось. В захваченном архиве заграничной агентуры в Париже оно также не зафиксировано.

Одни и те же факты под разными ракурсами смотрятся по-разному.

Вернемся к 9 января 1905 года, прочтем другие источники.

Накануне кровавых событий, утверждают авторы, Рутенберг частенько крутился возле Гапона. Их отношения дружеские, даже несколько больше, чем просто дружеские. И хотя на сходки «Собрания», которым руководил Гапон, инородцев не допускали, Рутенберг на них ходил — для него делалось исключение.

И возле Нарвских ворот он был рядом с Гапоном. И вместе с ним шел в первом ряду, когда солдаты дали первый залп в воздух, а второй — по ногам. Как только рабочие охранники увели Гапона в соседний двор и там переодели в одежду рабочего, Рутенберг остриг друга. В его руках по странному случаю оказались ножницы — и этот факт сторонники Гапона рассматривают как подтверждение заранее спланированной акции против их кумира.

Волосы священника, вырвав из рук Рутенберга, рабочие взяли себе на память.

Мы знаем, что Гапон был своего сана, объявлен православной церковью преступником. Духовенство обвинило его в том, что он, обязанный вдохновлять людей словами истинами Евангелия, с крестом на груди предал свой сан, вступив в преступное сообщество.

Бежавший за границу Гапон, несмотря на меры, принятые полицией к его задержанию, арестован не был. Он написал книгу «История моей жизни», в которой коснулся многих вопросов, волновавших не только его.

В эмиграции изгнанник познакомился с лидерами различных партий. Но больше всего вокруг него крутились эсе-

ры и, конечно, Рутенберг. Эсеры спровоцировали бывшего священника приобрести оружие и переправить его в Россию. Он затратил много денег на то, чтобы закупить оружие, нанять судно, и вместе со своими единомышленниками пустился в опасное плавание по Балтийскому морю. Закончилось это печально — судно потерпело крушение, оружие попало в руки полиции, а сам Гапон спасся лишь благодаря счастливой случайности.

В какой-то период эмигрантской жизни Гапон стал для всех течений и групп как бы цементирующим звеном, их вожди считали своим долгом встретиться с ним, и это событие непременно отмечалось в газетах.

Гапон пытался объединить всех для совместных действий.

— И социал-демократы хотят, чтобы народ перестал бедствовать, и социал-революционеры того же желают. Так зачем идти врозь? — недоумевал он.

Он не понимал разницы между ними, потому над ним потешались, упрекали в незнании Маркса и программ их партий. Его частенько разыгрывали.

Убедившись в том, что эти люди спекулируют на проблемах России, он как-то заявил:

— Стоит мне только захотеть, и все рабочие отвернутся от социал-демократии!

Плеханов, перед которым он так высказался, ответил ироническим смехом.

— Нашей партии не смогли повредить ни Плеве, ни Зубатов, — был ответ Георгия Валентиновича, — а уж священник и подавно не страшен...

Но Гапон был в рабочей среде весомой фигурой, и с этим не могли не считаться революционеры. Считалась с этим и полиция.

После Февральской революции Рутенберг опубликовал воспоминания об убийстве Гапона — настало время для откровений. В них он утверждает: приказ об убийстве бунтаря отдавал Азеф, который даже говорил, как это сделать: заманить священника в укромное местечко, заколоть ножом и бросить в сугроб. Убитого, уверял Азеф, найдут только весной, а тогда отыскать убийцу будет трудно.

Первая попытка убийства не состоялась. Рутенберг приехал к даче, где жил Гапон с женой, вместе с теми, кто должен был совершить отмщение. Жена была против их встречи, видимо, сердцем чувствовала, что что-то не так. Но Гапон на встречу согласился, надел шубу, сунул в карман пистолет. «Извозчики» свою жертву узнали и — мечь не состоялась. Видимо, они не решились на убийство.

Вторая попытка удалась.

Известна записка, написанная якобы Гапоном, ее опубликовал Рутенберг. Вот ее текст:

«Ты сам вертишь и виноват в канители. Сегодня непременно надо видеться или завтра для дела, и тогда все будет хорошо. Ведь мы предположили с тобой так, невыгодно менять. Место — ресторан Кюба. Время или сегодня (понед.) 10 час. вечера, если завтра, то 7 час. вечера. Повторяю, ты должен видеться со мной и тем господином здесь в городе».

Сторонники Гапона считают, что если записка подлинная, а не состряпанная, то Рутенберг вытаскивал Гапона в ресторан под предлогом свидания «с тем господином», а не Гапон его. Кстати, именно в этих воспоминаниях говорится, что бывший священник предложил Рутенбергу стать агентом охраны, гарантируя крупное вознаграждение, и, когда он об этом поведал Азефу, тот приказал уничтожить предателя.

Азеф отрицал, что дал Рутенбергу согласие на казнь Гапона, обвиняя его в самоуправстве. Рутенберг в свою очередь доказывал обратное. Известно, что после этого спора их пути разошлись.

Так кому была выгодна смерть Георгия Гапона?

Воспоминания Рутенберга, в которых он оправдывает свои действия, были опубликованы уже после смерти Азефа.

В 1927 году в Туле вышла книга Л.Дейча «Провокаторы и террор», в которой автор писал, что лично знает всех участников убийства Гапона и даже с одним из них разговаривал, выясняя обстоятельства дела.

Странно, но своих имен мстители так и не назвали, хотя после победы Октябрьской революции все кичились старыми заслугами. Убийцы царской семьи писали воспоминания и принимали награды от новой власти. Почему же скрывали

свои имена убийцы священника Гапона, которого представляли народу как предателя рабочего класса?

Вот, кстати, что говорится у Л. Дейча:

«...Так как многие сомневались в верности его сообщения о предательстве Гапона, то Рутенберг предложил некоторым присутствовать незаметно при его беседе с бывшим священником. Трое рабочих выразили на это свое согласие.

В условленном месте в сумерках 28 марта (10 апреля) Гапон приехал в Озерки. Встретив его на станции, Рутенберг привел Гапона на дачу, где в одной из комнат уже поместились трое рабочих.

По рассказу Рутенберга, Гапон, думая, что они одни и никто их не может услышать, был цинично откровенен. Он стал подробно доказывать Рутенбергу, что он должен открыть Рачковскому готовящийся террористический акт, что 25.000 руб. большие деньги и если из-за этого погибнут участники покушения, то это не беда — «где лес рубят, там щепки летят».

Долго говорил Гапон, всячески стараясь убедить Рутенберга «перестать тянуть канитель», бросить сомнения, положиться на обещание Рачковского, который «вполне порядочный человек» и сдержит свое обещание.

Как подробно рассказал мне недавно самый молодой из слышавших эту беседу рабочих, назовем его Степаном, их страшно томил этот казавшийся им невероятно долгим спор Гапона с Рутенбергом. Для них давно уже вполне выяснилась возмутительная роль Гапона, и они хотели бы выйти из засады, но Рутенберг все не открывал им двери... Среди нас был молотобоец Павел (ввиду желаня т. Степана я употребляю вымышленные имена, но он называл мне их подлинные фамилии и имена. — Л.Д.) — высокий, жилистый парень. Он лично знал Гапона. «А, вот ты каков!» — воскликнул он и бросился на Гапона.

Тот стал на колени, начал просить: «Товарищи, братцы, не верьте тому, что слышали. Я по-прежнему за вас, у меня своя идея» и пр. — всего не припомню, что он нам говорил и мы ему говорили.

— Такое состояние было, что невозможно передать: скверная вещь убивать, хотя бы и изменника. Не хочется

вспоминать. Никогда никому не рассказываю этого дела. Вот только вам пришлось, — сказал Степан.

Голос и выражение его лица вполне подтверждали, что ему действительно неприятно вспоминать последовавшую затем ужасную сцену, которую, после небольшой паузы, он все же, хотя и лаконично, передал.

Павел, повалив Гапона, стал его душить своими железными руками. Но Гапон извернулся и в свою очередь подмял под себя Павла. На помощь к нему бросился Сергей. Гапон и его повалил: он обнаружил невероятную ловкость и силу — прямо атлет. Тогда я схватил веревку, которую, видимо, оставил дворник, когда принес дрова, и закинул петлю на шею Гапона. После этого мы протянули его в переднюю, где повесили на вбитый над вешалкой крюк.

На мой вопрос: «Стоило ли, по его мнению, убивать Гапона?» т. Степан после паузы сказал, что в сущности не стоило и что он потом жалел, зачем принял участие, он был молод, ему не было еще 20 лет, к тому же раз «пятерка» решила, нельзя было отказываться.

Расправившись с несчастным Гапоном, рабочие обыскали его, затем забрали все бывшее в его карманах и ушли, закрыв дачу, а ключ от входной двери бросили в прорубь. Ни на кого из них не пало подозрения, и имена их как участников этого убийства остались неизвестными».

Удивительно, как показания рабочих сходятся с воспоминаниями Рутенберга, ни одной лишней детали! Создается такое впечатление, что источник у них был все же один. А информатор газеты «Манчестер Гардиан», с кем он был связан — с эсерами или с полицией?

Был ли среди рабочих агент охраны, скрывавший свое имя, или об убийстве Рачковскому поведал Азеф? Вопросы, оставшиеся без ответа.

Почему же убили Гапона?

Последние месяцы жизни Георгия Аполлоновича и сама его смерть полны непонятных и таинственных событий. Видимо, он располагал какими-то документами, придавал им важное значение. Вот и еще одна версия!

В.М.Грибовский писал о заявлениях Гапона: «Когда они будут опубликованы, многим не поздоровится, а в особен-

ности... (он называл одно громкое имя, с которым тесно связана история появления Манифеста 17 октября). Им всем хочется поднимать и опускать рабочую массу по своему усмотрению; об этом мечтал еще Плеве, но они ошиблись в расчетах».

Видимо, эти документы и пытались отнять у Гапона. А может, приказав убить, знали, что никто не знает, где они спрятаны и с его смертью документы навсегда исчезнут?

Но кто был в этом заинтересован — эсеры, царские сановники? Или кто-то другой? Тогда непонятно, почему после прихода к власти большевики также не попытались раскрыть тайны, связанной с деятельностью Гапона, и продолжали утверждать, что он — предатель интересов рабочего класса.



Рутенберг умер в 1927 году. В советских журналах и газетах тогда появились фотографии его пышных похорон, происходивших за границей. Был ли это действительно он или его однофамилец, не указали. Впрочем, и версий смерти Рутенберга несколько, какая точная — никто не знает. Ясно только одно: с его уходом тайна убийства Гапона так и отсталась нерагаданной.



ГРАФА ВИТТЕ ПОЛИЦИЯ НЕ ЛЮБИЛА

— Если бы Витте оставался в своей должности, а царь Николай прислушивался к его советам, то Россия могла пойти иным путем, и неизвестно, как бы все сложилось в дальнейшем...

Так считала Морозова.

Мы все горазды считать свои собственные выводы самыми верными. Трудно, конечно, предположить, как могли развиваться события, если бы не произошел тот или иной случай. Но суть в том, что в истории события не повторяются и движения ее изменить никто не в силах.

По иронии судьбы человек, давший России первую конституцию и первый парламент, не верил ни в парламент, ни в конституцию. Однажды он признался: «Эта конституция у меня в голове, а не в сердце!» Но даже в этом случае сослужил он неплохую службу — решение о введении конституционных норм в империи было все же шагом вперед.

Витте, как описывала его Морозова, был толковым и очень умным человеком. Внешностью заметен: огромный рост, широкие плечи. Он походил на великана, замечала она, или на огромный шкаф. И обязательно добавляла: несмотря на такие пугающие размеры, от себя не отталкивал, а, наоборот, притягивал окружающих.

То была настойчивая и волевая личность. Начинал Витте свою карьеру на скромной должности чиновника в Тифлисе, где и познакомился с семьей Морозовых, а затем стал

министром, играющим ведущую роль при двух царях — Александре III и его сыне — Николае II. При этом он никогда не забывал старых друзей.

Общение с Морозовыми длилось весь его тифлисский период, когда молодой Витте начинал самостоятельную жизнь. Он очень боялся повторения ошибок отца, который так и не сделал карьеры. Мать его была русской, отец — выходец из прибалтийской провинции, его предки по отцовской линии происходили из датчан. Отец переехал в Грузию в надежде разбогатеть, вложил все свое состояние в горное дело, но прогорел. Любимому сыну уже ничем помочь не мог — тот должен был рассчитывать на собственные силы, пробиваться сам.

Сергей Витте мечтал стать математиком, учился в одесском университете, подавая неплохие надежды: в недалеком будущем его ждала кафедра. Но бедность душила, и он вынужден был пойти работать на железную дорогу. Помог ему в этом отец Изабеллы Георгиевны, дав рекомендацию: «Если мое пророчество сбудется когда-нибудь, то вспомните — у вас работал сам министр!» Морозов, долгие годы проработавший на железной дороге, имел авторитет, ему верили, с ним считались.

Витте-младший действительно преуспел в железнодорожном деле, которое вывезло его к вершине славы и власти. Во время русско-турецкой войны 1877 года он уже был начальником движения, отвечая за транспортировку войск. Организаторские способности инженера были отмечены — его повысили в должности. Продолжая блистать своими способностями, Витте стал министром финансов. Именно ему принадлежала идея строительства Транссибирской железной дороги, которой он увлек Александра III, поддержавшего его предложение. Продолжил он строить дорогу и после смерти Александра III, при Николае II.

Министром финансов Витте стал в августе 1892 года, уже тогда руководя торговлей и промышленностью империи. Мало кто сегодня об этом вспоминает, но именно при нем начался экономический подъем России, и беда была в том, что этот процесс прервали сначала война, а затем первая русская революция, о которой мечтали не только револю-

ционеры всех мастей, но и демократические круги общества. Если бы не эти взаимосвязанные события, то неизвестно, на какую высоту поднялась бы империя, опережавшая в развитии другие ведущие страны.



Морозова рассказывала: Витте думал не о собственном капитале, а об интересах Отечества. Ее маленькая лекция отвергала фальсификацию истории с точки зрения классово-вой борьбы, дружно проделанную нашими историками. Возможно, что ошибки будут исправлены, но не так скоро, история не пальто, которое можно отдать в чистку и получить новеньким, считала Изабелла Георгиевна. Для того, чтобы восстановить правду, говорила она, потребуются десятилетия. Да и восстановят ли, если многие документы и свидетельства давно уничтожены? То, что мы узнаем сегодня, совершенно в ином свете представляет тех исторических деятелей, образ которых настойчиво искажался.

Сергей Юльевич Витте один из них.

Николай II унаследовал Витте вместе с престолом. Он знал, что министру можно доверять, и прислушивался к его советам так же внимательно, как в свое время его отец.

В воспоминаниях графа Витте встречаются интересные высказывания о новом правителе:

«Я знал его крайнюю неопытность... он человек очень добрый, чрезвычайно воспитанный... я могу сказать, что я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай».

Что же сделал граф Витте для России во времена правления Николая II? Многое. Как министр финансов провел мероприятия, позволившие поднять ее денежное обращение до мирового уровня. Привлек в империю множество иностранных промышленников, соблазнив их заказами, субсидиями, освободив от пошлин. Установил монополию на водку, и это стало приносить казне ежегодно миллионные доходы. Выиграл мир в Портсмуте, продемонстрировав искусство в дипломатии, и все признали, что Россия намного удачнее подписала договор с Японией, чем могло бы быть. Признав успех миссии Витте на переговорах, Ни-

колай по-своему выразил свою признательность, присвоив ему титул графа.

Несомненно, как искушенный политик и финансист Витте мог что-то противопоставить начавшему революционному подъему. Даже вдовствующая императрица Мария Федоровна советовала сыну: «Я уверена, что единственный человек, который может помочь тебе сейчас, — это Витте. Он, несомненно, талантливый человек.»

Как в воду глядела. Витте действительно пытался спасти самодержавие. Когда царь попросил его проанализировать ситуацию, он ответил вполне определенно:

— Сейчас возможны только две позиции — военная диктатура или конституция. Я не знаю, что изберете вы. Я бы избрал конституцию. В ней возможно окончание всех беспорядков.

Николай II раздумывал, какое же принять решение. На помощь Витте пришел Великий князь Николай Николаевич, командовавший Петербургским военным округом, которого прочили в диктаторы. При родственниках он вытащил револьвер и громогласно произнес:

— Если государь не согласится с программой Витте и задумает вынудить меня стать диктатором, я убью себя в его присутствии из этого оружия. Мы должны поддержать Витте любой ценой — это необходимо для блага России.

Императорский Манифест, который составил Витте, был подписан 17 октября 1905 года. Из абсолютной монархии Россия превратилась в полуконституционную. Было обещано «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительно неприкосновенности личности, свободы слова, собраний и союзов.» Провозглашалась Дума — выборной парламент, и самое главное: ни один закон не мог быть принят без ее одобрения.

Но Манифест не помог монархии. Революция нарастала, как снежный ком, нарастала неудержимо и стремительно.

К огромному разочарованию Витте и его сторонников, ситуация не только не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась. Теперь против его программы выступили и правые, и левые, а вскоре и его сторонники — либералы. Он стал мишенью для всех. Империя сотрясалась, и казалось, вот-вот развалится. Волнения и беспорядки прокатывались по ней, как

волны во время шторма. Нашли козла отпущения — прошли еврейские погромы. В Кронштадте и Севастополе начались восстания на флоте. В Прибалтике и Финляндии, где Манифест стал толчком для национального движения, потребовали автономии и независимости. В Москве рабочие вышли на баррикады.

Из-за границы вернулся Ленин, который определил позицию большевиков четко и кратко: «Мы за разрастание борьбы, мы за мировую революцию!»

Лев Троцкий, пользовавшийся большой популярностью в массах, утверждал: «Пролетариат знает, чего он хочет. Он не хочет ни полицейского душителя Трепова, ни либеральной финансовой акулы Витте: ни пасти волчьей, ни лисьего хвоста. Он отвергает полицейский кнут, завернутый в пергамент конституции».

То был крах политики Витте, и, естественно, его просчеты не могли остаться незамеченными. В письмах к матери Николай II разочарованно отмечал: «Очень странно, что такой умный человек мог ошибаться в своих прогнозах... Все боятся предпринимать решительные действия. Я пытаюсь заставить их, самого Витте действовать более энергично». И в другом письме: «Теперь Витте готов арестовать всех главварей восстания. Когда же я все последнее время пытался заставить его это сделать, он уверял, что в состоянии управлять без применения крайних мер».

Пытаясь спасти ситуацию и прежде всего вернуть расположение к себе царя, Витте отступает. Он убирает из Манифеста те статьи, на которых еще недавно горячо настаивал. Теперь он спешит составить проект законов, по которым самодержавная власть возвращается императору. Но то был последний акт драмы — Витте сходил с политической сцены. Сходил навсегда.



Что еще вспоминала Морозова?

«Витте ненавидел полицейскую машину, она ему позже и оплатила, используя свое излюбленное средство — провокацию».



Завершу рассказ о графе Витте, который оставаясь приверженцем самодержавной власти, в то же время хорошо осознавал, что правление должно быть по сути либеральным. Хотя он и оказался человеком осторожным и дальновидным и, как ни старались чины, сотрудничавшие с полицией, «подсунуть» ему Гапона, отказался с ним встретиться, но ошибку все же совершил. Прислушавшись к советам приближенных к царю людей, просивших помочь Гапону покинуть Россию, уступил их просьбам и распорядился выдать деньги «герою» на отъезд за границу.

Враги Витте этим воспользовались: вот вам и либерал, который охотно помогает анархистам и революционерам!

В газетах началась травля, организованная тайной полицией. Появилось заявление Гапона, данное прокурору судебной палаты, в котором тот утверждал: «Осенью прошлого года я получил предложение от имени графа Витте вступить с ним в переговоры по поводу рабочих организаций и их материального состояния. Мне было объявлено, что возникновение рабочих организаций возможно и мне будет разрешено полулегальное пребывание в Петербурге впредь до окончания возбужденных переговоров».

Трудно поверить, что Витте стремился вести переговоры с Гапоном, но как хотелось высшим чинам полиции втянуть в грязь самого большого либерала, брезговавшего ими. И втянули. Новая «сенсация», опубликованная в газетах: оказывается, 27 марта Гапон более часа беседовал с председателем Петербургского окружного суда, во время беседы заявил, что никакой вины за собой не чувствует и требует открытого и гласного суда, ибо не преступал закон, а действовал с одобрения самого графа Витте.

— Ну и проходимцы! — возмутился граф действиями тайной полиции.

Но сигнал к атаке уже прозвучал. Реакционная печать дружно начала травлю председателя Совета министров, обвиняя его в измене престолу и родине. Черносотенцы открыто требовали расправы над Витте.

14 апреля 1906 года граф подал прошение об отставке. Он долго размышлял, прежде чем сделать этот шаг, и в конце концов решил, что иного выхода у него нет. От него отвергну-

лись не только близкие люди, но и государь, а это уже было сверх всего. Витте ждал от него доброго слова, но так и не дождался.

«Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранить то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета министров, — писал он государю. — В течение шести месяцев я был предметом всего кричащего и пишущего в русском обществе и подвергался систематическим нападкам имеющих доступ к Вашему императорскому величеству крайних элементов».

Былые заслуги в счет не шли. Через два дня после обращения к Николаю II отставка Витте была принята. Сколько усилий было затрачено им впустую — он готовил первый российский парламент, но накануне его первого заседания вынужден был отойти от политической деятельности; мечтал сделать Россию сильной и богатой, а она вверглась в пучину потрясений.

Существует и другая версия на сей счет: мол, сам царь уговорил его подать прошение об отставке. В ответ Витте сделал вид, что доволен своим отходом от государственных дел. Он даже улыбнулся.

— Вы видите перед собой счастливейшего человека из всех смертных. Государь не мог оказать мне большей услуги, чем освободить от этой каторги, где я чуть было не зачах. Я сразу же уезжаю за границу лечиться. Я не хочу ни о чем слышать и легко могу вообразить дальнейшее. Вся Россия сейчас — один сумасшедший дом...

В чем-то он был прав. Империя вступала в новую эпоху. В новую эпоху вступала вместе с ней и тайная служба, которую опальный ум презирал и ненавидел. Она, впрочем, платила ему тем же.



В конце карьеры нередко вспоминают ее начало. Но Сергей Витте не вспоминал, как в молодые годы впервые переступил порог загрязненной тифлисской конторы, где ему приходилось корпеть над бумагами, а вспоминал тот день, когда решил помочь молодому Николаю Александровичу, будущему царю,

войти «во вкус» правления. Сделать это было не так-то легко — цесаревич к государственным делам не тянулся, всячески от них отлынивал. Подтверждение тому запись в дневнике, который долгие годы вел Николай II, начиная с юности, фиксируя все основные мысли и события: «Я назначен членом финансового комитета. Большая честь, но мало удовольствия... Я принял шестерых членов этого учреждения; признаюсь, я никогда не подозревал о его существовании».

В то же время его отношения со здравствующим отцом, который стремился привлечь сына к службе, оставались чуть ли не официальными. И вот, беседуя с Александром III, Витте предложил назначить наследника председателем комитета по постройке Транссибирской железной дороги.

Александр III был удивлен:

— Скажите, пожалуйста, знаете ли вы царевича? Обсуждали ли вы с ним что-нибудь подобное?

— Нет, ваше величество, я никогда не имел счастья о чем-нибудь говорить с наследником, — ответил Витте.

— Да ведь он совсем ребенок, — продолжил царь, — и суждения у него еще детские. Как же он сможет быть председателем такого важного комитета?

— Да, он молод, — согласился Витте. — Но тем не менее, если вы, ваше величество, не начнете его приучать к государственным делам, то он никогда не станет понимать их.

Александр III согласился:

— Вы правы.



Лишаясь должности, Витте, несомненно, вспоминал все то хорошее, что сделал лично для умелого правления Николая II. Но и цари похожи на простых смертных: поверженные кумиры не вызывают у них никакого сострадания.

Царь холодно распрощался с Витте.



Морозова видела Витте неоднократно. В последний раз в Петербурге, когда ее семья ездил встречать Рождество. Георгий Морозов дал о себе знать старому знакомому, тот пригласил семью друга на обед.

Встреча затянулась до сумерек, друзьям было что вспомнить. Юная Изабель, как называл ее граф, в разговор взрослых не вступала. Говорить со взрослыми на равных в таком кругу считалось неприличным.

— Вы не читаете еще вредных книжек? — спросил граф, обращаясь к девушке. Та покраснела, не зная, что ответить. Сказать правду было рискованно, соврать еще опаснее. Но граф сам пришел ей на помощь.

— Вижу, что не читаете. И не читайте! Это увлечение к добру не приведет. К сожалению, наши интеллигенты об этом не думают. Задумаются, когда станет худо, а тогда, представьте, будет поздно, придется корить себя...

Изабель попробовала возразить, но спорить с таким умищем, как называл отец графа, было нелегко. Эрудиция его была просто великолепна, аргументы убедительны.

— Догадываюсь, что запрещенную литературу вы все же почитываете, — сказал Витте. — Не возражайте, читаете! Но не увлекайтесь дальше, дорогая, занятие сие весьма неперспективное — призывать народ к бунту...

— К лучшей жизни... — пробовала возразить девушка.

— Революция не приводит к лучшей жизни, голубушка, она приводит лишь к крови...

В старости собеседница Витте нередко вспоминала эту фразу. Она прожила долгую жизнь и потому могла оценить сказанное — судьба отпустила ей для этого достаточный срок.



Из записной книжки И.Г. Морозовой:

«Полиция и Витте были врагами; одно исключало другое. Что было бы, если бы Витте взял верх и подчинил бы себе и правительству тайную полицию? Исчезла бы провокация или нет? Могла бы политическая борьба вестись по «правилам» и стал бы парламент, как задумывал граф, советчиком трона, что обрекло бы смутьянов на неминуемый крах?!



ПОКУШЕНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ОХРАНКОЙ

В российской истории были покушения, организованные самой охранкой, которая активно вмешивалась в политическую жизнь Российской империи. В затянувшейся борьбе между графом С.Ю.Витте и П.А.Столыпиным она вначале приняла сторону последнего, но затем сама же способствовала его устранению.

Не буду вступать в полемику, оценивая роль этих личностей в нашей истории, коснусь лишь тех эпизодов, которые, вполне возможно, читателю неизвестны.

— Столыпин боролся с Витте так же хитро, как и полиция, — отмечала Изабелла Георгиевна, — но если бы он знал, что спустя несколько лет с ним обойдутся так же...



В январе 1907 года глава «Союза русского народа» доктор Дубровин был приглашен вместе со своими ближайшими сподвижниками на званый ужин к царю. У входа во дворец делегацию встретил генерал Трепов, который и провел гостей в залу.

За столом, уставленным винами и всевозможными закусками, сидел царь, кивком головы приветствовавший гостей. Одет он был в малиновую косоворотку, подпоясанную кожаным шнурком.

Когда выпили и закусили, Николай II подал знак музыкантам и поднялся, чтобы сплясать «барыню». Гости востор-

женно хлопали, а потом и сами пустились в пляс. После танца царь поднял бокал шампанского и произнес:

— Да будет мне «Союз русского народа» опорой! Желаю вам счастья, господа! Ура!

Члены союза ответили так дружно, что задрожали стены.

— Надеемся на нас, государь-батюшка! Мы за тебя жизнь отдадим!

После того, как гости стали расходиться, генерал Трепов пригласил Дубровина на беседу в свой кабинет. Разговор их был долгим. То, что нельзя было произносить вслух, говорилось намеками.

Трепов доверительно передал Дубровину фразу, которую накануне изрек государь по поводу Витте: «Терпел и терпеть буду по тактическим соображениям. Но терпению моему, кажется, приходит конец».

— Это и немудрено, — сказал генерал, — Витте по всем вопросам имеет собственное мнение, отличное от государя, с мнением других не считается. Такое впечатление, что он ставит себя выше государя, а о нас, простых смертных, вообще и говорить не приходится...

— Разделяю вашу точку зрения, — ответил Дубровин, — граф должен передать свой пост другому...

— Скажу вам больше, — продолжил генерал, выяснив позицию собеседника. Теперь он мог быть более откровенным. — Независимая позиция графа объясняется, на мой взгляд, тем, что он обладает какими-то материалами, которыми может компрометировать государя и близких ему людей. Я полагаю, что речь идет о наших финансах — представьте себе, какой вой поднимут так называемые либералы, которым только дай повод для скандальных историй.

— Я с вами полностью согласен...

— К Витте приходит публицист Гурьев, и я думаю, что они вместе сочиняют что-то недозволенное и вредное для царского двора. Министр Фредерикс просил графа передать ему все имеющиеся у него документы, но тот отрицает их наличие и даже заверяет, что ничего публиковать не собирается, разве что мирную работу об экономике Дальнего Востока. Я знаю, что он лжет, у него имеются различные материалы.

Дубровин, чтобы поддержать генерала, изрек: «Ну и прохвост!»

— Рад, что мы с вами одного мнения, — сказал Трепов. — Потому хочу просить вас об одной любезности: не могли бы вы через своих людей каким-нибудь образом изъять эти документы или их уничтожить? Лично я не могу обращаться с этим предложением в секретную полицию, которая может не понять всю щепетильность вопроса. Если изъятие документов получит нежелательную огласку, то тень падет на царя, а это, сами понимаете, весьма и весьма нежелательно. Думаю, что вы оцениваете сложность положения. В то же время верю, что как наш разговор, так и вытекающие из него выводы нам с вами удастся сохранить в тайне.

— Милостивый вы мой, — поспешил заверить Трепова Дубровин, — мы сделаем все возможное, чтобы защитить имя государя и интересы Отечества.

На том разговор и завершился. Обе стороны остались довольны — каждый объяснил все, что хотел объяснить, каждый понял собеседника.

Некоторые авторы, впрочем, передают и концовку той беседы, имеющей важное значение для последующих событий, хотя нельзя утверждать, что все было именно так.

Дубровин, как бы все обдумав, предложил уничтожить вообще все документы, но заметил: «Однако в таком случае могут пострадать и близкие графа и, возможно, сам граф». Трепов усмехнулся: «Все мы в руках Божьих!»

Отдельные нюансы разговора не влияют на его суть. Дубровин вышел из дворца уверенный, что наступил час действий.

На другой день Трепов в сопровождении своего помощника — сенатора Гарина, прибыл в Мойку, в здание, где располагался начальник Петербургского охранного отделения жандармский полковник Герасимов — мастер политического сыска.

Увидев неожиданных визитеров, Герасимов засуетился. Трепов кисло улыбнулся:

— Не извольте беспокоиться, мы прибыли по делу, нам не до чаепития. А дело, надо признать, государственной важности. Вчера государь заметил, что полиция совсем не бо-

рется с революционерами. Мы и приехали довести до вас мнение государя.

Разговор был долгим. Трепов и Гарин не могли сразу раскрыть цель своего визита, им надо было вначале «нажать» на полковника, подвести его к тому главному, что предстояло сказать.

Сказали и главное.

— Я намерен обсудить с вами одно щекотливое дело, — доверительно произнес Трепов. — Прежде хочу вас спросить, господин полковник, располагает ли ваше отделение сведениями о подготовке взрыва в особняке графа Витте?

Герасимов насторожился:

— Кроме анонимных угроз в адрес председателя Совета министров, никаких сведений не имеется.

Тут Трепов и пошел «ва-банк», достав папиросу и закулив ее, чтобы придать паузой особое значение последующему действию.

— Мы информированы, что друзья трона из «Союза русского народа» намерены осуществить против графа Витте одну акцию. Не хотелось бы, чтобы ей помешали.

— Я вас понял, — ответил Герасимов, — я всегда считал: то, что во благо царю, то во благо Отечеству.

Трепов остался доволен визитом, потому и сказал на прощание:

— Я всегда был о вас высокого мнения, в этом сегодня убедился еще раз. О вашем стремлении быть полезным двору я доложу государю...

Проводив высоких гостей, Герасимов вызвал жандармского ротмистра Комиссарова, который выполнял в управлении самые «деликатные» поручения, спросил, кто из секретных сотрудников действует в союзах «Русского народа» и «Михаила Архангела».

Комиссаров знал всех агентов назубок, потому сразу же ответил:

— Филимон Казанцев. Участвовал в ликвидации большевика Николая Баумана. В «Союзе Михаила Архангела» наш тайный агент Казаринов. Пост занимает высокий.

— Вот и хорошо, — сказал Герасимов. — Надо, чтобы они информировали нас обо всех действиях, связанных с гра-

фом Витте. Им не мешать — решение свыше... Обо всем меня информировать лично.



История интересна всегда тем, что наряду с большими и великими людьми мы встречаем в ней мелких и ничтожных, играющих свою грязную роль. В том числе и провокаторов.



Казанцев пришел к Комиссарову за советом, сказал, что члены «Союза Михаила Архангела» хотят проучить графа Витте. Он не мог обойти жандарма, ибо, как все агенты, был всегда с ним на связи.

— Давно следует, — довольно пробурчал Комиссаров и даже порекомендовал исполнителей. — Лучших кандидатур, чем рабочие завода Тильманса Титов и Федоров, нет. Федорова, кстати, так и тянет на подвиги. Поработай с ним, толк, несомненно, будет.

На языке тайной службы слово «поработай» имело другие синонимы — «завербуй», «подготовь», «привлеку к своему плану».

И Казанцев привлек рабочих, не раскрывая своих истинных замыслов. Пригласил в трактир Титова и повел разговор «по душам».

— Ты мне, Иван Васильевич, напоминаешь эсера, — разглагольствовал он, выпив. — Я лично эсеров уважаю, но скажу тебе открыто: нынче эсеры не те, что были раньше. Раньше они были — орлы. А теперь? Больше болтают, чем действуют. Я, Васильич, тоже революционер — тебе верю и открываюсь. В нашей партии «максималистов» ребята боевые. Хочу тебе предложить дело — надо предателя наказать, который многих наших погубил. Если ты готов постоять за рабочих, пожалуй, мы тебя примем...

После этого разговора Титов познакомил Казанцева с Федоровым, который, как оказалось, в 1905 году перевозил из Финляндии оружие для питерских дружинников и был готов биться за рабочее дело дальше.

Все шло как по маслу, но вот прибежал Казанцев к своему покровителю в охранное отделение и признался: осечка

с Титовым, не желает он участвовать в ликвидации врага рабочего класса, потому что не признает индивидуальный террор. Но, отрицая этот метод борьбы, заявляет, что мешать революционерам не собирается.

— Нескладно получается, — сказал Комиссаров агенту, — придется нам припрятать этого борца, чтобы не путался под ногами.

Такого же мнения придерживался и полковник Герасимов. 26 января 1907 года Титов (на самом деле — Семен Демьянович Петров, который нелегально жил в столице по чужому паспорту, бежав из ссылки) был арестован и помещен в секретную камеру охранного отделения. Впоследствии его сослали в Пинегу. На допросе в апреле 1908 года он дал показания о своих переговорах с Казанцевым и Федоровым, замышлявшими покушение на графа Витте.

Когда Петров был взят под стражу, Комиссаров передал своему агенту: «Птичка в клетке, можешь действовать!»

Казанцев сумел привлечь к делу еще одного участника взамен потери — молодого рабочего Степанова, горевшего желанием бороться с сатрапами. От Казаринова он получил две адские машины с часовым механизмом большой взрывной силы, которые были переданы Казаринову чиновником для особых поручений при московском генерал-губернаторе графом Буксгевденом.

Вооружившись, Казанцев с Федоровым и Степановым сразу же приступили к выполнению намеченного плана. Они направились к особняку графа Витте на Каменноостровском проспекте и через двор соседнего дома взобрались на крышу конюшни. Казанцев стоял на стреме во дворе, а Федоров и Степанов, как было договорено заранее, по лестнице поднялись на крышу дома Витте и на веревках опустили ящики со взрывчаткой и часовыми механизмами в печные трубы.

Когда Федоров и Степанов возвратились, Казанцев спросил:

— Ну как?

— Как надо, — коротко ответил Федоров.

— Уходите, — приказал Казанцев, — встретимся там, где условились.

А условились они встретиться на квартире Степанова. Правда, Казанцев хотел лично убедиться в успехе акции и остался ждать на улице — взрыв должен был произойти ровно в девять часов вечера.



Вернувшись из-за границы, Витте стал получать угрожающие письма с различными знаками: то с крестом, то со скелетом — предупреждения о расправе. К графу приставили охрану — агентов секретной полиции, один из которых постоянно дежурил в вестибюле дома.

29 января жена Витте уехала в театр, а он остался — ждал доктора по горловым болезням. Часов в девять пришел публицист Н.А.Гурьев, бывший сотрудник министерства финансов, который работал с Витте и пользовался его благосклонностью. Зато министр финансов В.Н.Коковцов Гурьева не любил. Когда Владимир Николаевич вступил на должность министра, Гурьев, владеющий бойким пером, написал статью, дескать, дошли мы до того, что на такие должности вступают лица мало подготовленные, и это напоминает объявления, публикуемые в газетах: кухарки предлагают свои услуги, претендуя на поварские места.

Коковцова статья задела, особенно язвительное сравнение с кухаркой. Другой бы не обратил на это внимания, а он обиделся и простить подобное Гурьеву не мог.

А тут как раз произошел случай, повлиявший на дальнейшие события. Приехал к графу барон В.Б. Фредерикс, министр императорского двора, изложил цель своего визита.

— Видите ли, любезный Сергей Юльевич, я выполняю поручение его величества, который знает, что вы хотите написать книгу по финансам и собираетесь отозваться о наших финансах и нашем управлении в неодобрительном тоне. Так вот, государь просит вас эту книгу не издавать.

— Прошу доложить государю, что сведения, дошедшие до него, ложны, — пояснил Витте. — Ничего подобного издавать не намерен, все мои хлопоты связаны с совершенно другим делом.

Когда Фредерикс откланялся, Витте понял, что царю мог донести о подобном только Коковцов во время своих докладов. Никто о его замысле, кроме него, не знал.



Итак, Гурьев пришел, чтобы поработать с документами, которые предоставлял ему Витте. Как только он приступил к занятиям, графу сообщили о приезде врача.

— Вы не могли бы отложить бумаги? — спросил Витте у Гурьева. — Позвоните по телефону, я назначу день...

Гурьев возразил:

— Мне бы не хотелось прерывать, может, вы разрешите поработать с документами в другой комнате?

— Ну что же. Если вас не затруднит, поднимитесь в верхнюю комнату. Камердинер вас проводит. Правда, там холодновато, пока не топят...

— Ничего страшного, — сказал Гурьев, — я даже не стану ждать истопника, лишь сделаю необходимые выписки...

Через несколько минут камердинер, очень встревоженный, подошел к Витте: «Вас просят подняться наверх по очень важному делу».

Граф, решив, что речь идет о документах, поспешил на второй этаж. Открыв дверь, он увидел, что Гурьев и истопник рассматривают маленький ящик, от которого тянется длинная веревка.

— Что это значит? — спросил Витте, и Гурьев объяснил, что когда истопник открыл вьюшку печи, то заметил конец веревки и вытащил ящик.

— Ни в коем случае, — сказал Витте, — ничего не трогайте, я вызову полицию.

Незамедлительно приехал ротмистр Комиссаров, заведовавший секретным отделением за ним — Герасимов, судебный следователь, товарищ прокурора, директор Департамента полиции, полицейские.

Комиссаров показал себя героем. Он вытащил ящик в сад и раскрыл его.

— Смотрите, — сказал Комиссаров, — это адская машина. Часы поставлены на девять, а сейчас... — он посмотрел на свои часы, — уже десятый. Не сработало.

— Отправьте все это в лабораторию, — приказал Герасимов.



Казанцев бродил по тротуару, ожидая взрыва. Время шло, ничего не происходило. Шел десятый час, а взрыва так и не слышалось. Он увидел, как к дому стали стягиваться полицейские, и понял, что бомба обезврежена, и наверняка о ней стало известно, раз вокруг рыскают полицейские и филеры, высматривающие прохожих. Казанцев поспешил покинуть опасное место.

На квартире Степанова он набросился на друзей:

— Вы не завели часы! Бросили ящик — и все? Устроили мне комедию, сволочи!

Те оправдывались, что действовали согласно его указаниям, а вот почему не сработало взрывное устройство не знают.



Когда полиция допрашивала прислугу и истопника, то выяснилось, что за несколько дней до события какой-то господин подходил к дворнику и интересовался, где находятся спальни господ. Человек был в дожде, воротник которой был поднят так, что его лицо оставалось почти закрытым.

— Этого, господин, я не знаю, — ответил дворник и все-таки высказал предположение, что спальни господ находятся на левой стороне.

Дворник ошибся, ошиблись и те, кто ставил бомбу.

Странно, что никто из судебных властей и полицейских не удосужился подняться на крышу и проверить, есть ли там какие-нибудь следы. Это сделал Николай Карасев, курьер при Витте, когда тот находился на службе. Карасев был смышленным малым и сразу полез на крышу, чтобы полюбопытствовать, как злоумышленники могли заложить адскую машину в дымоход.

Осмотрев следы, отчетливо видные на снегу, он определил, как неизвестные добрались до трубы. Спустившись, высказал свои соображения:

— Надо проверить все трубы, нет ли адских машин и там.

Никто ничего не проверил. Лишь на другой день, когда жена Витте обратилась к генералу Сперанскому, заведующему Зимним дворцом, тот прислал дворцовых трубочистов. И не зря. В соседней трубе, ведущей к камину столовой, нашли еще одну адскую машину.

— Да-с, похожа на первую, — заключил прибывший Комиссаров.



Полиция, не найдя истинных виновников, сразу же выдвинула несколько версий, которые могли удовлетворить начальство и успокоить общественность. Она выискивала факты, которые могли бы подтвердить ее версию, а не чью-нибудь другую. Так, был допрошен Гурьев. По вопросам, которые ему задавались, стало понятно, что версия строилась весьма глупая: не могло ли покушение быть симулировано?

— Нет, машина держалась на веревке, а та спускалась сверху...

— Но дело в том, что ящик и веревка чисты, — заметил Комиссаров.

— Ну и что? — спросил Гурьев.

— А то, что машина заложена изнутри. Таково наше убеждение, — заключил жандарм.



Эту же версию пытался доказать и министр юстиции И.Г. Щегловитов, как отзывался о нем Витте, «большой негодяй». Во время перерыва в заседании Государственного совета он сказал в узком кругу с улыбкой: «Вполне возможно, что это покушение сделано лицами, живущими в доме графа Витте, и, может быть, с его ведома». «Зачем же такой риск графу?» — спросили его. Щегловитов, сделав серьезное лицо, ответил: «Для большей популярности!»



Почему не взорвались адские машины, определили в лаборатории артиллерийского ведомства, куда их отправили на экспертизу. Эксперты установили, что молоточки бу-

дильника не могли дать в ящиках полный ход — потому-то трубочки с серной кислотой не разбились и взрыва не произошло.



Спустя несколько месяцев Витте беседовал с министром юстиции в Государственном совете, который заседал в Дворянском собрании на Михайловской площади.

— Раскрыты ли преступники?

— Нет еще, — был ответ, — а я, кстати, по вашему делу говорил сегодня с государем императором.

— По какому поводу? — поинтересовался Витте.

— Вы знаете, артиллерийское ведомство сделало исследование того динамита, который был заложен в машины. Так это взрывчатое вещество особого рода в первый раз попало в руки ведомства. По-видимому, оно венского изготовления. С разрешения судебных властей одна склянка динамита была взорвана за городом, там, где происходят пушечные стрельбы. Это вещество оказалось такой силы, что, взорвись у вас дома, не только дом был бы снесен, но и такой же участи в значительной степени подвергся бы и соседний дом Лидваля.

— А что же государь на это сказал? — спросил Витте.

— Вынул из ящика стола план вашего дома, подробно мне показал, как и где были установлены адские машины. Когда я заметил его величеству, что эти взрывчатые вещества были огромной силы, то его величество мне заметил: «Ну, если кладут адские машины, то ведь не для того, чтобы шутить».

Позже выяснилось, что Николай II сказал по поводу покушения на премьер-министра еще более удивительные слова. Когда ему доложили, что в дом Витте неизвестные злоумышленники подложили мины, царь, усмехнувшись, заметил: «Надо еще в этом деле хорошенько разобраться. Не сам ли граф Витте подложил их, чтобы увеличить свою популярность в стране». Напомню, что именно это сказал и Щегловитов. Как оно похоже на те, что проводились многие десятилетия спустя, когда власти не имели желания найти истинных преступников.

Возможно, что в этом случае сыграл свою роль генерал Трепов. Может быть, и сам царь считал свою версию непогрешимой.

Но граф Витте был настойчивым человеком. Он пытался воздействовать на лиц, от которых зависело расследование. Известна его беседа с П.К.Камышанским, прокурором Петербургской судебной палаты. Витте возмущался безобразным ведением следствия.

— Ваше сиятельство, — был ответ Камышанского, — вы совершенно правы, но мы, прокуратура, иначе поступить не можем. Нам ясно, что для того, чтобы раскрыть и обнаружить все дело, необходимо тронуть и важные персоны и сделать обыски у таких столпов общества — новоявленных спасателей России, как доктор Дубровин, например, но сделать этого мы не можем.

— Почему же?

— Если мы этих лиц арестуем или сделаем у них обыски, то не знаем, что там найдем. Не исключено, что нам придется идти выше...

Витте написал несколько резких писем новому главе правительства и министру внутренних дел и шефу жандармов Столыпину, требуя продолжить расследование, поручив его комиссии, составленной из санаторов. Он обвинил в подготовке взрыва своего особняка лиц, которых определил собственным расследованием, — Дубровина, Казаринова, Буксгевдена, Казанцева, Федорова и Степанова.

А помог ему в определении злоумышленников рассорившийся с Дубровиным его личный секретарь Пруссаков. Желая насолить бывшему патрону, он явился в прокуратуру и под присягой рассказал, как было организовано покушение на графа. «Дубровин говорил при мне и других сотрудниках, — показывал он, — что необходимо казнить Витте, а главное — изъять у него документы против государя, которые тот хранил дома».

Было ясно, что без высочайшего повеления ничего подобного произойти не могло. Назревал политический скандал. И в дело вмешался царь.

В воспоминаниях Витте мы находим ответ государя-императора, о котором уведомили графа, что «его величеству

благоугодно было самому этим делом заняться и что, рассмотрев все дело, его величество наложил такую резолюцию: что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной».

Граф как будто бы успокоился, но время от времени делал попытку возобновить расследование: уж очень он был настойчивым. В 1910 году он пошел на прямое столкновение со Столыпиным — тот неукоснительно выполнял царскую волю — прекратить расследование, связанное с покушением на Витте. Встретившись в Государственном совете с Витте, Столыпин изобразил крайнюю озадаченность:

— Я, граф, получил от вас письмо, которое меня весьма встревожило.

— Советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано. Прежде нежели посылать письмо, я давал его на обсуждение первоклассным юристам, и, между прочим, такому компетентному, как граф Пален.

Столыпин на это ответил:

— Да, но ведь граф Пален выжил из ума, — и затем раздраженным тоном продолжил: — Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы считаете меня идиотом, или же находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь. Скажите, какое из моих заключений более правильное, то есть идиот я или тоже участвовал в покушении на вашу жизнь?

— Избавьте меня от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос, — отрезал Витте.

Вскоре он уехал за границу и, вернувшись в Петербург, получил письмо от Столыпина, по мнению Витте, наглое по существу и тону. В том же декабре 1910 года Витте написал более жесткое послание Столыпину и попросил, — поскольку между ним и главою правительства и министром юстиции существуют разногласия, — поручить дело кому-нибудь из членов Государственного совета — сенаторам, юристам, близко знакомым со следствием, чтобы те высказали свои соображения.

Откуда же Витте знал многие детали следствия? У него были враги, но были и доброжелатели, и это не раз его спасало.



Заседание Государственного совета перенесли с 26 мая на 30-е — были получены сведения, что готовится террористический акт. Накануне к графу приехал Иван Павлович Шипов, занимавший в правительстве Витте пост министра финансов. Визит его был неожиданным.

— Хочу предупредить вас, чтобы вы не ездили на заседание. Поймите меня правильно — готовится покушение.

— У вас серьезные сведения?

— Да, граф. Со мною в доме живет небезызвестный вам Лопухин, который был уволен с должности в Департаменте полиции. Вчера он зашел ко мне и, извинившись, что не знаком лично, все же просил передать графу Витте: когда он будет ехать в Государственный совет, в него бросят бомбу. Он сказал, что знает мои отношения с вами и потому доверился.

Витте несколько растерялся.

— Насколько это верно?

— Я не думаю, что Лопухин мог ошибиться. Лично я ему верю. Вы, наверное, знаете, что он вошел в кадетскую партию вместе с князем Урусовым, и поскольку занимался всяким розыском, то теперь и в партии ведаёт вопросами контроля над тем, чем занимается секретная полиция. По его убеждениям, секретная полиция не брезгует никакими средствами, борясь с теми, кого считает своими врагами, или теми, кто ненавистен кому-либо из высшей власти.

Выслушав Шипова, Витте сказал:

— Очень благодарен вам за сказанное, но не поехать на заседание не могу — этим я покажу свою трусость. Нет, надо все же ехать.

И Витте поехал. Правда, принял меры предосторожности, о которых просила его жена. Утром он отправился на завтрак к инженеру И.Н.Быховцу, женатому на его свояченице, а оттуда — в Государственный совет в карете Быховца. Автомобиль за которым наверняка следили террористы, находился в это время в другом месте. После заседания Вит-

те вышел на улицу. Кареты Быховца нигде не было. Он подумал, что кучер его не запомнил. Впрочем, и сам он кучера не помнил в лицо и потому решил взять другую карету. Пройдя пешком по Невскому проспекту мимо гостиницы «Европейской», обратил взгляд на порядного, как ему показалось, извозчика и остановил его.

На следующий день Витте прочитал в газете, что 29 мая около Пороховых близ Ириновской железной дороги, в лесу исправительной колонии был убит неизвестный человек в тот самый момент, когда изготовлял бомбу. В газетах предполагали, что та бомба предназначалась для какого-то члена Государственного совета. «Для меня», — подумал Витте, откладывая газету.



Судебный следователь Александров встретился с графом, видимо, из-за угрызений совести.

— Я бы не хотел, чтобы вы были обо мне плохого мнения, — сказал он доверительно, — но поймите меня: начальство занимает иную позицию, отличную от моей. Если вы дадите слово, то я могу кое-что вам рассказать...

— Говорите, я вам верю.

— Вы передали как-то директору Департамента полиции записку, в которой от вас требовали пять тысяч рублей. Вам сообщили, что записка эта якобы потеряна. Вот фотографический снимок. Не та ли записка на нем изображена?

Витте удивился сходству:

— Где вы ее достали?

— У меня в производстве есть другое дело, — ответил Александров, — не политическое. Мне нужен был почерк агента сысского отделения, и я пошел туда, чтобы попросить образец. Заведующий архивом отделения сказал мне: «У нас здесь есть почерк всех агентов как сысского, так и охранного отделений, так как при Лаунице охранное и сысское отделения были слиты; если хотите, то можете поискать в этих шкафах». Я взял, нашел образец почерка этого агента, а потом мне пришло в голову: «А посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева?» Посмотрел на букву «К». Взял образец. Вот вам

и показываю его. Я тогда спросил заведующего архивом: «Чей же это почерк?» Он ответил: «Известного агента Казанцева, который был убит около Пороховых Федоровым».

— Вы могли бы доверить мне под честное слово этот образец на несколько часов? — спросил Витте.

— Вам — да, — ответил Александров.

Так в документах Витте появилось вещественное доказательство участия полиции в покушении на него и его семью.

И первое, и второе письмо Витте обсуждались в Совете министров. После этого граф и получил ответ от Столыпина, который уведомлял, что докладывал о просьбе Витте его величеству и тот, рассмотрев дело, написал уже упомянутую резолюцию: неправильности в действиях администрации и полиции он не усматривает и просит переписку считать поконченной.

Документы Витте сохранились в архиве.



Как-то граф Д.А.Милютин рассказывал Витте об одной истории. Когда он был военным министром, то при нем состоял курьер, служил у него долго, и Милютин так привык к нему, что, собираясь после выхода в отставку переехать на жительство в Ялту, просил того поехать с собой. Курьер отказался. Милютин опечалился. Об этом узнал человек, близкий к Департаменту полиции. «Зачем же вы печалитесь? — спросил он Милютина. — Понятно, что курьер не может поехать с вами в Ялту — он получает двойное жалованье — от вас и от охранной полиции. Если поедет с вами, то лишится второго прибытка, а он, замечу, больше первого».

Витте рассмеялся:

— Выходит, и мой швейцар получает двойное жалованье?

— Выходит, — согласился Милютин.

— Меня успокаивает в этой истории только одно обстоятельство, — заметил Витте, — что мой швейцар получает у меня сравнительно небольшую сумму.

— Это резонно, — улыбнулся Милютин, — не может же он высоко оплачиваться в двух местах.



Начальник Петербургского охранного отделения полковник Герасимов отвечал на запрос Департамента полиции: сведений о подготовке покушений на графа Витте нет, об участии в нем неких Казанцева и Федорова информации не поступало, их личности отделению совершенно неизвестны. Федорова, скрывшегося во Франции, французское правительство не выдавало. Когда С.Ю.Витте был в Париже и поинтересовался причинами отказа в выдаче, ему ответили: конечно, мы могли бы выдать Федорова, который является все-таки простым убийцей, но не сделали этого потому, что русское правительство официально требует выдачи убийцы, а с другой стороны, словесно намекает, что было ему бы приятно, если бы требование не исполнили.

12 мая 1909 года депутаты Государственной думы сделали запрос министрам юстиции и внутренних дел:

«Известно ли министрам... 1) что Главный совет «Союза русского народа» организовал с ведома полиции и охранного отделения боевые дружины, которые вооружались револьверами и бомбами при содействии чинов полиции; 2) что целый ряд членов «Союза русского народа» и его боевых дружин состояли одновременно агентами охранки; 3) что те же лица принимали участие в совершении убийства М.Я. Герценштейна и Г.Б.Иоллоса и в подготовке покушений на графа С.Ю.Витте и П.Н.Милюкова, при содействии Главного совета «Союза русского народа» и его председателя А.И.Дубровина?»

Дело тогда сдвинулось с мертвой точки, чтобы вновь оstanовиться. Созданная правительственная комиссия по расследованию деятельности боевых дружин союза по-прежнему не выявила виновных, хотя согласилась: подозрения на отдельных членов дружин имеются.



Доступ к архивам охранки в 1917 году позволил сделать вывод: отвечая на запрос о Казанцеве 12 декабря 1909 года, полковник Герасимов лгал — Казанцев являлся в то время секретным сотрудником Петербургского охранного отделения. На его личной карточке стояла подпись самого Герасимова.



Многие факты истории всплывают тогда, когда они практического значения уже не имеют, разве что для установления истины.

Возможно, граф Витте и был бы убит, как задумали в охранке, но помешал случай. Федоров, которого Казанцев принуждал повторить покушение на графа, неожиданно узнал, что Казанцев связан с охранкой, и поделился своими опасениями со Степановым.

— Он принуждает нас убить доктора глазной лечебницы, а тот, как я выяснил, не враг рабочим и не черносотенец, а, наоборот, помогает революционерам. К тому же про Казанцева говорят, что человек он нечестный.

— Может, стоит его разоблачить публично? — предложил Степанов.

— Нет, — сказал Федоров, — он профессиональный провокатор, сменит фамилию и исчезнет. Его надо убить, как он убивал других, и это будет справедливо.

А Казанцев, не подозревая, что его разоблачили, приходил к «друзьям» и говорил:

— Надо приступать к убийству Витте. Я достал бомбы, теперь надо выждать, когда граф будет проезжать, и метнуть в него. Я присматривался, это легко сделать из гостиницы напротив. Там мы и затеряемся среди постояльцев, а потом исчезнем из города.

— А где будем заряжать бомбы? — спросил Федоров.

— Возле железной дороги, там народу меньше.

На следующий день они встретились в назначенном месте и пошли к насыпи. Огляделись. Убедившись, что вокруг все спокойно, Казанцев, достав из сумки бомбы, нагнулся, чтобы их зарядить. В этот момент Федоров изо всех сил ударил провокатора в шею кинжалом, который рывком вытащил из кармана. Казанцев, захрипев, упал. Брызнула кровь. Он попытался подняться, но Федоров все бил и бил его кинжалом в шею. Один из ударов оказался таким сильным, что голова Казанцева почти отделилась от туловища.

Лишь на другой день, когда полиция установила личность убитого, в охранке узнали о гибели своего агента. Все документы, касающиеся этого случая, она забрала из полиции, — убийц никто не искал. Этим и воспользовались Федоров и

Степанов. Первый бежал сначала в Финляндию, а затем в Париж. Второй исчез, и больше о нем ничего не слышали. Как официально объявила полиция, личность убитого возле железной дороги так и не удалось установить.



Спустя несколько лет в русских и зарубежных газетах появились заметки о покушении на бывшего председателя Совета министров России, происшедшем в январе 1907 года. Одна из них была подписана В. Федоровым — участником события, но Департамент полиции продолжал отмалчиваться, затем — отписываться. Секретная полиция сделала все возможное, чтобы участники подготовки покушения не попали в руки судебной-следственных властей.



Между тем в документах, собранных графом Витте, содержались весьма интересные факты. Один из них — признания его близкого знакомого, имя которого граф, дав ему честное слово, так и не назвал. К нему обратился сын генерала пограничной стражи, студент Политехнического института, на тетке которого был женат Казаринов — вице-председатель «Общества Михаила Архангела», организованного крупным помещиком В.М.Пуришкевичем.

Приехав в столицу, отец студента остановился у Казаринова. Обратил внимание, что тот занимается устройством двух адских машин. Спросил, для чего они изготавливаются.

— Для графа Витте, — как ни в чем не бывало, — ответил Казаринов, — надо взорвать его дом.

— Что же вам плохого сделал граф? Ведь это крупный государственный деятель. К тому же при взрыве могут пострадать невинные люди.

Казаринов с усмешкой ответил:

— Но мы спасем Россию, а это больше жизнью, чем семейство Витте и его челядь.

Генерал торопливо засобирился к отъезду.

— Если бы вы не были моим родственником, то я сейчас же дал бы знать об этом полиции. Вы заняты гнусным делом, и я не могу больше у вас оставаться...

Со слов этого же студента стал известен и другой факт.

За несколько дней до покушения сам Казаринов переехал в маленький дом, находящийся напротив графского особняка, чтобы наблюдать за взрывом, который должен был произойти ровно в девять часов вечера. Но тут он узнал, что его сын заболел дифтеритом и врачи опасаются за жизнь ребенка. Видимо, усмотрев в этом перст Божий или почувствовав угрызения совести, Казаринов передал через дворника, чтобы довели до сведения графа: пусть идет по правой стороне улицы, не переходя на левую. Он думал, что граф живет на левой стороне, ошибся потому, что вечером и ночью на улице было темно.

Дворник хозяевам ничего не передал. А Витте этот совет мог пригодиться, потому что жил он на правой стороне улицы и, случись взрыв, получил бы шанс остаться в живых.



Генерал Герасимов сказал однажды Комиссарову:

— Хорошо, что так все закончилось с этим графом. Не люблю я приказаний сверху, они всегда непрофессиональны.

— А если они вновь решат расправиться с Витте? — спросил ротмистр своего начальника.

— Пусть все делают сами, — ответил Герасимов. — Да вряд ли до этого дойдет — после шума, поднятого прессой, думаю, с Витте связываться они больше не захотят. Кому нужен человек, сходящий со сцены?

Теперь мы знаем, что Герасимов оказался прав. Граф Витте, опасавшийся новых покушений, умер своей смертью в 1915 году, в возрасте шестидесяти лет.



ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ СТОЛЫПИНА

Взлет Столыпина начался с падения Витте.

14 апреля 1906 года граф Витте написал государю письмо, попросив освободить его от обязанностей председателя Совета министров и высказав при этом свои соображения по поводу дальнейшей политики. Кстати, именно в этот период была разработана программа крестьянского преобразования, изложенная в виде вопросов. Этот труд в будущем использовал Столыпин для составления закона 9 ноября. Как отмечал Витте с сожалением, принудительное уничтожение общины создало если не совсем бесправных, то полубесправных крестьян — частных собственников.

Государь ответил графу 16 апреля, написав собственноручно:

«Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил письмо ваше, в котором вы просите об увольнении от занимаемых должностей. Я изъявил согласие на вашу просьбу.

Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России. Видно, что и в Европе престиж нашей родины высок.

Как сложатся обстоятельства после открытия Думы, одному Богу известно. Но я не смотрю на ближайшее будущее так черно, как вы на него смотрите. Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря о вы-

борах, инертности консервативной массы населения и полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах. Благодарю вас искренне, Сергей Юльевич, за вашу преданность мне и ваше усердие, которое вы проявили по мере своих сил на том трудном посту, который вы занимали в течение шести месяцев при исключительно тяжелых обстоятельствах. Желаю вам отдохнуть и восстановить свои силы. Благодарный вам Николай».

На другой день они встретились. Государь поинтересовался, кого бы Витте посоветовал назначить вместо него. Граф рекомендовал Д.А.Философова или М.Г.Акимова в зависимости от того, какую он желает вести политику — в духе осуществления закона 17 октября, давшего свободу, или в духе ее ограничения.

Государь, следуя совету графа, предложил должность Акимову. Тот вежливо уклонился от назначения.

Витте явился к государю в официальном мундире для того, чтобы поблагодарить за исполнение своей просьбы. Состоялся примечательный разговор.

— Прошу вас занять пост за границей, — сказал государь.

— Имеете ли в виду назначить меня в Токио? — спросил граф. — По состоянию здоровья я бы не смог принять пост в столь отдаленной стране...

— Я имею в виду Европу, — ответил государь. — Пожалуйста, как только откроется первый пост посла, вы мне напомните, так как я непременно вас назначу...

Витте откланялся. Через год он обратился к Николаю II, но никакого ответа от государя так и не дождался.



Интриги, которые плелись при дворе, приводили к совершенно иным результатам, чем планировали их инициаторы. В тот день, когда шла речь о назначении Витте послом, зашел разговор с ним и о назначении нового председателя Совета министров.

Николай II был откровенен:

— Я остановился на том, чтобы назначить на ваше место ваших врагов, но не потому, что они ваши враги, а потому, что нахожу в настоящее время такое назначение полезным.

— Ваше величество, может быть, вам будет угодно мне сказать: кто это такие, мои враги, ибо я не догадываюсь о том.

— Председателем Совета министров я назначу Горемыкина.

— Какой же, ваше величество, Горемыкин мне враг? Если все остальные лица такого калибра, как он, то они мне представляются врагами мало опасными.

Государь в ответ лишь улыбнулся.

Новые министры вели Россию к переломному семнадцатому году. Состоялось назначение министром юстиции Щегловитова. Уж как его не любил Витте! «Это — самое ужасное назначение из всех назначений министров после моего ухода в течение этих последних лет и до настоящего времени! — отмечал он. — Щегловитов, можно сказать, уничтожил суд. Теперь трудно определить: где кончается суд, где начинается полиция и где начинаются Азефы? Щегловитов в корне уничтожил все традиции судебной реформы 60-х годов. Я убежден в том, что его будут поминать лихом во всем судебном ведомстве многие и многие десятки лет».

Щегловитов дожил до Великого Октября и был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости. Витте умер раньше и не узнал о своем предсказании. Имя Щегловитова забыли, сейчас вытащили, чтобы напомнить о садизме большевиков.

Но вернемся к тем перестановкам, которые вели империю к краху.

Так как министр внутренних дел Дурново был связан с Треповым, проводившим политику царя, то, казалось, он так и останется на своем посту. Но произошло нечто неожиданное.

Вначале царь пожелал, чтобы тот действительно остался. Дурново был рад. Его жена поделилась новостью с женой Витте: теперь она едет на Аптекарский остров осматривать дачу министра внутренних дел, так как они намерены в самом непродолжительном времени туда переехать. Но через два дня последовал указ об увольнении Дурново, император повелел выдать освобожденному от должности 200 тысяч рублей.

То был последний приз Петра Николаевича Дурново, который уже имел награды: он стал статс-секретарем, дейст-

вительным тайным советником, членом Государственного совета, его дочь стала фрейлиной.

На место Дурново пришел Петр Аркадьевич Столыпин, считавшийся порядочным губернатором и в высших кругах порядочным человеком. Сам Витте был даже рад такому повороту событий, но потом признал, что все больше разочаровывался в Столыпине.

«Что он был человек мало книжно образованный, без всякого государственного опыта и человек средних умственных качеств и среднего таланта, — писал он, — я это знал и ничего другого не ожидал, но я никак не ожидал, чтобы он был человек настолько неискренний, лживый, беспринципный, вследствие чего он свои личные удобства и свое благополучие, и в особенности благополучие своего семейства и своих многочисленных родственников поставил целью своего премьерства».

Столыпин сразу вошел в роль. Он принимал участие в разгоне 1-й Государственной думы, хотя и боялся повторения революционных событий 1905 года. Столыпин спрашивал местных начальников полиции: не произойдет ли смятение наподобие московских в случае этого разгона? Он узнавал по телефону у Рейнбота, московского градоначальника, не случится ли в Москве новая революция?

Думу разогнали. Столыпин укреплял свои позиции вместе с новым правительством. Укрепляли позиции и его близкие. Известно, что Столыпин хотел назначить обер-прокурором князя Оболенского, который состоял с ним в близком родстве, но государь на это назначение не согласился.

Покушение на Столыпина на Аптекарском острове произвело на него ошеломляющее впечатление. Либерализм, которого он придерживался во время 1-й Государственной думы, послуживший мостом к председательскому креслу, начал таять, и в последние годы своего управления Столыпин насаждал в России террор, в государственной жизни стали нормой произвол и полицейская слежка.

После взрыва на Аптекарском острове он высказывал соображения, которые противоречили прежним его заявлениям, в бытность Столыпина предводителем дворянства в Ковно, губернатором в Саратове. «Да, это было до бомбы

Аптекарского острова, а теперь я стал другим человеком», — отвечал он на упреки.

Если перелистать воспоминания лиц, имевших непосредственное отношение к управлению государством в те годы, то все отмечают, что ни в какие времена самодержавного правления не было столько произвола, сколько при Столыпине во всех отраслях государственной жизни. По мере того как он входил во вкус полицейских мер, он применял их не только в отношении лиц, которых считал вредными для государства, но и против тех, кого полагал просто недоброжелателями, разрешая использовать жестокие и коварные приемы.

Столкновение Витте и Столыпина, вся их переписка ярко свидетельствуют о том, что Столыпин, под контролем которого находилось полицейское ведомство, погружался в бездну беззакония. Он покрывал убийц, не ведая, что сам падет от руки той же тайной полиции, которую защищал и не давал в обиду. Финал его жизни был закономерным.



Из воспоминаний графа С.Ю.Витте:

«Разве только эти дела имели место в его управление? В его управление не только убивали лиц, которые по тому или иному поводу были неудобны, когда они принадлежали к тем сословиям, т.е. толпе, за которые никто вступить не может или не посмеет, но даже подобные убийства практиковались и в отношении тех лиц, которые по своему положению могли бы иметь какую-нибудь защиту, но все-таки таковой не находили...»



В последние годы, восстанавливая историю, замызганную и переписанную слугами правящих господ, говорят о новом якобы видении деятельности Петра Столыпина, не вспоминая, что он был руководителем и вдохновителем тайного сыска империи, его многочисленных провокаций и гнусностей.

Вернемся хотя бы к тому, как «работал» Азеф, чья информация была богата рекомендациями и представляла ценность, ибо верхи хотели знать, что думают и как намерены

действовать оппозиции и революционные группы. Чуть ли не ежедневно Герасимов докладывал об этом Столыпину, который оценил важность получаемой информации.

— Откуда у вас такой источник? — поинтересовался он как-то у Герасимова, и тот был вынужден подробно рассказать об Азефе, о его прошлом и нынешнем положении в партии социал-революционеров.

— Что ж, вы нашли хорошую фигуру, — похвалил полицейского Столыпин.

Теперь при каждом отчете он сам выпрашивал о подробностях сообщений Азефа и порой, когда нуждался в дополнительных конкретных сведениях, просил уточнить их у агента. Однажды Петр Аркадьевич признался Герасимову, что хотел бы встретиться с Азефом, чтобы в личной беседе досконально узнать о настроениях и взглядах в революционной среде. Герасимов обещал организовать такую встречу, но она так и не состоялась. Можно предположить, что Герасимов откладывал ее намеренно, не желая выпускать из своих рук «жар-птицу»; по вполне понятным причинам он жаждал оставаться в роли посредника, а не быть отодвинутым в сторону.

Когда эсеры решили усилить деятельность Боевой организации, то на повестку дня был вынесен вопрос о расправе над Столыпиным, его ликвидация не вызывала сомнений, члены организации считали, что именно он — противник соглашения правительства с Думой.

Как должен был поступить Азеф, ставший в это время руководителем Боевой организации? Выполнять решение, сводить счета со Столыпиным или разваливать организацию, предпочитая товарищам заочную дружбу с премьер-министром? Хитрец выбрал самый удачный вариант и сообщил о нем Герасимову. Тот поразился, но решил поддержать.

— Моя идея состоит в том, чтобы все убедились в невозможности дальнейшего террора, — говорил Азеф Герасимову. — Боевая организация будет работать, как машина на холостом ходу, с большим напряжением, но с низкими результатами. У боевиков должно появиться ощущение, что они совершают нечеловеческие усилия, но все их попытки наталкиваются на стену принятых полицией мер, которую,

оказывается, преодолеть невозможно. Они поймут, что я прав, — от террора надо отказаться и распустить Боевую организацию.

Герасимову план понравился, он усилил его, внеся необходимые детали. Потом доложил о нем Столыпину.

Тот заколебался, хотя и расспросил Герасимова даже о мелочах, понимая, что ввязывается в сложную игру, — он рисковал головой.

— Никаких осечек не будет, — уверял его Герасимов. — Вы даже себе не представляете, какая дисциплина у этих эсеров. Ни один член Боевой организации не выступит самостоятельно, без санкции руководителя. А Азеф ее не даст. Да, за вами установлено наблюдение, но знайте, что наблюдатели ведут его без оружия и никогда не идут на теракты. В свою очередь, я усилю вашу охрану. Таким образом мы подчиним своему контролю всю организацию...

— А если я откажусь от этого плана? — спросил Столыпин после нескольких минут раздумья.

— Мы хотим контролировать все действия боевиков, — напомнил Герасимов. — В противном случае они будут действовать самостоятельно, и трудно предсказать, чем это кончится. Вы должны решиться на этот шаг, Петр Аркадьевич, — убеждал Герасимов министра.

И Столыпин согласился, что лучший выход — твердый контроль над боевиками.

Теперь Азеф направлял наблюдателей по ложному пути — они нередко караулили министра там, где он не бывал. Когда длительная слежка за тем, поехал ли Столыпин к государю или в Думу, заканчивалась безрезультатно, взвинченные боевики пытались проявить самостоятельность, но Герасимов их спугивал, усиливая охрану и посылая на дежурство «брандеров» — неумелых филеров, появление которых мог сразу же заметить опытный подпольщик.

«Для этой цели у нас имелись особые специалисты, — вспоминал Герасимов, — настоящие михрютки: ходит за кем-нибудь впритык, можно сказать, носом в зад ему упирается. Разве только совсем слепой не заметит. Уважающий себя филер на такую работу никогда не пойдет, да и нельзя его послать: и испортится, и себя кому не надо покажет».

Иногда до Азефа доходили сообщения: наших засекали. Тогда принималось решение: бросать все и думать только о спасении людей. «К черту лошадей, экипажи, квартиры!» — говорил провокатор.

Боевики никак не могли подобраться к Столыпину. Не без «помощи» Азефа, конечно. Но никто в партии, в ее центре и Боевой организации не знал и не ведал, что ими руководит предатель!

Каждый раз, когда случался взрыв и приходилось убежать, большей частью в соседнюю Финляндию, собираться там, чтобы обсудить провал операции и разобраться в подробностях происшедшего, невольно приходили к мысли: неудача случайна, и если бы не бегство, то последствия были бы намного хуже. Но никого не арестовывали, и эсеры успокаивались, принимались разрабатывать новые прожекты.

Азеф убеждал их, что старыми методами действовать уже невозможно.

— Полиция слишком хорошо изучила все наши приемы. Ничего удивительного: ведь у нас все те же извозчики, торговцы, которые фигурировали еще в деле Плеве. Нового совсем нет — при старой технике ничего и не придумаешь нового. Тяжело это признавать, но приходится...

Шло время: дни, недели, месяцы.

Таких потрясений как в 1905 году не было, рабочее движение шло на спад. Все больше на этом фоне вырисовывалась мрачная фигура Столыпина, который становился вдохновителем реакции, все более ненавистным широким массам. От него мечтали избавиться.



То, что не дал сделать Азеф своим боевикам, сделали «максималисты», групп эсеров, отделившаяся от партии социал-революционеров. В отличие от своих прежних единомышленников, они не признавали методы Боевой организации, не вели наблюдений, длительной подготовки к акциям. Действовали неожиданно, нанося резкие удары. Так они организовали взрыв на Аптекаарском острове в Санкт-Петербурге, из-за которого погибло много невинных людей, но Столыпин не пострадал: взрывы лишь задели его кабинет.

Азеф узнал об этом в Финляндии. Он оторопел. Он был в панике. Таким подавленным и растерянным его еще не видели боевые товарищи. Хмурый пришел он в лабораторию Боевой организации.

— На вас лица нет, — заметила Валентина Попова из группы боевиков. — Николай Николаевич, вы, наверное, сокращаетесь, что все сделали без вас? Но министр жив. Вся работа еще впереди.

Азеф сидел молча, нервно перелистывая железнодорожный справочник. Хотел ночевать, но потом раздумал и ушел на станцию.

Провокатор ехал объясняться со своими покровителями.



Причины растерянности Азефа были понятны. Он опасался, что Столыпин и Герасимов примут покушение за акцию Боевой организации, за безвредность которой ручался. Боялся он и того, что, начав аресты, полиция, не зная истинных виновников взрыва, потеряет голову и начнет брать членов организации, которых выдавал Азеф, провалит его в глазах товарищей.

В Петербурге он начистоту объяснился с Герасимовым.

— Теперь вы понимаете мое положение, — закончил свой рассказ Азеф на конспиративной квартире. — Что мы, и в первую очередь я, не имеем никакого отношения к действиям «максималистов».

— Я верю вам, — ответил Герасимов. — Но мы должны сделать так, чтобы и нам поверили. Имею в виду в первую очередь Петра Аркадьевича — он же вначале принял за истину наши планы.

И Азеф сдает полиции «максималистов». Сначала говорит то, что помнит, позже то, о чем узнает специально. Все сведения, собранные с огромным старанием, поступают в охранку.

Интересно, что Азеф добивается от Центрального комитета официального заявления о непричастности партии эсеров к этому покушению, чем вводит своих сторонников в некую растерянность. Подобного прежде не бывало, и вот вам колебания в руководстве. «Нас могут не понять», — говори-

ли ему товарищи. «Если вы не собираетесь писать заявления, я напишу его сам», — был ответ Азефа.

Этот документ чуть ли не единственный, написанный Азефом. Раньше он не оставлял таких следов, теперь его вынудила так поступить ситуация. Он знал, что шутки с тайной полицией, с самим Столыпиным, могли кончиться для него очень плохо.

Между тем ссылки на «максималистов» были и не нужны. Те выпустили прокламацию, в которой открыто признали свои действия и не скрывали, что были организаторами покушения на ненавистного министра внутренних дел.

После неудавшегося покушения на Столыпина произошли важные события. Государь еще верил ему и предложил переехать в Зимний дворец. Столыпин жил там, нигде не показываясь, разве что совершая нерегулярные поездки в Петергоф к Николаю II. Но эти выезды тщательно продумывались и охранялись, боевики не могли добраться до Столыпина. Паровой катер подавали к Зимнему дворцу, на Лебяжью канавку, и для того, чтобы оказаться на суденышке, Столыпину надо было только перейти узенький тротуар.

Боевики продолжали наблюдение. После их докладов Савинков предложил забросать катер бомбами, когда Столыпин будет проезжать под одним из мостов. Но выяснилось, что мосты охраняются, катер мчится на полной скорости, — попасть в него при таких условиях маловероятно.

Савинков не унывал.

— Мы можем поразить вешателя открыто в тот момент, когда он будет подходить к катеру.

— Не получится, — горячился Азеф. — Охрана у министра многочисленная, если прорываться сквозь нее, будет целое сражение. При первых же выстрелах Столыпин вернется в Зимний дворец. Мы только потеряем людей...

Так рушились все прожекты.



Разгорелись многочисленные споры. Эсеры выступали и против Азефа, и против его методов борьбы. Казалось, авторитет опытного подпольщика рушится.

Со своими личными врагами в партии Азеф расправлялся обычным способом — с помощью полиции. Он их предал.

Валентина Попова позже вспоминала, как прощалась с Азефом после его болезни. Когда опасность для жизни больного миновала, она пришла к Азефу, он показал на ящик маленького столика возле кровати и сказал хрипло, с трудом:

— Там два женских паспорта, один вы можете взять, — выберете себе, какой более подходит.

Попова взяла паспорт на имя Анны Казимировны Янкайтис, не подозревая, какую опасность представляет «товарищеская» услуга Азефа. Она простилась, чувствуя на себе упорный, гнетущий взгляд товарища по партии. В нем читалось какое-то недовольство и раздражение. «Неужели он так нервничает из-за того, что мы не признали его аргументов и без него решаемся продолжать работу?» — подумалось ей.

«Товарищескую» услугу оказал Азеф и другим членам вновь создаваемого Боевого отряда. Список выданных паспортов передал Герасимову.

— Как вы думаете, смогут они добиться своей цели? — спросил Герасимов Азефа во время очередной встречи, имея в виду убийство Столыпина, но не называя вещи своими именами.

Азеф его понял.

— Когда-нибудь, наверное, добьются, слишком уж рьяно они его преследуют.



ВЫСТРЕЛЫ БОГРОВА

Тайна убийства председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина, занимавшего пост министра внутренних дел и шефа жандармов, так и осталась нераскрытой. Убрала ли его охранка? Расправились ли с ним революционеры в ответ на репрессии, проводимые властями? Был ли это заговор верхов, который так же, как и покушение на графа Витте, проходил с молчаливого согласия государя?

Вопросов много, а ответа нет. Так и не обнаружили истину авторы многочисленных изданий. Не нашли ее и историки, в руках которых оказались, уже в советское время, архивы прежней власти. Как любое громкое убийство, оно оказалось скрытым завесой таинственности.

Морозова считала, что в данном случае все причины взаимосвязаны. «Столыпин уже не устраивал царя, Николай был готов от него избавиться, и это ощущало окружение, — говорила она. — Революционеры мечтали ему отомстить за виселицы и расстрелы без суда и следствия. Полиция, начальствующая верхушка которой увязла в интригах, а низшие чины — в различных нарушениях, оказалась неспособной бороться с терроризмом. На должность министра внутренних дел, кроме того, зарились и другие кандидаты. Вот все и сошлось».

После роковых выстрелов, вспоминала Морозова, все почему-то грешили на эсеров, но те от своей причастности к убийству Столыпина отмежевались, сделав официальное заявление. Выходит, убийца был одиночкой.

Столыпин был смертельно ранен 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре. Стрелял в него Мордка Богров, вошедший в историю под именем Дмитрия Богрова.



Замах на Столыпина, как уже говорилось, был сделан эсерами, а точнее «максималистами», отколовшимися от них, 12 августа 1906 года.

Министр внутренних дел вел прием посетителей на своей даче на Аптекарской набережной в Петербурге, когда к зданию подъехали карета и ландо, запряженные отменными лошадьми. Это было после трех часов послеполудня, посетители еще ждали приема.

Вышедшие из кареты мужчины — один во фраке, двое в форме жандармских офицеров, направились к дому. Шедший первым жандарм держал в руке большой портфель, он же объяснил швейцару, что прибыл к министру по крайне важному делу.

Швейцар, преградивший дорогу, объяснил, что запись на прием кончилась и потребуется еще не менее двух часов для тех, кто ждет в очереди.

— Вам надо обождать, господа, — твердил он.

Пришедших это разозлило. Человек во фраке резко оттолкнул швейцара, этим воспользовались жандармы, которые побежали к двери, ведущей через коридор к кабинету министра. Наперерез им бросился агент охранного отделения Горбатенков, дежуривший на даче Столыпина. Его смутило, что жандармы не сохранили присущей им степенности, он отметил нервозность их поведения. А Горбатенков был сотрудником опытным, не раз принимавшим участие в задержании революционеров.

Перехватив портфель, Горбатенков предложил всем троим пройти в дежурную комнату. Появился агент охраны Мерзликин, помогавший Горбатенкову.

Все эти действия были установлены следствием, но то, что произошло дальше, так и не зафиксировано. То ли неизвестный во фраке нарочно бросил портфель, в котором была бомба, то ли уронил его в схватке с агентами, сказать трудно. Раздался мощный взрыв в доме, а буквально через се-

кунду еще два у подъезда: сдетонировали и взорвались бомбы в ландо, где затаились эсеровские боевики, прикрывавшие покушавшихся на Столыпина.

Первый взрыв разрушил часть дома. Было убито 24 человека, 25 ранено. В числе раненых — сын и дочь Столыпина.

После этого случая охрана министра внутренних дел была усилена. И не зря — попыток покушения на Столыпина было еще несколько, но все они остались безрезультатными.



Усиленная охрана стягивалась и в Киев, где в начале сентября 1911 года намечалось открытие памятника императору Александру II. На официальные торжества ожидалось прибытие Николая II со всей свитой, и тайная полиция загодя готовилась к этому событию.

Общее руководство охраной царя и свиты было возложено на товарища министра внутренних дел, командира корпуса жандармов генерала П.Г.Курлова, который и появился в Киеве с двумя помощниками — статским советником М.Н.Веригиным и полковником А.И.Спиридовичем. Содействие им оказывал начальник киевской охранки подполковник Н.И.Кулябко.

Маленькая деталь: полковник Спиридович считался опытным охранником, в свое время работал в Киеве и, уезжая в столицу, передал свой пост Кулябко, который вместе с ним окончил Павловское военное училище и был женат на его сестре.

На организацию охраны ассигновали кредит в 300 000 рублей. Киев очищали от подозрительных элементов, проверяли политическую благонадежность проживающих вдоль предполагаемого проезда императора. В помощь местной полиции были командированы сотрудники центрального филерского отряда и около двухсот жандармов. В окрестностях города были задействованы войска, а в самом Киеве организована «народная охрана», состоящая из нескольких тысяч членов черносотенных союзов. Особое внимание уделялось охране Николая II, но и дом генерал-губернатора, где

должен был остановиться Столыпин, взяли под усиленную охрану. На внутренних лестницах стояли агенты, во всех коридорах находились сотрудники в штатском.

Казалось, все было предусмотрено до мелочей. Но два выстрела все же прозвучали, и вся система безопасности высших сановников, возведенная полицией и корпусом жандармов, рухнула, как карточный домик.



Причина первая, названная Морозовой: царь хотел избавиться от Столыпина.

В августе в Крыму, накануне события, царь прогуливался по дорожкам Ливадийского дворца. В этот момент начальник его личной секретной полиции полковник А.И.Спиридович проверял посты охраны. Царь его заметил:

— Александр Иванович! Не возражаете, если мы с вами вместе погуляем?

Спиридович почтительно остановился.

— Мне хотелось бы с вами кое-что обсудить, — сказал Николай II. — Не могли бы вы пояснить мне, чему в последнее время симпатизирует Столыпин? Ко мне поступают самые разноречивые сведения о его симпатиях, думаю, и в вашей комнате накопилось немало интересного...

Спиридович понял: царь говорит о материалах, которые накапливались в помещении его личной секретной службы, в обиходе именуемой «комнатой провокаторов». Туда стекались сведения, полученные не только официальным путем, но и от агентуры.

Полковник не мог не рассказать о последней информации, поступившей в «комнату провокаторов», о карточной игре в Английском клубе в Петербурге, в которой участвовали Столыпин, Гучков, Бобринский и еще один человек, пользующийся доверием Столыпина. Столыпин жаловался, что, несмотря на свое высокое положение, не чувствует себя уверенно и прочно. «В любой момент государь может прогнать меня, как лакея, — вырвалось у него. — В Англии, где существует конституционная монархия, ничего подобного с премьер-министром произойти не может. Избавить от поста вправе только парламент».

Спиридович замолчал. Молчал и царь. Он больше любил слушать, чем говорить, и окружение хорошо об этом знало.

— Я слушаю вас, Александр Иванович, — сказал, наконец, Николай II. — Продолжайте.

— Так вот, зашел разговор и о развитии России. Гучков убеждал, что затишье в империи ненадолго, что лучше бы, не ожидая новой бури, которая сметет монархию, проделать все сверху, превратив Думу в парламент по английскому образцу. Бобринский заметил, что настоящий царь в России сегодня Столыпин, и обратил внимание на тот факт, что именно он сумел железной рукой усмирить смуту.

— А что же Петр Аркадьевич? — спросил царь.

— Промолчал, ваше величество.

Царь вздохнул и спокойным тоном заметил:

— Вот видите, как все просто. А я все думаю, почему же Петр Аркадьевич таким тоном разговаривает со мной, предъявляет ультиматум: если я не введу земства в западных губерниях, то он намерен выйти в отставку. Требуется распустить Государственную думу и Государственный совет, отказавшихся утвердить его предложения. Неужели он действительно думает об усилении своей власти?

Спиридович, желая смягчить впечатление, заметил, что разговор был во время выпивки, когда порой допускаются вольности.

— Нет, позвольте, Александр Иванович, — возразил Николай II, — у государственного мужа такие слова не должны слетать с языка никогда... — Помолчав, он добавил: — А мне не везет на премьер-министров. Витте оказался больше француз, чем русский, Столыпин больше англичанин, к тому же, видите, и сторонник конституционной монархии...

Эта беседа проливает свет на весьма существенную деталь: отношения между царем и Столыпиным были натянутыми. Подтверждают это и другие факты. Даже придворная челядь вела себя в Киеве так, что по ее поведению можно было понять: Столыпин попал в опалу. Столыпин знал это и говорил друзьям о своей неминуемой отставке.

В воспоминаниях Витте мы находим: «Кстати, я слышал из достоверных источников, что государь не мог простить

Столыпину того издевательства, которое он над ним совершил, представив ему свою отставку вместе с кондициями...»

Когда Столыпин лежал раненный в больнице доктора Маковского, царь дважды навестил его. Однако на похороны не пошел, еще до похорон уехал в Крым.

Государственный совет после выстрелов в Киеве провел расследование деятельности должностных лиц, усмотрев в их поступках «бездействие власти, а также создание угрозы жизни государя и его семьи», обвинив конкретных лиц, но царь их всех простил. Об этом мы еще скажем. Все казнокрады и авантюристы вышли из воды сухими — такова была монаршая воля.

Назначая В.Н.Коковцова председателем Совета министров, Николай II сказал новому премьер-министру: «Надеюсь, вы не будете меня заслонять так, как это делал Столыпин?»



Казалось, все предусмотрела охранка для защиты высоких особ, но казус все же случился. И произошел он накануне торжеств.

В киевскую охранку доставили подозрительного человека. Ожидая приезда царя, сомнительных лиц хватали для проверки — обычная вроде история, но конец ее был неожиданным. Не успели задержанного допросить, как он выхватил револьвер и на глазах изумленных охранников застрелился.

Кулябко был зол на подчиненных, допустивших оплошность в столь ответственный момент, да еще при столичных гостях.

Спиридович успокоил родственника:

— Ничего, в жизни все случается. Молись Богу, что тем все и обошлось...

Обед, на который Кулябко пригласил коллег, не отменили. Правда, настроение у жандармов было пакостное под впечатлением самоубийства неизвестного, особенно после фразы, сказанной низшим чином: «Не к добру это!» Думали о предстоящих торжествах и хлопотах, связанных с ними.

В конце обеда, за десертом, Кулябко сказал присутствующим:

— Ко мне пожаловал очень серьезный господин и мне хотелось бы, чтобы вы послушали, что он скажет...

— Кто он? — спросил Спиридович.

— Агент Аленский, — был ответ.

С этого и начинается киевская трагедия, в которой главная роль отведена молодому человеку, пришедшему на квартиру Кулябко. Последний представил его гостям как присяжного поверенного Дмитрия Григорьевича Богрова.

— Господа, я хотел бы поведать вам весьма интересную историю... — начал тот и замолчал, не зная, стоит ли откровенничать при таких гостях.

— Говорите, — сказал Кулябко Богрову, — от этих людей нет и не может быть никаких секретов. Положитесь на меня.

— Извините, но я настаивал на встрече потому, что меня смущают поступки некоторых опасных лиц, — продолжил Богров, — иначе я не смел бы потревожить вас в столь ответственный момент.

То, что агент имел в виду не обед, а другое событие — приезд в Киев государя, охранники поняли сразу. Они молча смотрели на пришедшего.

— Так вот, господа, — продолжал Богров, — расскажу все по порядку. Год назад, выполняя задание начальника Петербургского охранного отделения полковника фон Коттена, я завязал знакомство с неким Николаем Яковлевичем через тамошнего журналиста Лазарева и присяжного поверенного Кальмановича. Я уже о них позабыл, если бы не случай. Явился ко мне недавно личной персоной Лазарев и попросил оказать любезность: подыскать в Киеве спокойную квартиру и лодку для катания по Днепру. Просьба не ахти какая сложная, но в связи с приездом в город государя... Вот я и решил доложить...

Жандармы опешили. Информация была срочно передана генералу Курлову, который тотчас распорядился запросить петербургскую охранку о связях Богрова. Ответ последовал незамедлительно: находившись в столице, Богров действительно встречался с Лазаревым и Кальмановичем.

— Надо искать этого Николая Яковлевича, — заключил Курлов и велел установить наблюдение за домом Богрова, где тот должен будет появиться.

31 августа позвонил сам Богров и сообщил, что ночью приехал Николай Яковлевич и остановился у него на квартире.

Кулябко обрадовался:

— Пташка прилетела. А видели ли ее филеры?

Ответ был отрицательным.

— Спят, небось, собаки! — разозлился Кулябко и приказал ротмистру, занимавшемуся наружным наблюдением: — Чтоб глаз с квартиры Богрова не спускали!

Кулябко разнес подчиненных в пух и прах, узнав, что наблюдение действовало лишь днем.

— Соображать надо, тупицы! Воры и злоумышленники шастают по ночам, а не днем. Усилить наблюдение! И чтоб комар не пролетел!

Информацию, полученную от Богрова, он передал Спиридовичу: имеются подозрения, что на Столыпина или министра просвещения Л.А.Кассо готовится покушение. Передал и просьбу Николая Яковлевича к Богрову: достать билет на гулянье в Купеческом саду, где будут присутствовать министры. И его не смутила фраза, сказанная Богровым: дескать, Николай Яковлевич просил еще точные приметы министров.

Кулябко приказал послать Богрову билет на гулянье в честь царя — пусть наведет справки о министрах, а охране передаст описание приезжего господина.

Деталь, которая позже удивит исследователей и историков, — для чего же было узнавать приметы Столыпина и Кассо, если они были хорошо известны и их фотографии публиковались в газетах? Сам Кулябко не задался этим вопросом.

Поздно ночью Богров пришел на квартиру Кулябко и принес письменное донесение: у приезжего Николая Яковлевича в багаже два браунинга; приехал он с девицей Ниной Александровной, у которой, по предположению, имеется бомба. В разговоре Николай Яковлевич намекал на своих высоких покровителей.

— Как это понимать? — спросил Кулябко у агента.

— Как желаете, — ответил Богров. — Имен он не называет, но ясно, что информаторы у него имеются.

Новость привела Кулябко в трепет. Он помчался к Спиридовичу.

Дальнейшие события киевской трагедии восстановлены чуть ли не по минутам.

В шесть часов утра 1 сентября Кулябко сделал доклад генерал-губернатору Ф.Ф.Трепову, а в десять часов — Курлову. Курлов поспешил к Столыпину и предупредил своего начальника об опасности.

Столыпин внимательно выслушал подчиненного.

— Все это несерьезно, — ответил Столыпин. — Даже если бы вы нашли у кого-то бомбу, я бы этому не поверил. При такой охране! Нет, это немыслимо!

А в это время Богров сообщил Веригину, чиновнику для особых поручений МВД, который остановился в номере гостиницы «Европейская»: свидание террористов назначено вечером на Бибиковском бульваре.

Веригин поторопился к Курлову. Все официальные лица пришли в движение. Позже станет ясно, что Богров намеренно «повысил» их активность.

В три часа дня Курлов провел совещание, на котором обсуждалась полученная информация. Он удивился, что план злоумышленников так резко изменился, и высказал предположение: от агента Аленского многое скрывается, цель террористов, несомненно, состоит в том, чтобы втянуть агента в теракт с мыслью повязать его преступлением.

Собравшиеся с ним согласились, потому и решили: хватать террористов на бульваре, как только Богров подаст условный знак. В том, что действует целая группа террористов, уже никто из высших чинов полиции не сомневался.

Сопровождаемый свитой, Николай II вернулся к обеду с маневров, чтобы к четырем часам отбыть на ипподром, где должны были состояться смотр потешных, а затем и скачки на императорский приз. Скачки закончились в восемь часов вечера. После этого император приехал в городской театр, где давалась опера.

Столыпин, несерьезно воспринявший информацию о готовящемся покушении, тем не менее приехал к боковому подъезду театра на автомобиле, а не конным экипажем, как намечалось ранее. Это, пожалуй, была единственная мера предосторожности, предпринятая охраной.

Когда гости вошли в театр, губернатор А.Ф.Гирс облегченно вздохнул. Он полагал, что внутри ничего не случится, ибо здание театра было напичкано агентами и сотрудниками тайной полиции, не говоря уже о жандармах.

— За театр можно быть спокойным, — сказал он громко, — билеты выданы людям надежным...

Выдали билет и Богрову. Причем это сделала сама охранка. Позже долго выяснялось, как это могло произойти, если агентам секретной службы по инструкции запрещалось находиться возле царской особы и билеты не были выданы многим официальным лицам. Кулябко утверждал, что билет Богров получил с разрешения Курлова. Курлов сей факт отрицал. Кулябко оправдывался тем, что, возможно, сам превратно истолковал приказ своего начальника.

Но мы знаем, как он проинструктировал своего агента:

— Вы должны в случае опасности предупредить жандармов. Как подать знак, вы уже знаете.

— Постараюсь не подвести, — заверил Богров.

Билет № 406 на проход в театр он получил за час до начала спектакля. Он вошел в здание, а потом из него вышел. Обратная наружная охрана Богрова в театр не пустила. Такова была инструкция: «Прекратить допуск всех лиц во время спектакля». Курлов, взяв агента под руку, сам провел его в здание, не зная, что ведет убийцу к месту преступления. Богров, как выяснилось, выходил, чтобы побывать на своей квартире и проверить, что делают его гости.

— Они дома, — доверительно сообщил он Кулябко, и тот, ведя Богрова в зал, успокоился: террористы в театр не попадут.

— Вот и ладненько, — в голосе Кулябко прозвучали веселые нотки.



Высокие чины полиции и отдельного корпуса жандармов вышли посовещаться в фойе. Все было спокойно.



А Богров уже находился в партере.



Возможно, он и колебался, хотел избежать теракта и до последнего момента был, видимо, в нерешительности: стрелять или не стрелять?

Морозова утверждала: оставив театр, чтобы побывать на квартире и якобы проверить, там ли выдуманные им персонажи, он вообще хотел выйти из игры. Возвращаясь, он знал, что охрана в театр его не пропустит. Но судьба вела его к роковому концу, и игра, придуманная им, превращалась в реальную трагедию. На ступеньках театра его встретил Курлов, который ждал Богрова, чтобы провести в театр.



Я полагаю, что Морозова была права. Ведь сам Богров сказал на следствии: «Если бы меня кто-то позвал, я бы от своей мысли отказался».

Никто его не позвал. Никто не остановил.

Свидетелем тех событий стал писатель Константин Паустовский, рассказавший о них в книге «Далекие годы».

«В оперном театре был торжественный спектакль в присутствии Николая. На этот спектакль повели гимназисток и гимназистов последних классов всех гимназий.

Повели и наш класс.

Служебными темными лестницами нас провели на галерку.

Галерка была заперта. Спуститься в нижние ярусы мы не могли. У дверей стояли любезные, но наглые жандармские офицеры. Они перемигивались, пропуская хорошеньких гимназисток.

Я сидел в заднем ряду и ничего не видел. Было очень жарко. Потолок театрального зала нависал над самой головой.

Только в антракте я выбрался со своего места и подошел к барьеру. Я облокотился и смотрел на зрительный зал. Он был затянут легким туманом. В тумане этом загорались разноцветные огоньки бриллиантов. Императорская ложа была пуста. Николай со своим семейством ушел в аванложу.

Около барьера, отделявшего зрительный зал от оркестра, стояли министры и свитские.

Я смотрел в зрительный зал, прислушиваясь к слитному шуму голосов. Оркестранты в черных фраках сидели у своих пюпитров и, вопреки обычаю, не настраивали инструментов.

Вдруг раздался легкий треск. Оркестранты вскочили с мест. Треск повторился. Я не сообразил, что это выстрелы. Гимназистка, стоявшая рядом со мной, крикнула:

— Смотрите! Он сел прямо на пол!

— Кто?

— Столыпин. Вон! Около барьера в оркестре!

Я посмотрел туда. В театре было необыкновенно тихо. Около барьера сидел на полу высокий человек с черной круглой бородой и лентой через плечо. Он шарил по барьеру руками, будто хотел схватиться за него и встать.

Вокруг Столыпина было пусто.

По проходу шел от Столыпина к выходным дверям человек во фраке. Я не видел на таком расстоянии его лица. Я только заметил, что он шел совсем спокойно, не торопясь.

Кто-то протяжно закричал. Раздался грохот. Из ложи бенеуара прыгнул офицер и схватил молодого человека за руку. Тотчас вокруг них сгрудилась толпа.

— Очистить галерку! — сказал у меня за спиной жандармский офицер.

Нас быстро прогнали в коридор. Двери в зрительный зал закрыли.

Мы стояли, ничего не понимая. Из зрительного зала долетал глухой шум. Потом он стих, и оркестр заиграл «Боже, царя храни».

— Он убил Столыпина, — сказал мне шепотом Фицковский.

— Не разговаривать! Выходи немедленно из театра! — крикнул жандармский офицер.

Теми же темными лестницами мы вышли на площадь, ярко освещенную фонарями.

Площадь была пуста. Цепи конных городских оттеснили толпы, стоявшие возле театра, в боковые улицы и продолжали теснить все дальше. Лошади, пятясь, нервно перебирали ногами. По всей площади слышался дробный звон подков.

Пропел рожок. К театру размашистой рысью подкатила карета «скорой помощи». Из нее выскочили санитары с носилками и бегом бросились в театр.

Мы уходили с площади медленно. Мы хотели увидеть, что будет дальше. Городовые торопили нас, но у них был такой растерянный вид, что мы их не слушались.

Мы видели, как Столыпина вынесли на носилках. Их задвинули в карету, и она помчалась по Владимирской улице. По сторонам кареты скакали конные жандармы.



А вот воспоминания Кулябко: «...мы услышали крики и треск. Первое впечатление было, что рухнул театр от перегрузки. Под этим впечатлением я и генерал Курлов бросились в зрительный зал».

Их опередил Спиридович, который отмечал: «Я вбежал в зал, по стульям добежал до министра Столыпина, бросился к схваченному преступнику и замахнулся на него саблей...»

Киевский губернатор А.Ф.Гирс описал событие, которое сопровождалось криком и шумом: «Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что случилось. Он склонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны под грудной клеткой уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто опустился в кресло, и ясно и отчетливо, голосом слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес: „Счастлив умереть за царя“».

Рядом со Столыпиным стояли оцепеневшие у барьера оркестровой ямы министр двора барон В.Б.Фредерикс и граф И.Потоцкий, земельный магнат.

Публика закричала и бросилась на Богрова. Жандармский подполковник А.А.Иванов каким-то образом вырвал убийцу из толпы и перекинул его через барьер.

Кулябко уже вбежал в зал и прорвался к барьеру. Лицо его было пунцовым, как после хорошей бани. «Это Богров!» — выдавил он.

Получив приказание, ротмистр П.Т.Самохвалов помчался с группой жандармов к дому Богрова, чтобы арестовать Николая Яковлевича и его спутницу. Филеры были на посту. «За мной!» — приказал Самохвалов, вынимая револьвер. Но квартира, в которую ворвались жандармы, была пуста. Все двенадцать комнат — ни одной души.

— Где террористы? — кричал Самохвалов.

— Он просто морочил нам голову, — спокойным тоном ответил старший филер С.И.Демидюк, самый уважаемый сотрудник у Кулябко. Еще не зная всех подробностей дела, он как профессионал сразу же сделал правильный вывод.



Кулябко, прислонившись к стене фойе, хватался за голову:

— Только одно осталось... только одно — пустить пулю в лоб!

Курлов орал на него так громко, что было слышно на весь театр.

— Хватит болтать! Усильте охрану императора! Немедленно усильте охрану!



Столыпина сразили две пули. Одна попала в руку, — вторая в грудь. В некоторых источниках я прочитал: «в печень». Первая рана, понятно, была легкой, но вот вторая...

Одна из киевских газет в те дни писала: «Все оживляются надеждой. Столыпина спас покровитель Киева и святой Руси Владимир в образе орденового креста, в который попала пуля и, разбив его, изменила гибельное направление в сердце...»

На следующее утро после покушения Столыпин велел подать ему зеркало и внимательно рассмотрел свой язык. Он улыбнулся: «Ну, кажется, на этот раз выскочу».

Он ошибся. Потребовалась срочная операция, но она не помогла. Вечером пятого сентября Столыпин скончался.



Кто же был Дмитрий Богров?

В революционной среде о нем высказывались противоположные мнения: одни его возвеличивали, другие называли провокатором.

Летом 1905 года он окончил с отличием гимназию и поступил в киевский университет на юридический факультет. Вскоре уехал учиться в Мюнхен, но через год вернулся до-

мой. Университет окончил в 1910 году, нигде не работал. Какое-то время пребывал в столице, вел адвокатский прием и, вернувшись в Киев, изредка посещал юридическую контору родственника.

В семье Богрова к самодержавию относились критически, а двоюродный брат Сергей Богров и его жена были большевиками. Отправляя сына в Мюнхен, родители стремились избавить его от революционных веяний, но именно в Германии он примкнул к анархистам, изучая труды Бакунина и Кропоткина.

В феврале 1907 года Богров предложил свои услуги охранке. Позже этот шаг объясняли его разочарованием в идеях анархизма, даже тем, что он хотел подработать, поскольку проиграл какую-то сумму во франках, а отец Богрова был скуп.

Но эти сведения лишены основания — семья Богровых была богата, владела домом на Бибиковском бульваре, который приносил солидный доход. Да и отец Богрова не был скупым, а, напротив, считался в Киеве щедрым меценатом. Дмитрий вряд ли нуждался, получая на личные расходы ежемесячно 150 рублей и ведя дела родителей, когда те выезжали за границу.

Получивший в охранке кличку Аленский, Богров не зарабатывал информацией больше той суммы, что давали ему родители, и это говорит, что сотрудничать с охранкой он стал не ради денег, не из нужды.

Спустя годы родной брат Дмитрия, Владимир, пытался объяснить его сотрудничество с охранкой стремлением проникнуть в ряды тайной полиции, чтобы потом нанести ей удар. Но документы, обнаруженные позже в архиве охранки, эти утверждения опровергают, хотя и показывают, что сведения, которые он давал охранке, были не ахти какие важные. Иной раз Дмитрий что-то и утаивал, хотя послужной список Аленского все же серьезен, в разной степени он оказался причастен к арестам более ста человек. Некоторые были высланы, иные попали на каторгу по его вине. Но странно: перебирая все эти дела, исследователи убеждались, что он вел какую-то свою игру с охранкой — скрывал одно и преувеличивал другое. Например, охранка долго «вела» Юлию Мержеевскую, которая, по словам Богрова, намеревалась

совершить цареубийство, но потом выяснилось, что она душевнобольная и все хлопоты, связанные с ней, напрасны. По этому факту подполковник М.Я.Белевцев даже заключил: «Дело было раздуто агентом для своего престижа как секретного сотрудника».

Возможно, первоначальные планы Богрова, предложившего свои услуги тайной полиции, были иными, но беда всех агентов-двойников в том и состоит, что в конце концов они запутываются в своих же сетях.

Сложности с анархистами, с которыми Богров сотрудничал, начались после провала группы в конце 1908 года. Находящиеся в Лукьяновской тюрьме анархисты передали на волю: Богров обвиняется в провокации. Но охранка постаралась, чтобы подозревавший Богрова Наум Тыш из тюрьмы не вышел. «Максималисты» из эсеровской среды подозревали его в растрате кассы группы, но и в этом случае Богрову удалось выйти из воды сухим — среди эсеров было немало подозрительных личностей, на них все и списывалось.

На допросах после убийства Столыпина Богров удивлял следователей, которые пытались и не могли понять, какие же цели преследовал этот молодой человек.

«Как получилось, что вы вновь превратились в революционера?»

«Может быть, по-вашему это не логично, — был ответ, — но у меня своя логика».

У него, действительно, была своя логика. Он стремился к славе.

Позже, рассказывая о том, как и что говорил на следствии Дмитрий Богров, очевидцы приходили к единому мнению: громкое убийство он замышлял давно.

В 1909 году в Германии он заявлял редактору анархистской газеты: «Необходимо убить Николая II или Столыпина». Год спустя он сказал: «Важнее Столыпина только царь, но до него добраться почти невозможно». К тому же периоду относится высказывание Богрова относительно премьер-министра: «Я ненавижу одного человека, которого никогда не видел... Столыпина. Быть может, оттого, что он самый умный и талантливый из них, самый опасный враг, а все зло в России — от него».

Александр Солженицын в своем романе «Август четырнадцатого» предположил, что Богров ненавидел премьер-министра за проводимую им национальную политику. По его мнению, Богров мстил за еврейский погром, прокатившийся по Киеву в 1905 году.

О погроме он помнил наверняка. Но связывал ли свой шаг с ним? В частности, на допросе он показал: «Как еврей не считал себя вправе совершить такое деяние, которое вообще могло навлечь на евреев пагубные последствия и вызвать стеснение их прав».

Речь шла о царубийстве.

Документы свидетельствуют: Богров предавал революционеров, не обращая внимания на их национальную принадлежность. И в основном евреев, которых среди киевских анархистов было немало.

Да и подверг он своих собратьев чрезвычайному риску, потому что после покушения на Столыпина евреи в страхе покидали город, опасаясь погромов. Исполняющий обязанности главы правительства В.Н.Коковцов распорядился разместить в городе два казачьих полка, за что один из депутатов Государственной думы упрекнул его: «Представлявшийся прекрасный случай ответить на выстрел Богрова хорошеньким еврейским погромом теперь пропал, потому что вы изволили вызвать войска для защиты евреев».



Богров метался и терзал себя тем, что не мог решиться на шаг, мысль о котором давно запала ему в душу. Последствия его не пугали, смерть тем более.

Он столкнулся со Столыпиным еще в Петербурге, но не был готов к убийству. Мог выстрелить в него в Киеве 31 августа, в Купеческом саду, имея браунинг в кармане, но не выстрелил. Богров выбрал место свершения трагедии в театре, где были избранные.

Покидая 1 сентября родной дом, он оставил родителям записку: «Я иначе не могу, а вы сами знаете, что два года я пробовал отказаться от старого. Но новая спокойная жизнь не для меня, я все равно кончил бы тем же, чем теперь кончаю».

Две причины могли толкнуть такого человека на трагический шаг, считала Морозова, — стремление избавиться от прошлого и желание войти в историю. Во втором случае, полагала она, так мог поступить только душевнобольной человек.

О психических отклонениях Богрова нигде не упоминается.



Вполне возможно, что, стреляя в Столыпина, Богров и не собирался его убивать. Если и думал о славе, то предполагал отделаться любым наказанием, не смертным приговором.

Когда Богрова допрашивали, премьер-министр еще был жив. Казалось, он поправится. Во всяком случае, так писали в газетах, такие ходили слухи, заполнившие город.

Но Столыпин умер, и над убийцей навис меч расплаты. Может, потому, пытаюсь выиграть время у следствия, Богров называет имена анархистов, предполагая, что следствие по его связям с ними отложит исполнение приговора, да и сам суд.

Правда, последние показания Богрова все же были проверены. Он утверждал, что на подобный шаг его толкнули анархисты и, в частности, приехавший из Парижа человек, который потребовал от него отчета в растраченных деньгах. Парижский анархист грозился ослабить его провокатором и намеревался опубликовать это сообщение в печати. По словам Богрова, это его страшно обескуражило. Он пояснил: «...у меня много друзей, мнением коих я дорожил».



Конец этой истории был стремителен. Быстрое следствие, закрытый суд, скорая казнь. Вспомним, что убийцу Великого князя Сергея Александровича, И.П. Каляева, казнили лишь через несколько месяцев, а убийцу министра внутренних дел В.К. Плеве Е.С. Созонова приговорили к каторжным работам, даровав жизнь.

Дело Богрова из окружного суда передали в военно-окружной. Мысль властей была понятна: если окружные суды

проявляли снисходительность к участникам террористических актов, то военные послаблений не давали.

Суд состоялся 9 сентября, начался в 16 часов, а закончился в 21.30. Проходил он в самой большой камере Косого Капонира Печерской военной крепости, — там были выставлены стулья и стол, накрытый красной скатертью. Суд шел без адвоката — Богров от защиты отказался.

В камере находились: министр юстиции Щегловитов, киевский генерал-губернатор Трепов, командующий войсками военного округа Иванов, киевский губернатор Гирс, комендант крепости Медер, следователь по особо важным делам Фененко, прокурор судебной палаты Чаплинский, предводитель дворянства Куракин и другие. Из свидетелей по делу суд вызвал лишь одного Кулябко, другие не приглашались. Протокола не вели — так было записано в правилах военно-окружных судов, — и в этом случае исключения не сделали. Позже, когда в 1912 году комиссия первого департамента Государственного совета расследовала деятельность должностных лиц, виновных в убийстве Столыпина, показания Кулябко восстанавливались по рассказам присутствовавших на суде.

Заслушав обвинительное заключение, показания Кулябко и самого Богрова, суд удалился на совещание. Совещались судьи минут двадцать. Потом объявили приговор: смертная казнь через повешение. Было вынесено и особое определение: преступное бездействие властей при исполнении возложенных на них обязанностей во время пребывания императора в Киеве со стороны товарища министра внутренних дел, шефа корпуса жандармов генерала Курлова, чиновника для особых поручений МВД, исполнявшего обязанности вице-директора Департамента полиции Веригина, начальника Киевского охранного отделения подполковника Кулябко и полковника отдельного корпуса жандармов Спиридовича.

Богров выслушал приговор с удивительным спокойствием. Присутствующие отметили его самообладание. Он не просил снисхождения, отказавшись от прощения царю заменить казнь другим видом наказания.



Вопреки существовавшему закону, уже после вынесения приговора Богрову было предложено ответить на ряд вопросов. Подобного в судебной практике царской России не было.

В камеру пришел жандармский офицер Иванов.

— Я рассчитываю на вашу правдивость, — сказал он приговоренному к смерти.

Возможно, Богров еще надеялся выиграть время и отсрочить исполнение приговора. Он назвал имена и клички анархистов, а также местонахождение их оружия и типографских шрифтов.

Иванов показал ему принесенные фотографические карточки:

— Может, кого-нибудь признаете?

Очевидно, кое-кого Богров признал, убедив жандарма в своей откровенности. Получив исчерпывающую информацию, тот молча вышел.

Анархиста Петра Лятковского, который, по словам Богрова, приходил к нему делегатом от находившихся в тюрьме товарищей и требовал проведение теракта, арестовали сразу же. Его допрашивали чуть ли не полгода, но ничего существенного он не сказал — видать, был третьим калачом, а обвинившего его Богрова уже в живых не было.

— Да не знаю я никакого Богрова! — утверждал он. — Не был с ним знаком и ничего о нем не слышал! Что же я могу вам рассказать?

Лятковского освободили, посчитав бесполезным проводить допросы, — фактов, уличающих его, не было, свидетели отсутствовали.

После крушения империи Лятковский все же сказал правду, хотя, возможно, и не всю. Признал, что после выхода из тюрьмы действительно встречался с Богровым и, по его словам, тот жаловался на беспочвенные подозрения, предъявляемые ему анархистами — с охранкой, мол, он не связан.

— В таких случаях единственный способ себя оправдать, — посоветовал Лятковский, — это совершить смелый поступок.

Богров намек понял.

— Как? Пойти и убить первого встречного городского? — переспросил он.

— Я не думаю, что именно так надо действовать, но реабилитировать себя в глазах товарищей надо, — ответил Лятковский.

— Хорошо, — согласился после некоторого раздумья Богров. — Осенью в Киеве будут проходить маневры, на которые приедет Николай, а с ним, понятно, и Столыпин. Вот до него я и доберусь. Связи у меня для этого есть. Вы и товарищи еще обо мне услышите...



Казнь состоялась в четыре часа утра.

Вот что писал очевидец: «К Богрову подошел палач. В этот момент Богров обратился к присутствующим с просьбой передать его последний привет родителям. Затем палач связал ему руки назад, подвел к виселице, надел на него саван. Уже под саваном Богров спросил: «Голову поднять выше, что ли?» Затем на шею Богрова была накинута веревка. Он сам взошел на табурет. В этот момент палач вытолкнул табурет из-под ног. Тело повисло. В таком положении, как требует закон, тело висело около 15 минут. Палач снял петлю. Врач констатировал смерть. Труп положили в яму, засыпали и сравняли с землей. Все это в общем продолжалось около 45 минут».



Сторонники Столыпина требовали расследования, утверждая, что убийство совершил не одиночка, а выстрелы, прозвучавшие в Киеве, лишь финал организованной провокации. Они были убеждены: в сговоре с Богровым состояли и высшие чины секретной полиции.

Николай II вынужден был назначить расследование, поручив его Государственному совету. Следствие, которым руководил сенатор В.В.Шульгин, приступило к рассмотрению дела 20 марта 1912 года. Оно и выдвинуло конкретные обвинения против Кулябко, Курлова, Спиридовича.



Из документов Государственного совета.

«I. Кулябко. Допустил Богрова в партер, не проверив, нет ли у него оружия или взрывчатого снаряда. Не учредил внутри театра охраны царской ложи. Тем самым: а) создал условия для убийства Столыпина; б) не произвел проверки заявления Богрова; в) пустил Богрова в сад Купеческого собрания, не удостоверившись, нет ли у него оружия. Оставил Богрова в саду без всякого наблюдения, чем создал угрозу жизни государя императора, находясь в ближайшем расстоянии от пути шествия государя императора.

II. Курлов. Знал, что Богров находился в сношениях с анархистами-коммунистами и не принял надлежащих мер, чем создал опасность для жизни государя и его семьи. Не поручил Кулябко установить тщательное наблюдение за Богровым, что не позволило разоблачить ложь Богрова, сочиненную им для проникновения в места посещения высочайших особ (сад Купеческого собрания и театр). 31 августа и 1 сентября 1911 года Богров, вооруженный револьвером, оба раза находился в близком расстоянии от государя императора. Бездеятельность Курлова повлекла также за собой убийство Столыпина.

III. Спиридович. Не воспрепятствовал выдаче билетов Богрову, не доложил об этом своему начальству и не учредил в театре и саду Купеческого собрания тщательного наблюдения за Богровым, не удостоверился, есть ли у него оружие или какие-либо метательные снаряды. Противозаконное бездействие власти со стороны его, Спиридовича: а) создало непосредственную, явную опасность для жизни императора; б) привело к убийству Столыпина».

Обвинялся и Веригин.

В заключении говорилось: «Вследствие сего Курлов, Спиридович, Веригин, Кулябко подлежат суду судебного присутствия уголовного кассационного Департамента правительствующего Сената с сословными представителями».



Казалось, виновники будут наказаны. Но, как в случае с графом Витте, вмешался царь. Не объясняя ничего, он написал на заключении Государственного совета: «Отставно-

го подполковника Кулябко считать отрешенным от должности. Дело об отставных генерал-лейтенанте Курлове и ст. сов. Веригине, а также о полк. Спиридовиче прекратить без всяких для них последствий».

Поразительно и другое. Николай II собирался назначить генерала Курлова на должность министра, а тут стал известен неприятный факт— выяснилось, что во время киевских торжеств генерал Курлов присвоил миллион рублей из казенных денег, и Николай II приказал отправить вора в отставку, не поднимая шума.

Потом случилась напасть и с господином Кулябко, который следовал Курлову. Уличенный в хищении средств, асигнованных на оперативные цели, он был арестован в декабре 1912 года и приговорен к заключению в крепость на 16 месяцев без лишения прав. Царь пожалел казнокрада, сократив срок заключения до четырех месяцев: «Этого вполне достаточно».

За какие же заслуги он прощал их?



ДЕЛО РОМАНА МАЛИНОВСКОГО

Он вернулся в Петроград с транспортом пленных. Пришел в Смольный, разыскал секретаря Петроградского комитета партии большевиков Сергея Гессена и, не раздумывая, заявил: «Я — Малиновский! Приехал, чтобы отдаться в руки советского правосудия! Арестуйте меня!»

Вздвогнув от неожиданности, Гессен все же не растерялся. Попросив Малиновского подождать, он стремительно вышел из комнаты и предупредил часового, стоявшего у двери, посетителя ни в коем случае не выпускать.

Из соседней комнаты Гессен позвонил на Гороховую улицу, в ЧК. Чекисты не заставили себя долго ждать. Под конвоем Малиновского отправили в Москву, где и должно было свершиться возмездие.

Гессен хорошо запомнил, что когда чекисты вошли в комнату, Малиновский сказал с облегчением: «Теперь я спокоен».



Повторю, что революционеры различных партий и течений, спорящие между собой и порой враждующие, в одном были едины — в отношении к провокаторам. Каждый боялся царской охранки и был к ней непримирим.

После Февральской революции, получив доступ к архивам и делопроизводству предшествующей власти, Временное правительство сразу же назначило Чрезвычайную следственную комиссию, которая и должна была расследовать все дела о провокациях. Председателем комиссии был на-

значен присяжный поверенный Н.К.Муравьев. Много внимания комиссия уделила и делу Малиновского. Вызвали туда и В.И.Ленина, и Г.Е.Зиновьева — лидеров большевиков. Отправились они в Зимний дворец вместе, но допрашивали их порознь, показания, конечно, записывали.

Много лет спустя, уже находясь в опале, Зиновьев сетовал на то, что нигде не встречал стенограммы допросов, что даже в выпуске нескольких томов — результатов работы комиссии, изданных в 1924 году ГИЗом, этих записей не обнаружил.

У Зиновьева была неплохая память, он восстанавливал давнишние события, не имея под рукой никаких документов. Не позволяли чекисты, «опекавшие» его по личному указанию Сталина. В тот год они уже были врагами.

«Помню, меня вежливо спросили, — вспоминал Зиновьев, — откуда происходит «моя» фамилия Пафельбаум. (Впоследствии я слышал, что Николай II первым в своем дневнике употребил раз «Апфельбаум» по созвучию с «Цедербаум» — т. е. Мартов). Сдержанно, солидно допрашивали о Малиновском (подробностей не помню). Эта комиссия имела полную возможность выяснить всю правду о Малиновском. Но она не очень этого хотела. Она пользовалась этим делом против большевиков, ведя гнуснейшую кампанию и задним числом «доказывая», будто наша политика «определялась» провокатором Малиновским».

После истории с Азефом дело Малиновского на фоне политических событий того времени было самым громким.

1 апреля 1917 года комиссия допрашивала Бурцева по делу о царских министрах, об Азефе и других личностях, к которым знаменитый разоблачитель агентов охраны имел самое непосредственное отношение. Услышать подробности из уст самого Бурцева, так сильно насолившего самодержавию и, в частности, ее секретной службе, было, конечно, соблазнительным. Не забыли и про Малиновского.

Заглянем и мы с вами в те стенограммы.

«Председатель: теперь перейдем к очень для нас интересной теме о Малиновском. Это — модерн».

Отметим, что все допросы, отмеченные в книге «Падение царского режима. По материалам Чрезвычайной комиссии Временного правительства. Том I», велись в изысканной ма-

нере, как и подобает высокому судейству. Но тут председатель позволил себе иронический оттенок — речь шла о большевиках, которых члены комиссии на дух не переносили.

Бурцев пояснил: «Когда Малиновский сложил полномочия в Думе в 1914 году, то я получил телеграмму от газеты «Русское слово»: «Что вы думаете о Малиновском? Его обвиняют в провокации». На телеграмму ответил: «Не допускаю мысли, потому что никаких оснований не имею»... В августе или в июне 1916 года, — сообщает далее Бурцев, — я получил такие сведения. Я задавал вопросы такому компетентному человеку, как Манасевич-Мануйлов. Он говорил, что не знает. Потом пошел к Белецкому и ставил ему вопросы вроде капкана: комбинируя его ответы, я вывел заключение, что Малиновский — агент полиции. Но — война: поднимать вопрос я не хотел. Малиновский в Швейцарии и для нас неопасный человек. Я записал свои соображения, но не опубликовал».

Комментируя эти показания, Зиновьев негодует и возмущается тем, что никаким революционером — ни большевиком, ни другим Бурцев ничего не сообщил, признав провокатора неопасным. А он, к слову сказать, находился не в Швейцарии, а «в германском плену, в лагере, где были тысячи русских пленных солдат, для которых провокатор был очень опасен».

«И эти негодяи имели еще смелость обвинить большевиков, будто они «прикрывали» Малиновского, — пишет Зиновьев. — Из собственных слов Бурцева ясно, что с июня 1916 г. (или с августа 1916) Бурцев был прямым соучастником провокатора Малиновского, хранил его тайну от революционеров. Бурцев в свое время специализировался на «ловле» провокаторов. «Инок» (Дубровинский) в Париже в шутку звал его за это «крысоловом». А вот в 1916 г. (а может быть, и раньше) Бурцев знает о провокаторе Малиновском и молчит! Из «патриотизма». Бурцев — соучастник провокатора Малиновского. Таков вывод. Как меняются времена!»

Зиновьев хорошо знал Бурцева. Он познакомился с ним в начале века, когда первый раз попал за границу. Бурцев уже тогда слыл старым народовольцем, энтузиастом террора и производил впечатление неподкупного и целеустремленно-

го фанатика. В Париже Бурцев отвел своего нового друга в Национальную библиотеку, помог получить читательский билет. И первым делом дал для чтения материалы о суде над террористами — царевубийцами 1881 года. Они сдружились. Позже, приезжая в Берн, Бурцев всегда останавливался у Зиновьева — они спали на одной кровати. Бурцев продолжал грезить террором. Наверное, они могли бы остаться друзьями, но их пути разошлись: Зиновьев стал большевиком, а Бурцев, никогда не признававший этого течения в социал-демократии, хотя и считался с ним, отошел в сторону.

Когда большевики пришли к власти, Бурцев, разочаровавшийся в них окончательно, навсегда покинул Россию.



Следы «крысолова» я отыскал в пожелтевшем номере эмигрантской газеты «Сегодня», распространившей в день пятнадцатой годовщины Февральской революции в среде русской эмиграции свою анкету. Она состояла всего лишь из одного вопроса — что будет с Россией через десять лет?

Вот ответ Владимира Бурцева:

«Торжество преступного большевизма не может вечно продолжаться в России. Он, благодаря вмешательству внешних врагов, и так уже существует дольше, чем это можно было ожидать... Не в 1942 году, а надеюсь, раньше в России снова восторжествуют принципы Февральской революции 1917 года. А если так, Россия будет свободной. В ней будет свободная пресса. Будет свободный парламент. Будет сильная государственная власть, без которой — это надо прочно понять — не может быть ни свободной России, ни свободной прессы, ни свободного парламента.

Сильная, здоровая, истинно демократическая власть в различных странах даст здоровую международную политику. Благодаря этому будет существовать могучая и властная Лига Наций, которой я придаю огромное значение для истории.

Итак, вы видите, я являюсь самым убежденным оптимистом».

Номер газеты вышел 13 марта 1932 года. Пророчество разоблачителя агентов охранки не сбылось. Спустя десять

лет в России была действительно сильная власть, которую не мог себе представить не только сам Бурцев, но и его современники. Правда, и ситуация была иной — шла война...

К Бурцеву мы еще вернемся. Не такая уж это была простая личность, чтобы от нее отмахнуться, тем более в нашей теме. Мы еще вспомним о человеке, который большую часть своей неугомонной жизни посвятил, как он считал, святому делу — разоблачению провокаторов, полагая, что этим борется за справедливость и демократию.



Еще раз заглянем в протоколы Чрезвычайной комиссии Временного правительства, разбиравшей дело провокатора. Вот показания М.В.Родзянко. В них — интересующие нас нюансы.

«Председатель: Михаил Владимирович, вы уже изволили вкратце давать показания о деле члена Государственной думы Малиновского. Мне бы хотелось этот вопрос задать с общих точек зрения.

Родзянко: Виноват, я прерву. Меня под суд хотят отдать.

Председатель: Это вас газета отдает под суд.

Родзянко: Не знаю только, за что?

Председатель: За недонесение, кажется, так».

Необходимо сделать отступление, которое кое-что пояснит читателю. Во-первых, никаких данных «вкратце» о провокаторе Малиновском Родзянко не давал. Возможно, что-то и рассказывал председателю, но тот решил никаких записей не делать. Во-вторых, газета, которая призывала судить Родзянко за сокрытие факта провокаторства Малиновского, была «Правда» — газета большевиков. То был их ответ на призывы некоторых деятелей судить Ленина как германского шпиона. Такова политическая борьба — в каких только гнусностях не будут обвинять друг друга партии, ведущие борьбу за власть.

«Председатель: Выступления Малиновского были очень резкие?

Родзянко: Да, но чрезвычайно интересного содержания. Должен вам сказать, очень умные выступления, так что я иногда спрашивал его: «Скажите, вы, собственно говоря, где учились?» — «Только домашнее образование».

Далее Родзянко рассказывает, что у него была беседа с жандармским генералом Джунковским, который ему рассказал, что Малиновский — охранник. Подробно излагает, как Малиновский вбежал в кабинет Родзянко и бросил на стол заявление об уходе из Думы.

«Родзянко: А через несколько дней Джунковский был в Думе. Я говорю: «Почему Малиновский вдруг удрал? Получил паспорт?» Он говорит: «Дело его ликвидировано. Мне самому это претит. Это отвратительно, что в Думе, на положении члена Думы был сыщик. Он теперь ликвидирован и больше его не будет». Джунковский просил меня об этом не рассказывать. Тогда ко мне пришел узнать, что я знаю про Малиновского, покойный князь Геловани (член IV Думы, трудовик). Я ему одному, под честное слово, сказал. Но войдите в мое положение. Каким образом я буду оглашать, и даже в печати, что среди членов Думы есть агент сыскальной полиции? Это ужасно. И во имя чего? Во имя спасения партии? Так она сама могла о себе позаботиться. А наложить такое позорное пятно на Думу, что был членом Думы сыщик, — я никак не мог этого сделать. Поэтому дело так и осталось. Но они, все товарищи, прекрасно знали.

Председатель: Все знали?

Родзянко: Знали, но они не говорили. Знали, вероятно, со слов Геловани, который должен был передать».

Дал комиссии показания и Н.С.Чхеидзе, признавший, что свой выход из Думы Малиновский объяснял только тем, что ему не удалось играть такую роль, о которой он мечтал и на которую претендовал. «Вот как я толковал, — сказал Чхеидзе. — Другого смысла, другого мотива я не мог найти». Правда, при дальнейших расспросах в комиссии Чхеидзе, однако, говорит несколько другое. Когда Малиновский сложил депутатский мандат, «...среди членов Думы у многих развязались языки. Я со многими был в хороших отношениях, но они прежде ничего не говорили о Малиновском. Когда же он ушел из Думы, все заговорили... Что касается Родзянки, то стало ясно: Родзянко по этому поводу уже достаточно в курсе дела и что личность Малиновского для него не является каким-либо вопросом, у него есть об этом точные данные...»

«Председатель: Вы узнали, что Родзянко имел такие сведения о Малиновском еще до его ухода?

Чхеидзе: Да».

Действительно, у Зиновьева хорошая память. Он помнит все детали того дела и потому обращает внимание на такие пикантные подробности: выясняется, что в 1917 году лидер меньшевиков Чхеидзе и представители его фракции в Думе, узнав об уходе Малиновского, в своих статьях намекают на свои подозрения, но всей правды так и не говорят. Зиновьев обвиняет в сокрытии этого факта Родзянко, Геловани, Чхеидзе, отмечая, что в 1917 году упорно говорят о провокаторстве Малиновского и Черномазова и совершенно ни слова об Азефе, который предавал эсеров, почему-то позабыты Доброскоков и Абросимов, предававшие меньшевиков.



В семнадцатом году дело провокатора Малиновского долго не сходило со страниц газет, обличавших оборотня. Особенно доставалось большевикам, чьи интересы он представлял в Государственной думе. Те, естественно, защищались.

Заключение следственной комиссии по его делу было опубликовано 16 июня в газетах «День», «Биржевые ведомости», «Новая жизнь» и некоторых других. Во всех публикациях обвинялись большевики, допускаящие провокацию. Они, дескать, были в курсе всех событий, но утаили от общественности всю подноготную.

На другой день в «Правде» была помещена заметка «Под суд Родзянко и Джунковского за укрывательство провокатора!», написанная, как позже выяснилось, Лениным. Он отвергал обвинения, предъявляемые большевикам, считая, что провокатора Малиновского выгородили М.В.Родзянко и В.Ф.Джунковский.



Разговор между Джунковским и Родзянко состоялся 7 мая 1914 года. Инициатором встречи был товарищ министра внутренних дел, который и преподнес собеседнику поразительную новость.

От услышанного Родзянко чуть было не потерял дар речи.

— Но это же скандал... — пролепетал председатель Думы, приходя в себя. — В нашей Думе — провокатор... Вы только подумайте...

— Об этой личности нам с вами следует позабыть, — сказал Джунковский, — пусть эту грязь соскребут его друзья. Мы не можем им запретить общаться с ним, но наш долг избавить от этого мерзкого человека Думу.

— Останется ли он на службе? — вдруг спросил Родзянко.

— Ни в коем случае, — категорически ответил генерал. — С его карьерой будет покончено раз и навсегда. Агент не имел права участвовать в выборах. Я сделал чинам в министерстве внушение за это нарушение закона.

В конце беседы Джунковский предупредил Родзянко: их разговор носит строго конфиденциальный характер и он берет с него честное слово, что тот никому об этом не скажет.

— Не сомневайтесь, — заверил Родзянко. — Вам, Владимир Федорович, спасибо за доверие...

Прав ли был Ленин, обвиняя участников этой беседы в сговоре, — не знаю. Знаю только одно: понятие чести для генерала Джунковского было превыше всего, он это не раз доказывал своими поступками.



Имя члена ЦК РСДРП Малиновского всплыло в связи с расследованием преступлений бывшего министра и других чиновников министерства внутренних дел. Всплыло не случайно — вопрос о том, был Малиновский действительно агентом охраны или нет, волновал общественность давно.

Присяжный поверенный Н.А.Колоколов, занимавшийся расследованием дел о провокациях по поручению Временного правительства, пригласил 26 мая 1917 года для дачи свидетельских показаний В.И.Ленина.

В своих показаниях Ленин писал:

«Я слышал, что в Москве в эпоху приблизительно 1911 года возникли подозрения насчет политической честности Малиновского, а нам эти подозрения в особенно определенной форме были сообщены после его внезапного ухода из Государственной думы весной 1914 года. Что касается московских слухов, они относились ко времени, когда «шпиономания»

доходила до кульминационного пункта, и ни одного факта, хоть сколь-нибудь допускавшего проверку, не сообщалось.

После ухода Малиновского мы назначили комиссию для расследования подозрений (Зиновьев, Ганецкий и я). Мы допросили немало свидетелей, устроили очные ставки с Малиновским, исписали не одну сотню страниц протоколов этих показаний (к сожалению, из-за войны многое погибло или застряло в Кракове). Решительно никаких доказательств ни один член комиссии открыть не мог. Малиновский объяснил нам свой уход тем, что не мог дальше скрывать своей личной истории, заставившей его переменить имя, что эта история связана — де была с женской честью, что история имела место задолго до его женитьбы, он назвал нам ряд свидетелей в Варшаве и Казани, между прочим, одного, помнится, профессора Казанского университета. История казалась нам правдоподобной, бурный темперамент Малиновского придавал ей обличие вероятности, оглашать такого рода дела мы считали не нашим делом. Свидетелей мы постановили вызвать в Краков или послать к ним агентов комиссии в Россию. Война помешала этому.

Но в общем убеждение всех трех членов комиссии сводилось к тому, что Малиновский не провокатор, и мы заявили это в печати».

Этот документ до последнего времени хранился в партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

И еще одна выписка из свидетельских показаний Ленина, данных следователям Чрезвычайной комиссии 26 мая 1917 года:

«Мне лично не раз приходилось рассуждать так: после дела Азефа меня ничем не удивишь. Но я не верю — де в провокаторство здесь не только потому, что не вижу ни доказательств, ни улики, а также потому, что, будь Малиновский провокатор, от этого охранка не выиграла бы так, как выиграла наша партия от «Правды» и всего легального аппарата.

Ясно, что, проводя провокатора в Думу, устраняя для этого соперников большевизма и т.п., охранка руководилась грубым представлением о большевизме, я бы сказал, лубочной карикатурой на него: большевики — де будут «устраивать вооруженное восстание». Чтобы иметь в руках все нити это-

го подготовляемого восстания, стоило — с точки зрения охраны — пойти на все, чтобы провести Малиновского в Государственную думу и в ЦК.

А когда охранка добилась и того, и другого, то оказалось, что Малиновский превратился в одно из звеньев длинной и прочной цепи, связывающей (и притом с разных сторон) нашу нелегальную базу с двумя крупнейшими органами воздействия партии на массы, именно с «Правдой» и с думской с.-д. фракцией. Оба эти органа провокатор должен был охранять, чтобы оправдать себя перед нами».

Несколько спорное суждение, которое долгие годы приживалось по советским учебникам истории — Малиновский, дескать, «стучал», проваливал дела, но это было ничто по сравнению с тем, что он своим участием способствовал расширению влияния идей партии, помогал просвещать массы и, более того, своим участием в центральных органах оберегал партию от разгрома.

Но все было иначе. С помощью Малиновского охранка знала важные секреты партии, была в курсе многих дел большевиков, четко фиксируя их деятельность. Донесения агентуры, причем не только Малиновского, но и других секретных сотрудников охраны, позже помогали советским исследователям писать историю КПСС. И нисколько не удивительно, что архив Департамента полиции строго засекречивался — в нем можно было найти то, что было нежелательно обнародовать иным лидерам партии.

Изгнав в 1914 году провокатора из Думы, Джунковский фактически сотворил большое и полезное дело для большевиков — он лишил охранку надежного «стукача», и неизвестно, какой еще урон понесли бы они, если бы в их рядах продолжал находиться провокатор, которого они сами не смогли своевременно разоблачить.



В эмиграции многие политические деятели стали писать мемуары. Ударились в воспоминания и бывшие сотрудники министерства внутренних дел, которым было что рассказать.

Меня же интересует книга генерал-майора отдельного корпуса жандармов А.И.Спиридовича, изданная в Париже

в 1922 году. В те времена историческим опусам или брошюрам, претендующим на значительность, давали развернутые названия. И в самом заголовке этой книги заложен ее замысел: «История большевизма в России от возникновения до захвата власти. 1883–1903–1917. С приложением документов и портретов». В одной из глав подробно рассказано о Пражской конференции большевиков, в основу этого раздела книги, несомненно, легли «доклады» провокаторов, сообщавших охранке все подробности внутривластной жизни. Имена агентов автор не сообщал, оставаясь верным своей профессии, нам их можно определить, сопоставив факты.

Генерал охраны привел эти факты точно — он черпал их из донесений, не вдаваясь в подробности и красочные описания.

«Ожидались, но не прибыли вследствие заарестования делегаты от Двинска, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Сормова, Самары, Ростова-на-Дону, Луганска и Тюмени...»

Это, несомненно, из материалов охранных отделений, перехватывавших делегатов по описаниям, составленным провокаторами. Но большевики тоже были не мальчики для битья, многие — профессиональные подпольщики, умевшие вести конспирацию и уходить от филеров, избегать ловушки, засады, — приехали на конференцию, но большинство до Праги все же не добралось.

Дальнейшие описания сделаны на основании информаторов, имевших доступ к узкому кругу ЦК большевиков. Мы знаем, что их было три: Малиновский, Романов и Шурканов. Всех троих «проявили». Главным оказался Роман Малиновский, который был хорошо знаком с лидерами партии и присутствовал при самых откровенных разговорах, чего были лишены Романов и Шурканов.

О чем сообщал Малиновский? О первых заседаниях избранного в Праге ЦК, который провел там же несколько заседаний. О том, какие поручения получили Ленин, Радомысльский* и Розенфельд**, — издать извещение о состоявшейся конференции и ее постановлениях с призы-

* Зиновьев.

** Каменев.

вом к объединению и общей работе. Выбрана редакция центрального органа «Социал-демократа» и «Рабочей газеты» в составе Ленина, Радомысльского и Розенфельда. Избраны представители в Международное социалистическое бюро — Ленин и Плеханов. Голощекину, Орджоникидзе и Роману Малиновскому поручено заняться переправкой делегатов в Россию и проконтролировать, чтобы по разным областям России были сделаны доклады о результатах конференции.

Не ведая о предателе, большевики потеряли многих своих людей в тюрьмах и на каторге — Малиновский выдавал их, выходя на связь с руководителями охраны.

Спиридович сообщает на основании его донесений, кто и где должен был делать доклады о конференции: Спандарян на Кавказе и латышам, Орджоникидзе и Присягин («Степан») — в Петербурге, Голощекин — в Москве, на Урале и в области Центрального промышленного района; Шварцман — в Вильне. «Спандаряну, Таршису и члену Государственной думы Полетаеву поручено переговорить с держателями партийных денег о выдаче их новому Центральному комитету. Кооптированы в Центральный комитет Джугашвили (следуют приметы) и Белостоцкий (тоже приметы). Составлен список кандидатов в порядке кандидатуры для кооптации в Центральный комитет». Были намечены: Бубнов А.С., Смирнов А.П., Калинин М.И. (приметы). Были намечены также некие «Сурен» и «Зельма». (Речь идет о Шаумяне и Стасовой, предателю настоящие имена были неизвестны, но и о них он информировал.) «Избрано Русское бюро Центрального комитета в составе: Орджоникидзе, Спандаряна и Джугашвили с разъездным агентом Голощекиным. Рассмотрен бюджет партии, причем оказалось, что у партии имеется всего лишь 58 000 франков. Дело транспорта нелегальной литературы поручено Таршису. Постановлено было также сформировать комиссию из трех лиц для производства расследований по делам о провокаторстве партийных работников, причем было решено обращаться при этих делах к помощи Бурцева».

Генерал Спиридович пишет, что «тотчас же после конференции Центральный комитет в лице Ленина, Спандаряна и Романа Малиновского имел совещание с приехавшими

из России уполномоченными думской фракции Полетаевым и Шуркановым в Лейпциге, что Ленин обменивался с ними мнениями о событиях в партии, что депутатам было обещано 1000 франков на газету «Звезда».

Шурканов, присутствующий на последнем заседании, также был провокатором, сотрудничавшим с Департаментом полиции. Несомненно, и он информировал начальство о своих встречах. Но первые и самые подробные сообщения о конференции принадлежат все же Малиновскому, имевшему более широкий доступ к партийной верхушке, чем его коллега по тайной службе.

В своих донесениях он не описывает тех, кого полиция уже знает, и тех, о ком он уже сообщал, а рассказывает о новых лицах. Он уверен, что они охранке еще не известны, и потому, как того требует инструкция, описывает их подробно. Дает приметы Джугашвили, Белостоцкого и Калинина. Выходит, что Джугашвили ему еще не известен.

Запомним эту деталь, мы к ней вернемся.

Истинный профессионал генерал Спиридович, находясь в изгнании, приводит выдержки из информации и не говорит ни слова об источниках. Ни намек! Почему бы и не назвать его человеком чести?



Завербовал Малиновского в мае 1910 года ротмистр Иванов, занимавшийся в Московском охранном отделении делами социал-демократов.

В том месяце Иванов провел операцию, в результате которой были арестованы социалисты Шевченко, Милютин и неугомонный Макар. Под этой кличкой скрывался член ЦК партии большевиков Виктор Ногин, доставлявший немало хлопот московской охранке. В поле зрения тайной полиции попал тогда и Роман Малиновский.

— Это что еще за гусь? — заинтересовался Иванов и попросил навести справки.

Через несколько дней на столе у ротмистра лежало донесение, по Малиновскому. Иванов обратил внимание на то, что в ноябре 1909 года тот был арестован как делегат Всероссийского антиалкогольного съезда вместе с доктором Предкаль-

ном и после трехмесячной отсидки в доме предварительного заключения выпущен без права жительства в столице. Переехав в Москву, Малиновский работал на заводе Штолле за Бутырской заставой и яхшался с социалистами.

Вся эта информация не заинтересовала бы ротмистра, если бы не донесение филера: в апреле Макар несколько раз навещал Малиновского. Иванов знал, что просто так Макар встречаться не будет, видно, у него есть здесь свои интересы.

— Надо эту шайку брать, — решил Иванов. — И этого Малиновского.

Арестованных продержали в охране неделю, прежде чем вызвать на допрос. Жандармы не спешили, устанавливая личности арестованных.

Ротмистр Иванов докладывал полковнику Заварзину — начальнику Московского охранного отделения: среди арестованных при ликвидации одной из социал-демократических групп задержан Роман Вацлавов Малиновский, родившийся 18 марта 1876 года в Густыньском уезде Варшавской губернии, по национальности поляк, по происхождению — из крестьян Плоцкого воеводства, прошедший военную службу в качестве ефрейтора лейб-гвардии Измайловского полка, неоднократно попадавший в поле зрения охранного отделения.

У Иванова был природный нюх на сломанные человеческие личности, и Малиновский его сразу же заинтересовал. Для начала он приказал «подготовить» арестованного к беседе. Последнее означало унижить человеческое достоинство. То была первая проба, от которой зависел весь замысел и, разумеется, дальнейшая судьба Малиновского.

Малиновского поместили на несколько дней в сырую, холодную камеру, в которой не было ни кровати, ни стула — арестованным приходилось сидеть и спать на каменном полу. Его плохо кормили. Надзиратель, заглядывавший в «глазок», докладывал начальству, в каком настроении их подопечный.

Наконец Иванов понял: пора.

— Приведите революционера, — усмехнулся он, — я с ним побеседую.

Когда Малиновского привели, Иванова удивило, что тот похож на фабричного рабочего и этим отличается от говорун-нов-интеллигентов, которых Иванов не любил.

«С ним будет легко», — почему-то подумал мастер провокаций и предложил Малиновскому сесть.

— Вы знаете, в чем вас обвиняют?

— Нет.

— А я почему-то думал, что знаете, — Иванов говорил медленно, словно подбирая слова. — Вас обвиняют в сношениях с социалистами, а это — вы должны знать — злейшие враги самодержавия и Отечества.

Малиновский молчал, не зная, что ответить.

— Расскажите, но только честно, про свои встречи с Макаром...

— Я не знаю никакого Макара...

— Вы вредите самому себе, — сказал Иванов, выдвигая ящик письменного стола, — я знаю о вас все.

Ловким движением руки он швырнул на стол, покрытый зеленым сукном, пачку фотографий.

— Полюбуйтесь, — ровным тоном предложил он. — Здесь запечатлена ваша встреча с Макаром в Петровском парке. Напрасно отрицаете — я знаю больше, чем вы предполагаете. Например, об организации подпольной типографии... Вы знаете, что за это злодеяние полагается каторга? Если вы не думаете о себе, то пощадите свою жену и детей.

Малиновский молчал, уставившись на фотографии, разбросанные на столе.

— У вас есть только один выход из этого положения, — продолжал Иванов. — Я много об этом думал и пришел к выводу, что он устроит и вас, и тем более нас. Вы знаете, о чем говорю я?

— Нет, — отрезал Малиновский.

— Я думаю, не стать ли вам нашим платным агентом?

— Никогда! — закричал Малиновский, вскочив со стула. — Никогда! Вы слышите?

— Не спешите, — успокоил Иванов. — Хорошенько подумайте о моем предложении. Я делаю его не каждому встречному, а лишь тому, кто этого достоин. Вы лучше меня понимаете, что находитесь в ужасном положении. По-мое-

му, революционное движение не для вас. Вы только задумайтесь, что такое эти партии? Это группы руководителей, при помощи которых мы вылавливаем бунтующий элемент. За это мы им можем сказать спасибо. А идеи — чепуха, они для того, чтобы завлечь наивных и простых людей. На этот крючок попадаются многие, вот попались и вы.

Малиновский молча, не прерывая, слушал монолог ротмистра. А тот продолжал:

— Я понимаю, вы не революционер, а искатель приключений. Когда за совершенные злодеяния вы попадете на каторгу, где вам не дадут спуска, а ваши революционеры узнают о том, что у вас уголовное прошлое, пощады не будет и от них. Тогда вы и поймете, от какого спасательного круга отказались, но будет уже поздно.

— Вам меня не запугать! Я никогда не буду предателем! Иванов закурил, выпуская кольца дыма.

— Не нужно, чтобы вы доносили, на это у меня есть другие люди, — нажимал он. — Вы будете давать мне общую информацию, и только. От сотрудничества со мной вы только выиграете. И ваша семья, — подчеркнул он. — Мы будем выплачивать жалованье в сто рублей, сумма немалая.

— Я не пойду на предательство, — сухо сказал Малиновский.

— А жаль, — сказал Иванов, подняв со стола колокольчик, и вошедшему на трель звонка жандарму бросил: — Увести!

Малиновский не спал всю ночь, терзаемый сомнениями. На другой день его вновь привели в кабинет Иванова. Вновь посыпались угрозы, чередуемые соблазнительными предложениями.

— Когда товарищи узнают, что вы уголовный элемент, они от вас отвернутся.

— Я объясню им, что заблуждался... ошибался... — парировал арестованный. — Я переехал в Москву, чтобы избавиться от своего прошлого. Я ни в чем не виноват, у вас нет доказательств моей вины. И на суде я разоблачу вас, скажу, что все это подстроено охранкой.

Иванов улыбался, слушая Малиновского.

— А кто внушил вам, что будет суд? Нет, мы поступим иначе. В случае отказа сотрудничать с нами мы передадим

вас сыскной полиции, вас поместят в Бутырку, где просто убьют в камере. Никто не дознается, что в убийстве замешаны мы. Вас повесят в камере уголовники, и это будет похоже на самоубийство. Никто не будет наказан за эту смерть.

Малиновский бледнел, слушая жандарма, понимая, что выбраться из создавшегося положения ему не так-то просто.

— Другое решение, — продолжал Иванов, — вас сошлют на каторгу сроком на двенадцать лет. Тоже ведь выход...

— Я отказываюсь сотрудничать с вами...

— Полноте, Роман Вацлавович! В вашем ответе — одна несерьезность. Но мы подождем, пока вы одумаетесь.

Вечером Малиновского вновь привели в кабинет ротмистра. На столе был приготовлен чай, печенье, коробка папирос.

— Угощайтесь, — предложил Иванов, словно не было у них перед этим трудного разговора. — Я вижу, вы человек не глупый, а если это действительно так, то мы с вами договоримся.

— Я сомневаюсь...

— Сотрудничая с нами, вы будете иметь неплохое жалование, сможете бывать за границей, содержать семью. Что вам еще надо?

— Мне надо подумать, — сказал Малиновский для того, чтобы выиграть время.

То было первое, но роковое отступление, и Иванов вцепился за него и уже не выпускал инициативы из своих рук.

— А зачем нам откладывать? — подхватил он, наступая. — Мы должны знать, вернетесь вы в камеру, на холодный пол, где будете ожидать перевода в Бутырку, или подпишете обязательство, на котором закончатся ваши страдания. Я не люблю откладывать решения, — предупредил Иванов, — и второго приглашения не будет, — он кивнул на поднос, стоящий на столе.

Малиновский опустил голову и тихо, чуть ли не шепотом, произнес:

— Я согласен.

— Вот и хорошо, — ободрил его ротмистр. — Закусите, а то вы голодны.



Когда Иванов доложил о результатах своей работы полковнику Заварзину, тот похвалил его за усердие.

— Надо бы кличку ему дать оригинальную, — сказал Заварзин. — Чувствую, что вы завербовали перспективного агента... Впрочем, я займусь этим сам. Вы мне представите вашу находку позже. Пока присмотритесь к нему.



На другой день всех арестованных перевели в Мясницкий полицейский дом и, продержав некоторое время, освободили. Социалисты разъехались. Малиновский перешел на работу на городской электрический трамвай. Охранка его не трогала. Казалось, вся история, происшедшая с ним, так и закончилась.

Но вот на горизонте появился Иванов, сообщивший, что новому осведомителю дали кличку «Портной». Малиновского это несколько удивило, но ротмистр сказал, что в данном случае «руку приложил» сам Заварзин.

— Он хотел бы познакомиться с вами лично, — сообщил Иванов.

5 июля 1910 года Малиновский сделал свое первое донесение.



В 1911 году Малиновскому поручили внедриться в ряды большевиков. Он сумел это сделать, поскольку большевики, опираясь на фабричную среду, нуждались в поддержке сознательных рабочих. Малиновский, ставший весьма бойким и умелым оратором, пользовавшийся влиянием в революционной среде, им как раз и подходил.

В январе 1912 года он уже участвовал, как говорилось, в работе Пражской конференции большевиков, где была сформирована рабочая марксистская партия. Представляя московских рабочих, Малиновский вошел в доверие к лидерам партии, в том числе и В.И.Ленину, был избран членом ЦК РСДРП(б) и намечен кандидатом от большевиков в депутаты IV Государственной думы. В выборах он должен был участвовать по списку рабочей курии.

Малиновский действовал так умело и скрытно, что другие агенты охранки, не зная правды о нем, доносили о его

революционной деятельности. Представляю, как было приятно читать эти сообщения руководителям охранки.



Малиновский доносил исправно.

На основе его донесений, сделанных с 5 июля 1910 года по 19 октября 1913 года, было составлено 88 агентурных записок. Благодаря этому московское охранное отделение имело подробную информацию о жизни партийной организации Москвы и всего Центрального промышленного района, знало не только активистов, но и каналы распространения нелегальной литературы, подпольных типографий, адреса и явки. По его донесениям, повторяю, были арестованы многие большевики и меньшевики.

Руководители политической полиции были в восторге от своего сотрудника. Впервые ему выплатили 100 рублей, определив сумму месячного содержания, затем, оценив способности агента, подняли ставку до 250. Переехав в Петербург, он стал получать значительно больше — 500 рублей, а, став видным деятелем РСДРП(б), получал больше, чем кто-либо из агентов царской полиции, — 700 рублей в месяц.

Директор Департамента полиции Белецкий как-то радостно обмолвился, говоря о Роме Вацлавовиче: «Наша ласточка!» Потому, видимо, и оплачивал ему «разъездные» — мы бы сейчас назвали командировочные.

Перебравшись в столицу, не забывал Малиновский и своих родных московских коллег. Как только подворачивался случай, сообщал в московскую охранку имеющуюся информацию, ему за это выплачивали по своей ведомости до 50 рублей в месяц. Словом, провокатор процветал.



В сентябре 1912 года Малиновский переехал в Петербург, московская охранка «передала» его столичной. Тогда-то с ним впервые встретился Сергей Павлович Белецкий — начальник Департамента полиции.

Белецкий сразу оговорил условия:

— Встречаться с вами мы будем редко, ни в каких доносах местной жизни, в доносах на конкретных лиц я не нуж-

даюсь, это дело охранного отделения. Арестов по нашим разговорам производить не буду. Мне нужно знать лишь общее настроение и положение в партии. Два раза в месяц я получаю сводку докладов от охранного отделения и заграничных агентов. Там всегда путаница и разногласия, так что я нуждаюсь в проверке. Вот этим мы с вами и будем заниматься.

Малиновский был рад оказанной чести, понимая, что становится, по сути, важной персоной, если сам шеф Департамента изволит держать его в своих советчиках.

— Ваше предложение меня устраивает... — сказал Малиновский.

— Вот видите, как хорошо, что мы с вами договорились, — заметил Белецкий.

В отличие от других полицейских чинов, Белецкий беседовал всегда вежливо, с тактом, внимательно выслушивая собеседника. Последнее нравилось всем, кто с ним общался.

Со своими друзьями из полиции Малиновский нередко встречался в ресторанах, где для тайных встреч существовали специально отведенные кабинеты. Ужиная, они мирно беседовали: как правило, полицейский спрашивал, агент отвечал. Угощавший, наливая из графинчика водочку, не забывал произнести важный тост:

— Ваше здоровье, Роман Вацлавович!

Тост тот был традиционным. Полицейские действительно желали крепкого здоровья своему агенту.

На связь с ценным сотрудником, бывало, выходил и сам шеф полиции Белецкий, хотя и редко. Встречались они в ресторанах «Палкин», «М.Ярославец», «Старый Донон».

Как правило, при разговорах с Белецким посредники не присутствовали — шеф полиции этого не любил. Малиновскому он доверял и дважды приглашал его к себе домой. Такой чести не достаивался ни один агент.



В 1912 году в должности вице-директора Департамента полиции пребывал С.Е.Виссарионов, член совета главного управления по делам печати, а в 1915 году член совета министерства внутренних дел.

Сегодня это имя ни о чем не говорит. Но в те годы вместе с Белецким, возглавлявшим Департамент полиции, Виссарионов если не руководил работой Малиновского, то должен был иметь к ней непосредственное отношение.

Из свидетельства С.Е.Виссарионова:

«Я помню одно возвращение после свидания с Малиновским, это было уже в министерстве Маклакова, когда я опять говорил Степану Петровичу (Белецкому): «Знаете, я не верю Малиновскому. Он и вас проводит, и партию обманывает, потому что ведь он никакого руководства не признает». Малиновский далеко не производит впечатление, что все целиком сообщает, что знает. Я не раз об этом говорил, но Степан Петрович и на этот раз ответил: «Нет, это серьезная агентура, я через него проверяю полковника Коттена, то есть начальника петербургской охранки. Да и министр очень интересуется фракцией».



Приведу в подтверждение сказанному слова бывшего товарища министра внутренних дел И.И. Золотарева, который разводил руками: «Относительно Малиновского я уже говорил, что я его не понимаю как агента. Какой это агент? Он называется агентом, но в чем это проявляется?»

Да, некоторые мастера сыска не знали истинную цену Малиновскому, принижали его заслуги. Архивы свидетельствуют об обратном — Малиновский был самым крупным провокатором, действовавшим в партии большевиков.

Остались свидетельства, подтверждающие истинное положение Малиновского в партии, особенно в ту пору, когда он стал депутатом, — он мог знать, да, собственно, и знал многие особые секреты партии, потому охранка считала его весьма ценным сотрудником.

Еще раз заглянем в записи Г.Е.Зиновьева.

«О работе Заграничного бюро ЦК в 1912–1914 гг., — пишет он, — я постараюсь написать подробнее особо. Здесь скажу о ней только в связи с той ролью, которую играл в ней Малиновский. Роль эта была значительной, но в целом все-таки только служебной. Политического направления работы

он, конечно, не определял ни на йоту. В семи больших томах «Материалов Чрезвычайной комиссии при Временном правительстве» уделено много места делу Малиновского. Больше всего члены этой комиссии и их вдохновители пытались доказать, что именно Малиновский, действуя по указанию Департамента полиции, вызвал раскол социал-демократической думской фракции и вообще разжег раскол большевиков с меньшевиками. Всеми силами «вырвала» эта комиссия «признания» в этом деле у Белецкого, Джунковского, Виссарионова и т.п. На самом деле это, конечно, чистейший вздор. Никакого сколько-нибудь серьезного влияния на решение этого коренного вопроса большевистской тактики Малиновский не имел и иметь не мог. Вопрос решался Лениным. В решении участвовали Каменев, Сталин, я, ряд товарищей, приехавших в это время к нам. В практической работе в Питере (и, в частности, в делах фракции) Малиновский тоже единолично ничего не мог решить. Во-первых, там были еще 5 депутатов, из коих Муранов, Бадаев, Петровский очень быстро «оперились»... Во-вторых, в Питере, в «Правде», в бюро ЦК всегда был кто-либо из очень твердых и влиятельных большевиков (Свердлов, Сталин, Каменев). В-третьих, около фракции были наши секретари — люди зубастые (Розмирович, Лобова и др.)... Конечно, мерзавец Малиновский смог выдать и выдал большое количество лучших наших нелегальных работников, как Свердлов, Сталин и др.»

Дополним записи Зиновьева. Члены ЦК РСДРП, избранные в Праге, кроме самого Зиновьева, Ленина и других, живших за границей, возвратившись в Россию, были арестованы, как и ряд других нелегалов. Тут Малиновский оказал Департаменту полиции неоценимую услугу, так что напрасно Виссарионов и Золотарев так принижали роль своего осведомителя.

Мне думается, что поступали они так скорее из зависти к своим предшественникам, которые работали с Малиновским до них. Такого агента у них не было, потому и завидовали.



В жизни Малиновского дважды сыграл роковую роль ротмистр Иванов — как известно, жандармский специалист

по делам социал-демократов. Он его породил, завербовав в осведомители, он же его, как говорится, и прихлопнул.

В тот день Малиновского вызвали на конспиративную квартиру на Офицерской улице, где он несколько раз встречался с полицейскими чинами. В назначенный час дверь ему открыл сам Иванов.

— Проходите, Роман Вацлавович. К вам очень важный разговор.

За столом сидел незнакомый мужчина, который, как показалось Малиновскому, с нетерпением ждал этой встречи. Иванов их даже не познакомил. Нетрудно было догадаться, что незнакомец, пришедший на конспиративную квартиру, занимает более высокую должность, чем Иванов. Разговаривая, тот посматривал на незнакомца, словно пытаясь угадать, верно ли он ведет беседу.

А говорил Иванов страшные вещи для агента, и каждая фраза, сказанная им, бросала последнего в дрожь.

— Вам не следует огорчаться, Роман Вацлавович, — как бы убеждал он. — Со временем мы все выйдем на пенсию, отслужив свой срок... Вы его отслужили.

Как опытный провокатор, Малиновский попытался узнать, откуда подул ветер.

— Вас это не должно волновать, — вступил в разговор незнакомец. — О том, что вы являетесь нашим сотрудником, знают лишь несколько человек, но самое неприятное и для вас, и для меня состоит в том, что это знают Родзянко и Джунковский. Вы должны срочно покинуть Думу, чтобы избежать дальнейших осложнений. Сошлитесь на болезнь, переутомление, семейные дела, наконец. Этого, думаю, будет достаточно. Ни в коем случае не сообщайте никому никаких подробностей, все обрисовывайте в общих фразах, чтобы не навредить себе...

— Но может так случиться, что мое имя появится на страницах газет...

— Может, — ответил высокий чин, — и вполне возможно, что скоро. По этому поводу я не могу дать никакой гарантии — ваше имя могут не только упоминать, но будут, возможно, и склонять. Поэтому вам надо опередить события — срочно уехать. В дальнейшем вы должны всегда отказываться

ся от связей с нами, требовать доказательств и фактов. Ведите себя, как Азеф — он, слава Богу, жив и здоров по сей день, хотя врагов имеет среди революционеров множество. Пока против вас не будет доказательств — вы можете жить спокойно. От нас же они не получают ничего — так что не волнуйтесь. Это еще не проигрыш...

Малиновский побледнел:

— Мне придется давать объяснения товарищам по партии...

— Дайте, — сказал чин, — и непременно полные. Поэтому я и предлагаю вам уехать. Езжайте к Ульянову и его друзьям и признайтесь: не выдержал, мол, напряжения, устал, казните, что ушел из Думы, не посоветовавшись. Готов пойти на самоубийство из-за того, что все так осточертело. Они, разумеется, займутся следствием — господа революционеры это страшно обожают, вы знаете лучше меня. Но вам-то чего бояться? У них в руках нет и никогда не будет против вас ничего, кроме подозрений, а последние, как известно, не факты. Только не вдавайтесь ни в какие подробности, а то запутаетесь.

Малиновский сник, не зная, что и говорить. Всю свою двойную жизнь, которую он вел, был готов к разоблачению. Но когда пришла опасность, растерялся.

— Как мне жить дальше? — спросил он.

— Жить, — спокойно ответил Иванов, молчавший, пока говорил начальник.

— Вы будете обеспечены, — добавил высокий чин. — Мы выплатим хорошее содержание, вам его хватит на долгое время. Потом, когда все утрясется — со временем все утрясется, — мы с вами встретимся. Пока же нас не ищите.

Малиновский не знал, что с ним беседует сам начальник Петербургского охранного отделения, полковник отдельного корпуса жандармов П.К.Попов. Но Попов, беседуя с агентом, понимал, что тот разбит и подавлен, и потому нуждается в поддержке. Подавленный человек, не находящий в себе силы для сопротивления, уже погиб. Это правило мастер провокаций знал довольно-таки хорошо.

— Мы вам всегда поможем, — пообещал он в конце разговора.

— Признателен вам за поддержку, — ответил, попытавшись улыбнуться, Малиновский.

— Полноте, Роман Вацлавович, это наш долг. Мы вам выдадим шесть тысяч рублей. Как расчет.

Он посмотрел на Иванова, тот открыл стоящий на стуле портфель, вынул из него пачку купюр и ведомость, в которой Малиновский должен был расписаться.

— Не разбрасывайтесь деньгами, — предупредил Иванов, — это всегда бросается в глаза и привлекает внимание окружающих, которые интересуются: откуда у него такие суммы. Люди, Роман Вацлавович, по своей природе завистливы.

Малиновский кивнул, расписываясь.

Полицейские пожали ему руку, дав понять, что разговор окончен.

— Вы идите, — сказал Иванов, — мы выйдем позже.

Когда дверь закрылась, Попов закурил, не скрывая дурного расположения духа — он терял ценного сотрудника, которому не было замены.

— Да-с, подпортил нам игру господин Джунковский! — произнес он.

— Еще как подпортил! — согласился Иванов. — Да и не только нам, всему самодержавию подпортил, лишив нас такого агента!

Малиновский покинул Петербург на следующий день, попрощавшись с женой и детьми. Часть денег он оставил семье. Стефе сказал, что вынужден уехать в Польшу, так как боится ареста и провокации со стороны полиции. «Устроюсь — вызову», — пообещал он. Стефа плакала и причитала, словно чувствовала, что больше им не придется свидеться. «Сдалась тебе эта революция», — корила она мужа. «Не в ней вина, дорогая, — отвечал Малиновский, — а во мне. Во мне лишь одним».

Она не знала, насколько правдив был муж в эту секунду. На календаре значилось 8 мая 1914 года.

Падение Малиновского началось в тот миг, когда на стол командира Отдельного корпуса жандармов легли секретные документы. Джунковский приказал доставить их, когда уз-

нал, что среди депутатов Думы внедрены агенты охраны. Видимо, он хотел устроить проверку агентурной сети, определив, кто из них может находиться на службе, а кто нет.

С Малиновским была неувязка, на которую сразу же обратил внимание Джунковский. В соответствии со статьей 10 Положения о выборах в Государственную думу депутатами не могли быть лица, в прошлом осужденные за кражи и мошенничество. Срока давности по этому запрету не существовало.

Полицейские чины на это обстоятельство внимания не обратили, вернее, не хотели во внимание принимать. Их радовало, что агент становился известной личностью.

Впрочем, о запрете напомнил еще в своем рапорте от 11 октября 1912 года вице-директор Департамента полиции Виссарионов, который по поводу выдвижения Малиновского сообщал своему начальнику: «Вследствие личного приказа имею честь представить вашему превосходительству положение о выборах в Государственную думу и доложить, что согласно 1 п. 10 ст. известное вам лицо, как отбывшее наказание в 1902 году за кражу со взломом из обитаемого строения, как за кражу в третий раз, по моему мнению, не может участвовать в выборах. К изложенному считаю долгом присовокупить, что вы изволили приказать доложить вам, что надлежит возбудить перед г.министром вопрос о том, следует ли ставить в известность о существующем ограничении московского губернатора, или это лицо должно пройти для него совершенно незамеченным. Вице-директор С.Виссарионов».

Резолюция, написанная С.П.Белецким: «Доложено г. министру в.д. 12-Х. Предоставить дело избрания его естественному ходу. С.Б.».

20 октября начальник Московского охранного отделения в шифровке доносит в Департамент полиции: «Дело предоставлено его естественному ходу. Успех обеспечен».

Спустя шесть дней директор Департамента полиции проинформирован, что выборы Малиновского прошли успешно. Департамент тут же увеличил месячное жалованье своему агенту до 500 рублей.

Казалось, что авторитет Малиновского и его поддержка рабочими сыграли важную роль в выборах, а полиция безу-

частно наблюдала за ходом выборов. На самом же деле полиция помогала своему агенту. 25 апреля 1912 года по личному распоряжению министра внутренних дел на некоторое время был арестован мастер завода Кривов, работавший вместе с Малиновским. Кривов выступал против избрания Малиновского в Думу и просил начальство уволить того с завода. При такой ситуации кандидатура Малиновского автоматически снималась — он не мог избираться от рабочей курии.

Охранка «препятствие» устранила. Кривова выпустили из кутузки лишь после выборов, намекнув, чтобы впредь политикой больше не занимался. После выборов тот уже не был опасен Малиновскому.

Джунковского, несомненно, возмутил тот факт, что полиция скрыла от него прошлое своего осведомителя. Как считали позже полицейские чины, Джунковский даже разозлился, хотя виду не подал. Убедившись в уголовном прошлом Малиновского, он встретился с Родзянко и министром. Так началось падение Малиновского, который к тому времени уже был председателем думской фракции большевиков.

С Джунковским пробовали спорить, но он настаивал на своем решении — выполнение закона обязательно для всех без исключения.

Считали, что позже Джунковский поплатился за свою самостоятельность, ведь вскоре после разоблачения агента он был отстранен от должности и отправлен в отставку; лишь личные симпатии царя спасли его от серьезных неприятностей.

Но это не совсем так. История с Малиновским произошла в 1914 году, а Джунковский оставил свою должность только на следующий год, причем совершенно по иному поводу.

Весть об уходе Малиновского из Государственной думы была настоящей сенсацией. Особенно удивились руководители большевистской партии. Не зная, почему их товарищ сделал такой шаг, они лишь строили различные предположения.

Но вот в Поронине, где находились Ленин и Зиновьев, появился сам Малиновский. Он прибыл после тревожной телеграммы, присланной из Питера Каменевым, и поступив-

ших газетных сообщений, по которым невозможно было понять причину его поступка.

По воспоминаниям Зиновьева, Ильич был возмущен и встревожен до последней степени. В голову приходило все — только не версия о провокации. Больше подозревали, что это — результат какого-то столкновения Малиновского с остальными депутатами — такое не раз случалось между ними, особенно в последнее время. Объяснить происшедшее пытались странным характером Малиновского, о чем не раз говорили товарищи.

Впрочем, ждать долго не пришлось. Пересекая границу России, Малиновский дал в Поронины телеграмму, смысл которой сводился к следующему: еду, чтобы отдаться на суд ЦК.

Первым делом он направился к Зиновьеву. Того дома не оказалось. Тогда поспешил на край деревни, где жил Ульянов. И того не было! Малиновский вернулся в деревенскую гостиницу, где остановился Виктор Тихомиров, приехавший по поручению «Правды» к Ленину.

Малиновский был сильно возбужден, все время выхватывал револьвер, который носил с собой, и грозился застрелиться. От него пахло водкой. Боясь осложнений, Тихомиров постарался уговорить гостя и уговорил лечь спать. Оставив спящего, он разыскал Ленина.

Как только Тихомиров рассказал Ленину о состоянии Малиновского, тот, оседлав велосипед, помчался на другой край деревни, где квартировал Зиновьев, стараясь проехать мимо гостиницы так, чтобы Малиновский не смог его заметить. Обсудив положение, Ленин и Зиновьев решили отложить разговор на следующий день.

Разговор с Малиновским был трудным. Тот то всхлипывал, то успокаивался. Все время твердил, что знает, какой великий вред нанес рабочему делу, и настаивал, что прежде, чем застрелится, товарищи должны его выслушать.

— Хорошо, — успокоил его Ленин. — Мы вас выслушаем, для объективности создадим комиссию из наших товарищей...

В комиссию кроме Ленина вошли Зиновьев и Ганецкий, который был не только большевиком, но и представлял

польскую организацию «разломовцев», поддерживавших большевиков. В Поронин были вызваны Крыленко, Розмирович, Трояновский и Бухарин. К разбирательству приступили лишь после того, как все собрались. Не приехала только Розмирович — ждать ее не стали.

Председательствовал Ганецкий, но руководил комиссией, конечно, Ленин, который, по свидетельству имевших к тем событиям прямое отношение, был «этим делом чрезвычайно взволнован». Большею частью заседали у Зиновьевых, живших на небольшой даче на окраине Поронина. Там у Зиновьева и его жены З.И.Лялиной, неделями жили приезжавшие Тихомиров, Шотман и другие, знавшие Малиновского.

Первые заседания комиссия провела на террасе домика. Очевидцы обрисовали и саму обстановку. Стол и несколько стульев. Жарища. Зиновьев, секретарствуя, вел записи. Все были в подавленном состоянии. Ленин, хотя и был удручен, все же старался держаться бодро. Рядом, на кухне — Крупская и Лялина, которые наверняка были в курсе событий, хотя делали вид, что к работе комиссии никакого отношения не имеют.

От Малиновского, конечно, ответы требовали полные и конкретные. Уточняли даты, имена, места. Тот их охотно называл. Его перепроверяли — вроде все сходилось.

Окончательное решение комиссии было таким: «Исключить Малиновского из партии за дезертирство, неслыханное нарушение дисциплины, нанесшее партии величайший вред...»

Пытаясь оправдаться, Малиновский сильно нервничал, спорил, но решению комиссии все же подчинился. Было похоже, что нервы его не выдержали, что он просто сорвался.

Не имея никаких улик и доказательств вины Малиновского, комиссия его оправдала. Срыв объяснили неуравновешенным характером. Кстати, другой депутат Думы от большевиков, Бадаев, дал происшедшему свое толкование: «Мы объяснили поступок Малиновского, и это казалось более или менее правдоподобным в то время, только нервной усталостью и потерей душевного равновесия. Некоторые присущие Малиновскому черты характера — повышенная

нервность, горячность, неуравновешенность, которые частью проявлялись у него в его отношениях с окружающими — как будто давали основания прийти к такому выводу».



Более серьезные подозрения были у Елены Федоровны Розмирович, работавшей при думской фракции большевиков и постоянно общавшейся с Малиновским. Но приехать в Поронин вначале она не смогла. Ей показалось, что жандармы были осведомлены о таких деталях, которые иначе, как путем провокации, нельзя было узнать. Но то были лишь ее личные предположения. Розмирович товарищи не поверили — во всяком случае, первая ее информация о подозрении Малиновского во внимание принята не была. И позже, когда она настаивала на своих предположениях, ее не поддержали.

Партийный суд над Малиновским зашел в тупик — конкретных доказательств его вины не было. Что делать дальше — судьи сами не знали.

Н.К.Крупская в своей книге писала:

«Совершенно выбитый из колеи, растерянный, Малиновский околачивался в Поронине. Аллах ведает, что переживал он в это время. Куда он делся из Поронина — никто не знал».

Малиновский, воспользовавшись замешательством среди вождей партии, просто исчез. Возможно, ему просто надоела эта игра, хождение по лезвию ножа, а, может, он ждал удобного случая, чтобы скрыться, понимая, его тайна может в один прекрасный день оказаться раскрытой. Зловещая тень Гапона, казненного революционерами за предательство, витала над ним.

Помогло ему известие о начале войны. Перейдя границу из Кракова — это было совсем нетрудно, — он поспешил в ряды мобилизованных. Добровольцев на войну всегда брали охотно. Так на некоторое время след провокатора затерялся.

Из показаний Р.В.Малиновского, данных народному трибуналу РСФСР 27–28 октября 1918 года:

«...Когда я, сложив полномочия, прибыл к Ленину в Поронин, мне нетрудно было убедить и Ленина, и Зиновьева, и Ганецкого, и других, что я не провокатор, ибо они мне впол-

не доверяли. Если бы они исходили не из этого доверия ко мне, а из недоверия, то, может быть, я и сознался бы. Но они не доверяли именно тем, кто меня обвинял».

Интересны воспоминания Елизаветы Яковлевны Драбкиной, дочери старых большевиков, принимавших в юные годы непосредственное участие в революционных событиях. Позже она томилась в сталинских лагерях, такая же участь постигла ее родителей. Мать выжила. Отца — известного большевика Гусева — расстреляли.

Воспоминания относятся к тому периоду, который нас интересует, — к дореволюционному подполью, потому и остановлюсь на ее рассказе, не опуская деталей.

Летом 1911 года, взяв с собой маленькую Лизу, мать отправилась вместе с нею за границу по партийным делам — сначала в Берлин, затем в Париж. В Париже они остановились в семье рабочего Александра Сидоровича Шаповалова, который участвовал в организации «Лахтинской типографии», а потом, порвав с народниками, вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и за отношение к этой организации побывал в ссылке. Шаповалов знал Ленина. Однажды, побрившись, он надел чистую рубашку и вместе с женой, маленькой Лизой и ее мамой отправился на улицу Мари-Роз. Они подошли к ничем не примечательному, потемневшему от копоти дому.

На всю жизнь запомнила Лиза, как консьержка, на вид очень сердитая, открыла им дверь. Визитеры прошли в скромную квартиру и убедились, что пришли в приветливую семью. Их с улыбкой встретили Надежда Константиновна Крупская и ее мать — Елизавета Васильевна.

Некоторое время они сидели на кухне, пока из комнаты не вышел мужчина и не присоединился к ним. Он сел за стол, стал пить с гостями чай. Из долгого разговора Лизе запомнился эпизод, когда мужчина поинтересовался, что больше всего она хотела бы иметь. Лиза искренне ответила: «Шляпу с вишнями». Он удивился: «Почему тебе нужны вишни в шляпе, а не в бумажном кульке?»

Лизу поразило, как это взрослый человек не знает, что в моде шляпы, украшенные искусственными вишнями, сли-

вами, абрикосами. Именно такая шляпа была пределом мечтаний девочки. Когда ему объяснили, он весело рассмеялся.

— Вот и все, — вспоминала Драбкина. — Я не знала, что мы пришли в гости к Ленину, да и знала бы, все равно не поняла, что означает это имя. Все было просто и обыкновенно: чай с сухариками, негромкий разговор, прерываемый смехом...

Драбкина уточнила, что шляпы те имели особое значение для связных подполья — в них прятали записки и письма.

Ее меткий глаз и острая память помогут мне отметить еще несколько интересных деталей, относящихся к повествованию.

Осенью 1912 года на 10-й Рождественской улице в Петербурге были выстроены два дома, один из которых облюбовали меньшевики. Большевики поселились в соседнем: на шестом этаже жил Николай Григорьевич Полетаев, в прошлом депутат III Государственной думы, на седьмом — семья Драбкиных, на четвертом — депутат IV Думы Роман Малиновский. То были дешевые Пески — участок, который только застраивался. Так как он находился недалеко от Таврического дворца — места пребывания Думы, — то вполне устраивал депутатов от рабочей курии. Представители правых фракций снимали квартиры в аристократическом и благоустроенном квартале — на улицах Сергеевской, Фурштадской и Кировной.

Не верилось — новые дома и бедные рабочие.

Драбкина объясняла: в первые годы постройки, пока дом оседал и стены были еще сырые, хозяева сдавали квартиры за сравнительно дешевую плату.

Перед домом, где жили социалисты, постоянно фланировали агенты «наружки», но так как депутаты пользовались парламентской неприкосновенностью, им приходилось выслеживать только «нелегалов» — тех, кто находился в подполье, скрываясь от полиции.

Выручало то, что в подъезде Драбкиных жили Полетаев и Малиновский. Здесь постоянно бывали рабочие люди, хотя заглядывали и «нелегалы». Они, как правило, появлялись неожиданно, обязательно по вечерам, и так же внезапно исчезали среди ночи — следить филерам было за ними трудно.

Ребятишки, дети из семей большевиков, постоянно бежали друг к другу, чаще к Полетаевым, где всегда было оживленно. Забегали и к Малиновскому, живущему по соседству.

Драбкина в старости описывала события с такой точностью, что, казалось, они прошли не шестьдесят лет назад, а только вчера.

Самой примечательной чертой внешности Малиновского, рассказывала она, были круглые глаза и бесшумная, прямо-таки кошачья походка. Нередко бывало: играют дети — и вдруг он оказывается в комнате, без шороха и звука.

Жили Малиновские, как все рабочие депутаты, скромно: лоскутные, слаженные из разных кусков одеяла, фаянсовая посуда, бывшая в употреблении не один год, с щербинками по краям, железные вилки. Такие же скромные были и обеды, как у всех, кто квартировал на Песках: щи, каша, картошка. Только раз в месяц Стефа Малиновская ставила огромную квашню теста и жарила пирожки с мясом и капустой, складывая их в огромную кастрюлю. Кастрюлю на извозчике увозили в редакцию газеты «Правда» — там угощали не только сотрудников, но и всех присутствующих.

— Была Стефа ласковая и приветливая, — рассказывала Драбкина, — но, помню, произошел странный случай. Мы играли в какую-то игру с переодеваниями и, не спросясь, стянули с кровати лоскутное одеяло. Под ним неожиданно обнаружили другое — розовое, атласное. В этот момент в комнату вошла Стефа. Она закатилась от бешенства и, вцепившись нам в волосы, вышвырнула из квартиры на лестницу.

Ну, ладно, Бог с ним, с атласным одеялом. Важнее другое. В конце двенадцатого года в Питере появился «нелегал», товарищ Андрей — худощавый, смуглый, простуженный, в пенсне. Приходил он к Полетаеву. Близкие люди знали, что товарищ Андрей бежал из ссылки «по веревочке» — так называлась цепочка, по которой революционеры, выручая друг друга, используя явки и адреса, помогали товарищам бежать в места совершенно противоположные тем, где они отбывали наказание, и уходить в подполье.

Однажды вечером в квартире Полетаева вечером товарищ Андрей, бежавший из ссылки, столкнулся с Малиновским. Тот пожал ему руку, поздравив с прибытием, сочув-

ственно спросил о головном уборе — наступала зима, с залива дули пронизывающие ветры — и сделал благородный жест, предложив свою меховую шапку. Беглец смутился.

— Берите, вам она нужнее, — настаивал Малиновский. — А я как-нибудь обойдусь без нее...

Из показаний Р.В.Малиновского, данных народному трибуналу РСФСР 27-28 октября 1918 года:

«... Андрея я выдал, и дело было так: прибежал ко мне в Думу Бадаев и говорит, что к швейцару дома, в котором он жил, приехал сегодня шпик и спрашивает, нет ли у Бадаева человека, по приметам речь шла об Андрее. Нужно было сейчас же действовать. Андрей был у Бадаева. Я тут же, не имея под руками никого другого, взял с собою Ягелло и — к Бадаеву. Там мы с Андреем условились, что около девяти я подойду с набережной Невы, зажгу папироску, что означает — проход свободен, он должен два раза прикрутить огонь, что означало — вылезая (кажется, окошком), и в тот момент, когда Андрей уже прыгал с окна или на забор, со стоящей на берегу пустой баржи показался человек. Ягелло — за браунинг, я прошу: «Стой», человек выходит на берег, берет несколько поленьев дров и обратно, а мы с Андреем на Охту по льду и каждый в свою сторону. Но какой был ужас, когда, придя домой около двенадцати ночи, я нашел Андрея у себя (он не нашел ночевки). На другой день утром, в Думе мне звонит Белецкий и требует, чтоб я Андрея просто чуть ли не выгнал. Я сказал ему сейчас по его уходе, куда он ушел. Это ужас, что тогда было, я примерял ему другую шапку и знал, что он все равно будет арестован. Я не помню точно, кто еще, но я уговаривал его идти куда-нибудь подальше, а Петровский звал его к себе, чуть ли не напротив меня, в дом, где помещалась фракция Чхеидзе. Когда он ушел, я сообщил по телефону, что он ушел к Петровскому, и в тот или на другой день он был арестован».

Андрей — партийная кличка Якова Свердлова.



Лиза Драбкина хорошо запомнила девятнадцатое февраля 1914 года. В тот день она задержалась: после уроков

всех собрали в актовом зале, где по случаю годовщины освобождения крестьян выступал инспектор.

Короткий зимний день угас, когда девочка пришла домой. Матери не было. Пообедав, она только успела сесть за уроки, как раздался резкий продолжительный звонок. На пороге стояли полицейские, которые, не мешкая, принялись за обыск. Обыск вели тщательно — просматривали не только книги и шкаф с одеждой, но простукивали стены и полы. Не обнаружив ничего недозволенного, молча ушли.

Как только шаги их на лестнице затихли, девочка кинулась к Полетаевым. Позвонила не сразу, а сначала прислушалась. Слышались приглушенные голоса, звон шпор и совсем рядом дыхание человека, стерегущего за дверью. Испугавшись, девочка спустилась вниз, к Малиновским.

Хозяева дома — Роман Вацлавович и Стефа — как раз садились обедать. Он уже снял пиджак и был в жилетке. Увидев испуганную Лизу, вскочил со стула:

— Что случилось? Что с тобой?

— Маму арестовали, — выпалила Лиза и заплакала.

Малиновский, протянув руки, привлек ее к себе и поцеловал в лоб:

— Бедное дитя! Бедная моя сиротка!

Всю ночь шли аресты по доносам Малиновского, неплохо игравшего свою коварную роль. «Под гребенку» взяли всю редакцию журнала «Работница», на заседании которой присутствовала и мать Лизы, и всех, кто имел отношение к подготовке празднования женского дня 8 марта. Арестованных сопроводили в новую тюрьму, недавно отстроенную — в камерах еще пахло известкой и краской.

Несмотря на то, что петербургский градоначальник запретил проводить митинги, в Народном доме собрались отметить этот день. Несколько тысяч рабочих и работниц с пением революционных песен двинулись к Каменноостровскому проспекту, остановив движение трамвая. В колонне появился красный флаг. Навстречу — конная полиция, нагайками разогнавшая толпу.

Немного спустя демонстранты собрались вновь и через Троицкий мост и Марсово поле вышли на Невский проспект. Возле Гостиного двора их встретила конная полиция, и вновь

засвистели нагайки. До поздней ночи во всех рабочих районах столицы царило оживление.

В начале мая арестованных по делу журнала «Работница» выпустили на свободу с приговором — кому дали три, а кому пять лет высылки из столицы, запретив проживание в крупных городах.

Драбкина-старшая вернулась домой бледная, уставшая, с синяками под глазами. И тут же в их квартире появился Малиновский, который, как всегда, был вежлив и внимателен, тревожился о состоянии здоровья и советовал обязательно варить куриный бульон. «Это помогает отойти от голодовки», — говорил он с видом знающего человека.

Через несколько дней осужденные на высылку разъезжались из Петербурга. Первой уезжала Елена Федоровна Розмирович, которую провожали Драбкина с дочерью и Малиновский.

С вокзала они возвращались домой пешком. Малиновский нес целую охапку писем, больше сотни, и велел Лизе по два-три письма опускать в почтовые ящики, мимо которых они проходили.

Он учил ее правилам конспирации:

— Надо делать так, чтобы все это не казалось подозрительным. Наши товарищи поступили неправильно, заклеив письма в одинаковые конверты. На них могут обратить внимание. А мы с тобой поступим так: будем опускать их в разные ящики. Мы обманем полицию! — улыбался он.

Так они и возвращались домой — от Варшавского вокзала на Пески, и к каждому ящику Лиза подбегала сама, опускала конверты, которые только что ей передал дядя Роман.

Спустя годы она поняла, что все те адреса и имена были известны полиции, и веселый и заботливый мужчина, провожающий женщин и присматривающий за девочкой, давно сообщил охранке необходимые сведения.



Из мемуаров Н.К.Крупской, написанных и опубликованных в советское время:

«Владимир Ильич считал совершенно невероятным, чтобы Малиновский был провокатором. Раз только у него мельк-

нуло сомнение. Помню, как-то в Поронине, когда мы возвращались от Зиновьевых и говорили о ползущих слухах, Ильич вдруг остановился на мостике и сказал: «А вдруг правда?» И лицо его было полно тревоги. «Ну что ты», — ответила я. И Ильич успокоился, принялся ругательски ругать меньшевиков за то, что никакими средствами не брезгают в борьбе с большевиками. Больше у него не было никаких колебаний в этом вопросе».



Зиновьев вспоминал, как в семнадцатом году лидеры партии возвращались через Германию в Россию в «пломбированном вагоне». Долгие годы его записи лежали под сукном в архиве и находились под неусыпным оком власти.

Теперь можно представить картину происходившего.

Швеция. Стокгольм. Возвращающиеся большевики не могут достать ни одного номера своей родной «Правды». Едут в неизвестность. Вот уже Торнео, где их застает ночь. Шведско-финскую границу пересекают на санях и только в полуосвещенной комнате станции им удастся прочесть последний номер «Правды». Взяв газету первым, Ленин проходит в угол, где больше света, и пока идет досмотр багажа, просматривает ее.

«Старик» — так звали Ленина товарищи — хмурится и машет рукой, подзывая друзей: «Нате, смотрите!» Он возмущается публикацией Каменева, который призывает большевиков поддержать Временное правительство. «Эк-ка путает! Вот, вот, смотрите еще! Ну, мы это поправим скоро!» — громко говорит Ленин. И вдруг — как гром среди ясного неба. Ленин побледнел, замер. «В чем дело, Владимир Ильич?» — спрашивает подошедший Зиновьев. «Малиновский оказался провокатором!» — отвечает «Старик» и с печальным видом протягивает номер газеты, где помещена статья «Иуда».

Известие ошеломляет. Ильич несколько раз возвращается к теме: «Экий негодяй! Надул-таки нас. Предатель. Расстрелять мало!»

А дальше — остановка в Белоострове, где их встречают товарищи по партии. В маленьком купе уже находятся Мария Ильинична Ульянова, Каменева и Сталин. Ильич их

журит за ошибки в «Правде» и в то же время повторяет: «А Малиновский! Эка Иуда!»

Последующие события хорошо известны из учебников истории: встреча в Питере, Финляндский вокзал, балкон дворца Кшесинской. Приветственные речи и ответная речь Ленина. В ней и прозвучали слова о разоблаченном провокаторе, но какие именно — учебники не донесли до нас. Со временем те фразы исчезли, стерлись. К чему было победившей партии вспоминать о своих, пусть даже старых, промахах?



Уже после революции большевик Бадаев, также бывший депутатом от рабочей курии, как и Малиновский, рассказывал, как допытывался у того, почему он покидает Думу?

Малиновский отвечал, что ушел по собственному желанию — переживая личную трагедию, решил сойти со сцены.

«Несомненно, — вспоминал Бадаев, — что и само возвращение его в Россию после революции объяснялось надеждой Малиновского на то, что добровольная явка как-нибудь спасет его от неминуемой участи. Это была последняя неудачная ставка авантюриста».

Вспоминая заключительные слова на суде, произнесенные разоблаченным провокатором: «Другого приговора, кроме высшей меры наказания, я не жду», — Бадаев считал, что тот пытался все же добиться к себе снисхождения.

Трудно поверить, что большевики могли простить предателя. Участь его была, пожалуй, решена на той пограничной станции, где Ленин возмущался перевертышем, который так долго водил большевиков за нос: «Расстрелять мало!»



— На что мог рассчитывать провокатор? — удивлялась Морозова. — Разве он не знал, что из всех революционеров того времени самыми беспощадными, самыми энергичными и самыми жесткими были большевики? Они не прощали не только само предательство, но даже и намек на него...

Мне показалось, что вместо слова «жесткими» она хотела произнести другое — «жестокими». Но удержалась.



Когда чекисты привезли Малиновского в Москву, его сразу допросили. Следователь дал ему бумагу и ручку: «Пишите все, что имеет отношение к делу».

К делу имела отношение вся его жизнь, и потому первые строки он начал с детства, вспомнив про смерть матери, когда старшие сестры отдали его служить в книжный магазин Баера в городе Плоцке в учение, и как его тянуло на завод, и как он бежал в Варшаву, чтобы через несколько лет пуститься в кругосветное путешествие...

Он писал долго, мучительно, обдумывая каждую фразу и каждое слово, хорошо понимая: в дальнейшем все это будет иметь для него важное значение. Писать он начал в восемь часов вечера 27 октября. Писал всю ночь. На другой день в восемь утра решил отдохнуть.

«Нет сил», — так записано в протоколе.

— Хорошо, — сказал следователь, прочитав последнюю фразу в протоколе. — Через час продолжим.

— Я устал, — глухим голосом повторил Малиновский.

— Мы тоже, — сказал следователь. — От вашего предательства.



В первом протоколе обвиняемый высказал немало личного.

«...Поймите, что социал-демократом и большевиком я был потому, что попал на этот поезд; попади я на другой, возможно, с такой же быстротой мчался бы и в другую сторону».

«...Я не мог быть черносотенцем, потому что до глубины души презирал и ненавидел проклятый строй, я не мог быть с.-р., потому что я их не знал, я не мог быть ликвидатором, потому что я чутьем, а не разумом не одобрял их тактики, но и большевиком я был не потому, что знал философию революционного марксизма, а был потому, что большевизм был ясен своей чистой, простой и без колебаний тактикой, от него пахло потом рабочей рубахи».

«...До декабря 1912 года моя деятельность в охранке была почти безвредной, я никуда не ходил, никаких связей не искал, наоборот, сколько было сил прятался от всех...

Но это не значит, что я не доносил, были случаи, когда у меня не было выхода, такой случай с организацией прими-

ренцев: Шер, Круглов (Козельский), Дмитриев, Чиркин и другие, об этом совещании я донес, это был первый шаг моей подлости...»

Кстати, Шер был личным другом Малиновского, доверял ему и, бывало, помогал.



Первый протокол Малиновский завершил так:

«Вот моя исповедь. Если что неясно — спросите, я дам ответ.

Зачем я приехал? Приехал кровью смыть мою когда-то позорную жизнь. Ведь после того вы поверите, я думаю — да. Ну, а больше мне ничего не надо».



Два последующих протокола 29 и 30 октября 1918 года писал следователь революционного трибунала при ВЦИК и президиума ВЧК Виктор Кингисепп. Он ставил вполне конкретные вопросы, которые интересовали следствие.

«Секретным сотрудником московского охранного отделения я стал в мае 1912 года. В Москве носил кличку «Портной», в Петрограде — «Икс», других кличек не имел. Кличку «Портной» мне дал Заварзин...»

«Обстановка подачи мною заявления о сложении депутатских полномочий была такова: через Екатерининский зал я вошел в кабинет Родзянко. Рядом с ним стоял, кажется, Глинка. Я бросил на стол свое заявление и, не произнеся ни одного слова, вышел. Мне совершенно неизвестно, были ли Родзянко осведомлен о моих связях с Департаментом полиции...»

«Я делал Белецкому доклады о своих поездках за границу. Вообще Белецкий больше всего интересовался Лениным и политической стороной дела...»



Что тут добавить?

Заварзин, хорошо знавший полицейское ремесло, сразу же заметил способности своего нового сотрудника: «Он нам поможет сшить на социалистов смиренную рубашку».

Я.В.Глинка — действительный статский советник, в тот период был начальником канцелярии Государственной думы. Вполне возможно, что он и находился в кабинете Родзянко.

Белецкий внимательно следил за деятельностью большевиков. Именно он сказал как-то министру внутренних дел: «Ленин и его компания самая опасная для престола. Вы меня еще вспомните...»



Из показаний И.П.Гольденберга, данных Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (большевик, член ЦК в 1907–1910 гг.)

Петроград, 21 апреля 1917 г.

«...Романа Малиновского я знал приблизительно с 1907 по 1910 год. Он тогда в партийную организацию не входил, работал в профессиональном союзе рабочих по металлу и был деятельным членом комиссии по рабочим вопросам при с.-д. фракции III Государственной думы, где работал и я. Малиновский производил впечатление очень интеллигентного человека, весьма деятельного и преданного делу работника; в личной жизни очень строгий, вел прямо полусобачье существование в какой-то каморке... Отличался полным бескорыстием — через его руки проходили большие суммы, и никогда ничего не пропадало».



Из показаний А.М.Никитина (социал-демократ, меньшевик; в 1912 г. — член московского социал-демократического избирательного комитета; в 1917 г. — комиссар московского градоначальства, министр почт и телеграфов, затем — министр внутренних дел Временного правительства).

Москва, 6 мая 1917 г.

«...Как-то на Рождество, зимой 1912–1913 года, пришли ко мне товарищи — Александр Николаевич Потресов и Дан (Федор Ильич Гурвич) и сказали, что получили из Вологды, из ссылки, письмо от Плетнева или кого другого, которое сообщало, что они подозревают Малиновского в сношениях с охранным отделением, так как перед Пироговским съездом все были арестованы, приехавшие с письмом к Мали-

новскому, а он остался на свободе. Дальнейшие события были таковы. Во время выборов Малиновский говорил, что он не допустит межфракционности и будет работать в Думе в смысле объединенной работы фракций. Но потом я удивился, узнав, что Малиновский являлся большим фракционистом, хотя опять-таки пришлось это объяснять тем, что было известно, что Малиновский ездил тогда на поклон к Ленину, и думали: это объясняется влиянием на него Ленина. В дальнейшем стало замечаться, это было уже в 1913 году, что Малиновский стал держать себя как-то вызывающе по отношению, например, ко мне: он прекратил заезжать ко мне и даже старался подрывать мое влияние среди товарищей, окружил себя такими лицами, как Лобов и Поскребухин, которые оказались провокаторами и ныне арестованы после революционного переворота, а также другими лицами, которые хотя и не арестованы, но личности которых для нас недостаточно ясны. Словом, здесь, в Москве, как и в Петрограде, Малиновский тогда произвел раскол в партии. Летом 1913 года обратило на себя внимание еще одно обстоятельство, что почти все лица из выборщиков-кандидатов, которые вместе с Малиновским были в списках по выборам в члены Государственной думы, которые потом соприкасались с ним и разъезжали, оказались арестованными. Но тогда это объяснялось как бы тем, что если он не арестовывался в то время, как другие арестовывались, потому что он пользовался неприкосновенностью своей как члена Государственной думы; мы считали, что, вероятно, за Малиновским следили, а он был неосторожен, и его товарищей арестовывали, а он оставался неприкосновенным. Теперь, после того, что обнаружилось, приходится объяснять все это иначе...»



Из показаний Н.К.Крупской (социал-демократка, большевичка; в 1912–1917 годах — секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП).

Петроград, 26 мая 1917 г.

«...На Пражской конференции в январе 1912 года я не была и не имела тогда случая познакомиться с Малиновским. После конференции от мужа, Владимира Ильича Ульянова

(Ленина), а также от Зиновьева (Радомысльского) я узнала, что Малиновский произвел хорошее впечатление, что он является даже желательным кандидатом от партии в Государственную думу 4-го созыва...

Я могу сказать, что Роман Малиновский произвел на меня хорошее впечатление: он великолепно, в деталях знал рабочее движение, очень хорошо умел говорить по профессиональным вопросам; мне никогда и в голову не приходило его провокаторство. Впоследствии, когда я его ближе узнала, он на меня произвел отрицательное впечатление, но уже своими личными свойствами, в политическом же отношении никаких подозрений у меня против Малиновского не было. Отрицательные свойства его характера выражались в некоторой хвастливости, чрезмерном самолюбии, желании везде быть первым; конкуренции он не признавал и не переносил; на этой почве у него с товарищами по фракции произошел ряд недоразумений, причем Малиновский всегда нам старался изобразить своих софракционеров, и особенно Петровского, с плохой стороны, как людей малопригодных и будто бы бездеятельных...

Данных, изобличивших Малиновского в сотрудничестве в охранных отделениях, не имелось в нашем распоряжении, потому партийный суд единогласно постановил считать обвинение недоказанным; свидетели Розмирович (Трояновская) и Бухарин не могли, насколько я знаю, подтвердить своих подозрений никакими серьезными фактами...»



Из показаний А.А.Трояновского (социал-демократ; большевик; с 1917 по 1921 год меньшевик, снова в РКП(б) с 1923 года.)

Петроград, 9 июня 1917 г.

«С Малиновским я познакомился на совещании Центрального комитета с партийными работниками на местах и вновь избранными членами Думы большевиками, совещании, проходившем в конце 1912 и начале 1913 года в Кракове. Это совещание имело целью согласовать деятельность ЦК и видных партийных работников...

Возвращаясь после этой конференции из Кракова в Вену с Еленой Федоровной Розмирович и обмениваясь с ней впе-

чатлениями по поводу этой конференции, я говорил ей о Малиновском, что от разговоров с ним остается какой-то неприятный осадок, что Малиновский представляется человеком, способным на все, что выражение глаз у него чрезвычайно напоминает выражение глаз палача, с которым мне пришлось ехать в одном вагоне от Самары до Челябинска, когда я отправлялся по этапу в Сибирь на поселение летом 1909 года...

Когда ...Е.Ф. (Елена Федоровна — Авт.) вернулась снова за границу, я с ней увиделся в Поронине. Она мне рассказывала, что в киевском жандармском управлении ей сообщали такие факты по поводу ее приезда, которые могли быть известны только Малиновскому, например, ее свидание с Шотманом и т.д. Рассказывала она также, что на кооперативном съезде в Киеве ей говорил о своих подозрениях против Малиновского депутат Петровский, который, между прочим, удивлялся широкому образу жизни Малиновского.

Я еще раньше уговорился с Бухариным, затем, после разговоров с Е.Ф., и с ним довести обо всем до сведения членов ЦК Ленина и Зиновьева. Это мы и сделали вдвоем с Е.Ф. От них получили официальный ответ, что они берут на себя полную ответственность за Малиновского. Мы требовали проверки деятельности последнего и установления контроля за ним. Нам сказали, что в этом нет никакой надобности. Подобный же ответ был послан в Вену Николаю Ивановичу Бухарину.

Таким исходом дела мы не были удовлетворены. Мы все же обратили внимание, что вскоре после этого по окончании «летнего совещания 1913 года» Малиновский был освобожден от обязанностей кассира, каковые обязанности были возложены на депутата Муранова. Нас это обрадовало, и мы склонны были считать, что Ленин перестал доверять в прежней мере Малиновскому, тем более что сам Малиновский, видимо, нервничал по этому поводу — однажды проплакал целую ночь, говорил о сложении полномочий и проч.

...Во время своих приездов за границу Малиновский всегда брал для России большое количество нелегальной литературы, отличаясь в этом от всех остальных товарищей депутатов, которые не решались брать очень много такой

литературы. По этому поводу в нашей среде говорили о смелости Малиновского...

Припоминаю, что я как-то сообщил Малиновскому новость, вычитанную мною из газет, об уходе директора Департамента полиции Белецкого. Когда я ему это сказал, он весь вздрогнул, но потом овладел собой и стал напевать какую-то песенку...

Когда Малиновский ушел из Думы и в печати начались разговоры о его провокации, Ленин сразу же в «Правде» объявил Малиновского чистым и честным человеком, а всех обвинителей его — клеветниками. Затем в ЦК (Лениным и Зиновьевым) была назначена комиссия, состоявшая из Ленина, Зиновьева и Ганецкого, которая и приступила к допросу свидетелей.

При этом был допущен ряд неправильностей, сделавших эту комиссию совершенно неавторитетной.

1) Ленин и Зиновьев политически и во всей своей деятельности были связаны с Малиновским, поэтому не могли быть судьями в своем собственном деле.

2) Они не могли быть ими тем более, что в этом деле необходимо должен был быть поставлен вопрос, приняты ли были ими все меры для обеспечения интересов партии.

3) Они взяли летом 1913 г. формально на себя ответственность за Малиновского, а проводя его в Думу и в ЦК, несли ее по существу, а потому, судя Малиновского, до известной степени судили и самих себя.

4) Ганецкий также был связан с Малиновским, который был опорой для его политики в Польше.

5) Что Ленин и Зиновьев все это чувствовали и признавали, видно из того, что они запретили свидетелю Бухарину рассказывать кому бы то ни было о составе комиссии.

6) Телеграммы в Петербург с реабилитацией Малиновского, якобы установленной комиссией, посылались тогда, когда комиссия только приступала к допросу свидетелей. Резолюция по делу Малиновского была вынесена комиссией лишь в сентябре-октябре 1914 года в Швейцарии.

7) Комиссия отказалась допросить меня лично и удовлетворилась моим письменным показанием из Вены...»

Далее Трояновский пишет, что «допрос свидетелей велся пристрастно», «в резолюции многие показания были ис-

кажены», как например, показания Бухарина, а другие — Розмирович — совсем оставлены без внимания. Удивило его также то, что несмотря на обилие сомнительных данных, комиссия даже не усомнилась в честности Малиновского.



Аресту Розмирович предшествовала беседа Малиновского с самим Белецким.

— Замучила меня эта дама, Сергей Павлович, — признался Малиновский, — все вынюхивает и вынюхивает. Боюсь, быть беде!

— Мы поможем, — успокоил его Белецкий. — Коли мешает, — уберем. Только вы с ней будьте помягче, ласковее, да так, чтобы исчезли все сомнения. Она ведь шибко подозрительная...

Из показания бывшего директора Департамента полиции С.П.Белецкого, данного Чрезвычайной комиссии Временного правительства.

Петроград, 6 июля 1917 г.

«В особенности я всегда старался быть осторожным в отношении делегатов Ленина, прибегая в большинстве случаев к испугиванию их и отъезду. Что же касается ареста г-жи Розмирович, супруги Трояновского, то ее арест был вызван крайней необходимостью, ибо начальник охранного отделения в Петрограде мог бы, не зная о сотрудничестве Малиновского, обнаружить его, так как и я на основании слов Малиновского и агентуры охранного отделения дал начальнику отделения, стоя вплотную около Розмирович и Малиновского, ряд таких сведений, по коим г-жа Розмирович, в случае ее ареста в Петрограде, в силу присущей ей подозрительности догадалась бы непременно о роли Малиновского и могла бы не в то время, а в будущем повредить Малиновскому. Поэтому по его совету я арестовал ее в Киеве, через месяц г-жа Розмирович была выпущена и исключительно по настоянию Малиновского, испуганного несколько намеками г.Трояновского в письме по поводу ареста жены, которым Малиновский придавал несколько, с моей точки зрения, нервное значение; лично я, наоборот, считал необходимым именно вследствие

этого письма для охраны интересов Малиновского дальнейшее преследование г-жи Розмирович, против которой у меня имелись законные основания к обвинению ее».

С мнением Романа Вацлавовича, как видите, в полиции считались.



Знала ли жена Малиновского — Стефания (Стефанида) Андреевна о том, что ее муж провокатор?

Несомненно, она была в курсе многих, если не всех дел своего супруга, поскольку не только принимала на своей квартире большевиков, но и оказывала им помощь. Нередко бывала она и в редакции газеты «Правда», в январе — мае 1914 года даже являлась официальной издательницей газеты «Путь правды». Тут уж ничего не попишешь — Стефания Андреевна была соучастницей в деле сохранения большевистской газеты.

Ну, а как все же с предательством?

В материалах Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства имеются показания В.Г.Иванова, датированные 8 июля 1917 года. Иванов, как известно, ротмистр отдельного корпуса жандармов, в 1909—1913 годах заведовал социал-демократическим отделом Московского охранного отделения, то есть боролся с социал-демократами всех мастей, в 1914—1917 годах работал в Петроградском жандармском управлении. Можно представить, что знал он немало.

«На ваш вопрос дополнительно объясняю, — писал он в конце допроса, — Стефания Андреевна Малиновская сотрудницей Московского охранного отделения не была. В конце 1912 года я узнал, что ей известно о том, что ее муж состоял сотрудником охранного отделения. Насколько я могу припомнить, дело это выяснилось так: как-то незадолго до отъезда в Петроград Малиновский мне сообщил, что какие-то сведения, если он не успеет сам, сообщит мне его жена; на мой вопрос о том, разве ей известно секретное сотрудничество мужа с охранным отделением, Малиновский мне ответил утвердительно. Если память мне не изменяет, Малиновская действительно тогда, по поручению мужа, сообщила мне те сведения, которые были получены им. Помнится, что

я видел Стефанию Андреевну и лично на улице или на вокзале при назначенном Роману Вацлавовичу свидании. Кажется, и по телефону она мне сообщала сведения раза два. Словом, здесь в конце их пребывания в Москве перед отъездом в Петроград Стефания Андреевна Малиновская была в курсе дела по поводу связей ее мужа с охранным отделением. Что было раньше: свидание с Малиновским или же разговор по телефону — я не помню. Больше к своему показанию ничего добавить не могу...»



Из показания С.П. Белецкого:

«Жалованье Р.В. Малиновскому было назначено вначале 500 руб., согласно его заявлению, а затем впоследствии я увеличил его до 700 руб., так как жена Малиновского — женщина скромная, с наклонностями к буржуазной жизни — знала о его сотрудничестве, видела в этом несение Малиновским служебных правительственных функций и, в силу присущей бережливости, распорядилась всеми средствами мужа, зная источник и сумму его поступков, ввиду этого я, после откровенного разговора Малиновского на эту тему, прибавил ему 200 руб. на его личные расходы».



Допросить Стефанию Малиновскую не удалось ни комиссии Временного правительства, ни трибуналу большевиков. Она исчезла в вихре тех событий, и следы ее затерялись.



— Стефания заведовала всеми средствами мужа, — рассказывала и Розмирович. — Когда однажды я обратилась к Малиновскому с просьбой одолжить денег одной знакомой, он рекомендовал мне обратиться к жене, та сходила куда-то и затем вручила мне деньги. Кстати, этот факт, сообщенный мною следственной комиссии, послужил оправданием Малиновского, который отвергал обвинения в проживании не по депутатским средствам тем, что у Стефании Андреевны было известное состояние. Как наживалось оно — теперь ясно.



В августе 1912 года в Вене, встретившись с Еленой Фёдоровной Розмирович, Николай Иванович Бухарин выразил удивление, каким образом Малиновский, о котором у него имелись неблагоприятные сведения как о человеке чрезвычайно неустойчивом в принципиальном отношении, мог быть выставленным кандидатом от ЦК РСДРП в Государственную думу 4-го созыва?

— Не имею понятия, — ответила она.

Действительно, Малиновского она тогда не знала и встретила с ним лишь в Кракове, где тот делал доклад о сочетании нелегальных и легальных форм в построении организации партии большевиков, чем произвел не только на Розмирович, но и на всех присутствующих блестящее впечатление.

Розмирович слышала, что говорили товарищи:

— Вот вам и рабочий. Недаром его так ценит Ильич.

В октябре с ней беседовал агент ЦК.

— У вас имеется право на проживание в Петербурге. Ильич просит вас взять на себя обязанности секретаря нашей думской фракции, во главе которой стоит хорошо вам знакомый Малиновский. Вы согласны?

— Если это задание ЦК, — ответила Розмирович, — то у меня нет никаких вопросов.

При их встрече Малиновский поинтересовался:

— Вы довольны таким решением? Работы у нас с вами будет много.

— Я никогда не боялась этого, — был ее ответ.

В январе 1914 года Розмирович перешла жить на квартиру Малиновских. Правда, Роман Вацлавович поначалу этому воспротивился, ссылаясь на семейные соображения. Но его переубедили.

— Вам будет легче работать, — говорили товарищи. — Да и время на дорогу сэкономите...

Малиновский сказал Розмирович:

— Переезжайте. Если это требуют интересы нашего общего дела, то я согласен.

Вполне возможно, что охранники, с которыми делился агент, посоветовали таким образом взять под контроль секретаря фракции и согласиться на некоторые неудобства.

Но их подопечному было нелегко, ведь рядом находилась опытная подпольщица.

Работать с Малиновским было сложно. По словам Елены Федоровны, он был болезненно самолюбивым, нервным и весьма неуравновешенным человеком. В быту наблюдалась такая деталь: часто вечерами хозяин куда-то отлучался, при этом обязательно надевал сюртук. Свои действия объяснял так: надо встретиться с Родзянко или с князем Волконским, который был старшим товарищем председателя Думы.

Возможно, к частным вечерним отлучкам Малиновского она бы и привыкла, но вот стала замечать: многочисленные «провалы», участившиеся в последнее время, почему-то совпадали с отъездами Малиновского из столицы. Особенно поразил провал петербургского комитета. Тут-то и вспомнилось предостережение Бухарина. Бывает такое: в сознание неожиданно врзается старая, давно позабытая фраза, жест или движение и видишь то, на что раньше не обращал внимания.

Отношения с Малиновским у нее стали портиться. В конце концов они поссорились. Покидая столицу в очередной раз, он сказал ей: «Прощайте, Елена Федоровна!» Обычно говорил: «До свидания!»

Фраза запомнилась. Она подумала об аресте.

Так и случилось. 19 февраля Розмирович была задержана, но не на квартире Малиновских, а на заседании редакции легального журнала «Работница». В том, что это было сделано с расчетом, она не сомневалась.

После ареста Розмирович пришла к Малиновским. Хозяин встретил ее холодно, тут же стал расспрашивать, не получала ли она от швейцара дома пакет.

— Нет. А что, это очень важно?

— Да, Елена Федоровна, очень важно. Там находятся объяснения Черномазова на мое имя. Мне поручено проверить сигналы о его провокации. Правда, не знаю, можно ли в это верить, ведь Мирон — человек надежный, работает в «Правде» честно...

— За Мирона поручиться не могу, а за себя поручусь. Никакого пакета я не получала.

— А вот швейцар утверждает, что передал пакет вам, — настаивал Роман Вацлавович.

— Тогда покажите мне его... — Она посмотрела ему прямо в глаза, не отводя взгляда.— ...Нет, лучше устройте с ним очную ставку.

— Придется, — согласился он.

Но очной ставки устраивать не пришлось. Малиновский вдруг сообщил, что получил от Черномазова вторичное объяснение, более подробное, и потому первое ему уже не понадобится.

От Малиновских, не скрыв своего маршрута, Розмирович уехала в Киев. И там, разбираясь в своих вещах, вдруг обнаружила вскрытый конверт с объяснениями Черномазова и ужаснулась. Ведь конверта она и в руках не держала и даже его не видела, как он мог оказаться в ее вещах?

Потом вспомнила: вещи собирала Стефа. Видимо, она и положила в чемодан пакет. Зачем? На этот вопрос ответа не было, но догадки имелись. И самой страшной была та, от которой она ужаснулась. Свое предположение высказала вслух местным товарищам: «Малиновский, несомненно, связан с полицией».



Серго Орджоникидзе рассказывал Морозовой:

— Первый раз, если не ошибаюсь, я встретил Малиновского в Москве, в ночном ресторане. Засиделись допоздна. Поговорив о делах, стали расходиться. Мне идти было некуда, Малиновский, узнав об этом, предложил переночевать у него. Он жил за городом, в деревне. Мы отмахали в ту ночь верст десять. Шли, а он все спрашивал: «Не устали?» Я ему: «Уже привык. Подпольщика ноги спасают».

Морозова вспоминала, как Серго говорил про Малиновского: «В то время он еще не предавал, нет, не предавал...»

Орджоникидзе ошибался — Малиновский уже состоял на службе у Московского охранного отделения. Почему он не донес о встрече с профессиональным революционером, неизвестно.



Изабелла Георгиевна Морозова вспоминала о своей беседе с Розмирович, происшедшей в двадцатые годы. Тогда,

отмечала она, можно было говорить обо всем вслух и не скрывать правды. Морозова хотела уточнить, когда же у Елены Федоровны впервые появилось подозрение в отношении Малиновского.

Елена Федоровна отвечала как на духу, без утайки.

— Конечно, Малиновский долгое время был вне всяких подозрений, — делилась она своими мыслями, — ведь мало ли какие пакости могли говорить наши враги, чтобы подмочить репутацию рабочего депутата. Могла распускать порочащие его слухи и полиция — та, вы хорошо знаете без меня, ничем не брезговала.

Однажды ко мне подошел рабочий, который когда-то трудился вместе с Малиновским на заводе Лагензипена, и спросил: «Знаете ли вы, что за Романом водились кое-какие грешки и даже поговоривали, что он связан с полицией?» Я попросила его привести доказательства. А рабочий ответил мне: «Люди поговаривают, а дыма без огня не бывает». Лично я в ту пору подобные разговоры считала несерьезными.

Морозова напомнила своей собеседнице, что порой бывает недоброе предчувствие, тем более на подпольной работе.

— Да, да, бывает, — согласилась Розмирович, — и у меня такое чувство появилось, но гораздо позднее. Как-то наша фракция готовила ему выступление — Малиновский был согласен со всем и даже сам вводил смелые фразы, осуждающие правительство. В тот вечер он ушел домой рано, сославшись на то, что придется побыть с детьми, пока Стефа выйдет из дома по делам. Я как раз зашла к Полетаевым и на лестничной площадке столкнулась со Стефой и с недоумением поинтересовалась, как это она так быстро вернулась. Стефа удивилась: «Я весь день дома». «А Роман Вацлавович?» «Он еще не пришел», — ответила она. Тут у меня и появилось сомнение в правдивости его слов. Выходит, Малиновский говорил неправду, оправдывая свой ранний уход из Думы. Такого в наших кругах не бывало: не предупредив товарищей, вдруг исчезнуть на неопределенное время.

На другой день, вспоминала Розмирович, Малиновский неожиданно самостоятельно внес в свой текст исправления, чем вызвал недовольство Бадаева. Мы отнесли это к тем тренингам, которые стали возникать в большевистской фракции.

Никто не мог тогда даже представить, что исправления внести ему посоветовали полицейские чины.

— Как-то, перебирая бумаги, — продолжила Елена Федоровна, — я обратила внимание на лист, исписанный незнакомым почерком. Бумага была дорогой, такой большевики не пользовались. Перехватив мой взгляд, Малиновский почти вырвал лист из моих рук и для того, чтобы скрыть свою грубость, не нашел ничего лучшего, как пояснить: «Сугубо личное». Сделал он это слишком неловко. Я-то знала, что он женщинами не увлекается, да и поклонниц, которые бы ему писали, не было. Долго пыталась вспомнить, где я видела подобную бумагу. Потом догадалась, откуда она могла попасть к Малиновскому, и поинтересовалась, что же все-таки за лист был в его документах. Теперь уже не смутившись, он ответил: «Даже не помню, о чем это вы, Елена Федоровна». А сам знал, шельма, о чем идет речь. Когда меня арестовали, я передала товарищам на волю, что подозреваю Малиновского в провокации. К сожалению, мне не поверили.

Когда Елену Федоровну, срочно покинувшую Петербург, неожиданно арестовали в Киеве, жандарм на допросе, чтобы удивить ее и блеснуть своей осведомленностью, поведал о таких подробностях, которые могли знать лишь два человека.

— Видите, мы в курсе каждого вашего шага...

— Теперь не сомневаюсь, что в курсе, — ответила она, — и знаю, кто вам донес.

«Малиновский!» — подумала она, уже полностью в этом убежденная.



Заседание Верховного трибунала ВЦИК, на котором председательствовал О.Я. Карклин, состоялось 5 ноября 1918 года. Обвинение поддерживал Н.В. Крыленко, защищал обвиняемого известный адвокат Оцеп.

Главные обвинения против Малиновского были следующие:

1. Добровольно предложил в 1910 году свои услуги охранной полиции.
2. Проникнув затем во все наиболее значительные партийные организации, сообщил Московскому охранному от-

делению массу необходимых для последнего сведений о партийных организациях, отдельных деятелях, их кличках, нелегальных складах, типографиях и прочее, в результате чего были арестованы виднейшие партийные работники и систематически разрушались московские нелегальные организации.

3. Не довольствуясь работой этого масштаба, принимал поручения охранного отделения за границу, в частности в 1912 году на Пражскую конференцию партии большевиков, куда ездил как делегат МК партии и одновременно в качестве агента за счет охранного отделения, затем, будучи избран в ЦК партии, давал необходимые для охраны сведения о составе и деятельности конференции и ЦК партии, а также ряд обширных материалов о деятельности ППС-левицы и правицы, Бунда и польской с.-д. партии.
4. В целях денежного обогащения и личного честолюбия проник в Государственную думу в качестве депутата от рабочих города Москвы и кандидата с.-д. партии, причем для этого пользовался услугами охраны, подлогами, доносами и провоцировал арест лиц, мешавших ему в достижении намеченной цели.
5. Состоя членом Думы, давал Департаменту полиции детальную информацию о партийных организациях Думы, сообщал подробные данные о заграничных партийных центрах, для чего выезжал за границу за счет охраны, и продолжал содействовать розыскным органам в арестах партийных работников; далее по требованиям того же Департамента полиции изменял и смягчал свои выступления в Думе в качестве депутата, для чего предварительно давал на просмотр Белецкому заготовленные речи и этим заведомо ослаблял работу по использованию Думы в качестве революционной трибуны, каковую задачу поставила себе с.-д. думская фракция.
6. Будучи разоблачен, принял денежное вознаграждение за свое предательство (в сумме 6 тысяч рублей) и скрылся за границу без объяснения этого фракции и рабочим России, чем внес дезорганизацию в ряды революционеров и партийные группировки, посеял смущение в рядах рабочих масс и дал возможность использовать его преда-

тельство врагам революции для клеветы на все рабочее движение и его вождей.

7. Будучи уже за границей и в плену, скрыл свое прошлое от партийной следственной комиссии и продолжал свою якобы революционную деятельность и новый подрыв и дискредитирование революции и ее вождей в глазах трудового народа».



Из материалов Верховного рев. трибунала при ВЦИК.

Письменные показания Малиновского от 27–28 октября 1918 г.

«В 1892 или 1894 году я остался сиротой, когда помер отец, мне было 8 лет, а к смерти матери — 14, старшие сестры отдали меня в книжный магазин Баера в гор. Плоцке в учение, но я не хотел там быть... Я решил пуститься в кругосветное путешествие, для чего подговорил некоего Кокуляро, и в июле 1897 года мы бежали с намерением пробраться в Германию, денег для этого мы имели по три рубля. Добираясь до границы, по дороге попался нам одинокий дом, куда я вошел; в нем не было никого. Я стал искать, нашел хлеб, сыр, масло и 13 или 23 рубля денег; по дороге в Липно нас арестовали и осудили за кражу...

В апреле 1906 года в Петрограде поступил токарем на завод Лангензипена. Здесь впервые я знакомлюсь с политической агитацией и начинаю работать на общественном поприще. Сперва член заводского беспартийного комитета, затем районный секретарь союза рабочих по металлу, а осенью 1906 года избирают меня в секретари правления...

В январе 1909 года переехал в Москву...

В апреле 1910 года приехал ко мне Макар* и после нескольких свиданий предложил мне войти в состав ЦК, на что я согласился и ожидал кооптации.... Кооптация еще не состоялась, а я уже был арестован...

Ротмистр Иванов показал мне целый ряд фотографий.

Первоначально на допросе я отрицал все, но когда он показал мне снимок меня и Макара, снятый в Петровском парке, и рассказал мне, что он знает и все дело с типографией,

* Видный революционер В.П.Ногин.

мне стало страшно — ничего еще не сделал и уже в каторгу, буквально без гроша, жена и двое детей, а он тут, как Сатана: «Согласись у нас служить — и все закроем...»

Я согласился...

До декабря 1910 года моя деятельность в охране была почти безвредной, я никуда не ходил, никаких связей не искал, наоборот, сколько было сил, прятался от всех... Но это не значит, что я ничего не доносил, были случаи, когда у меня не было выхода, такой случай с организацией примиренцев: Шер, Круглов, Козельский, Дмитриев, Чиркин и другие. Об этом совещании я донес, это был первый шаг моей подлости...

Долголетний страх, что могут меня открыть, что я сидел за кражу, прибавление к тому службы в охране превратили меня в какого-то жалкого труса. На собрании я казался смел, но дома где-нибудь наедине превращали меня в какое-то ничтожество. Эта двойная игра всосалась уже в организм, и я был собою только в бессонные ночи и годен только к страданиям и угрызениям совести, которая таилась еще где-то в глубине...

Я ушел из Думы, потому что не было больше сил переносить эти мучения. Длинные годы страха, эта полная беспомощность, эти годы внутренней борьбы привели к тому, что я просто погибал... Никто не знал правды, почему я ходил неделю или больше с перевязанной головой, говоря, что меня лошадь ударила; так знайте правду: я бил головой о стену так, что до кости рассек голову, а на какой-нибудь решительный шаг не был способен...

А потом пошли война и плен. Я часто на войне лез на рожон, был случай, что из роты осталось меньше половины, но я остался жив. Попался в плен и тут только я стал очухиваться...

Куда мне деться, мне нечем жить, как только верой в ваше правое дело, а туда мне двери закрыты, я их закрыл сам. Ехать в Польшу, куда меня хотели послать, к месту рождения, остаться в Германии — это значит скрываться, этого я не хочу, потому что не могу.

Вот моя исповедь. Если что неясно — спросите, я дам ответ.

Зачем я приехал? Приехал кровью смыть мою когда-то позорную жизнь. Ведь после того вы поверите, я думаю — да. Но больше мне ничего не надо».



Из выступления представителя обвинительной коллегии при трибунале Н.В. Крыленко.

«...Я полагаю, что к тем объяснениям, которые давал подсудимый, следует относиться с достаточной осторожностью. В тяжелый момент борьбы с врагами, что бы ни говорил подсудимый о том, что он знает или не знает приговор, я полагаю, что Верховный трибунал решит вопрос о судебной мере, которая должна быть принята во имя ограждения интересов революции, борьбы против контрреволюционных сил. Я полагаю, что никто из вас не будет колебаться в вынесении того приговора, который в данном случае должен быть вынесен человеку, который нанес самые тяжелые удары революции, поставив ее под насмешки, издевательства врагов революции, потом пришел сюда, чтобы продемонстрировать здесь раскаяние. Я думаю, что отсюда он выйдет только с одним приговором, каковым будет расстрел!»



Выступление защитника обвиняемого адвоката Оцепа.

«...Не мне здесь пытаться найти скрытую силу мотивов, которые оправдывали бы деятельность не одного Малиновского, а целого ряда людей, которые парализовали революционное движение в России. Это особое народное явление, которое может подлежать не анализу суда, не в процессе, когда решается судьба одного человека, это задача объективного историка, психолога, который в будущем расскажет нам, чем обуславливалось это явление.

Мне казалось, что мой слух меня не обманывает, подсудимый был искренен, когда говорил, что не добровольное желание, не его личная инициатива, а проклятые условия толкнули его на провокацию... У него постоянная борьба: с одной стороны — социалист, с другой стороны — предатель социализма, провокатор. И что же — этот человек вырывается из-под тисков провокации; тогда, в первый год войны, он не уклоняется от гражданского долга, он остается жив и оттуда, когда отправляли пленных, он приезжает в Россию. Спрашивается: зачем он приехал? Он мог не приезжать туда, где ему грозила смерть, но он искал этой смерти, может быть, этот приговор мы и услышим, но когда обвинитель требует

этого приговора, когда подсудимый сам себе вынес его, я не допускаю, чтобы он был, как кажется подсудимому в его болезненном воображении...

Граждане судьи, теперь идет борьба там, на фронте, орудия на фронте творят дело социализма, там смерть понятна; здесь, в тиши спокойствия, при такой обстановке так не вяжутся, не мирятся со смертью те лозунги, которые провозглашает социализм, и я не только как защитник, но и как человек прошу с вашей стороны гуманизма по отношению к моему подзащитному».



Из последнего слова Р.В. Малиновского, произнесенного на судебном разбирательстве:

«Я прекрасно понимаю, что вы как люди можете меня понять, но вы еще судьи, кроме того, и я прекрасно понимаю, что прощение неприемлемо для меня; может быть, лет через сто оно и будет возможно, но не теперь. И вы меня должны судить как судьи, и я знаю, что другого приговора, кроме расстрела, мне не может быть».



Приговор Ревтрибунала.

«Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Революционный Трибунал при ВЦИК Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, заслушав и рассмотрев в заседании своем 5-го ноября сего года дело Романа Вацеславова Малиновского, уроженца Плоцкой губернии, Липновского уезда, гмины Чарны, деревни Глодово, 40 лет, по обвинению его в провокаторстве, признал:

Предъявленные к нему, Малиновскому, в заключении Обвинительной Коллегии Революционного Трибунала при ВЦИК обвинения доказанными, постановил его, Малиновского, расстрелять.

Приговор привести в исполнение в 24 часа.

Председатель трибунала О.Карклин, члены: А.Галкин, М.Томский, И.Жуков, В.Черный, П.Бруно, К.Петерсон».



Судьба Малиновского была решена быстро — заседал революционный трибунал всего один день. В ночь с 5 на 6 ноября 1918 года он был расстрелян. Революционный трибунал не принимал никаких ходатайств, помилований и просьб. Трибунал был суров и беспощаден, как сама революция.



На этом можно было бы и завершить рассказ о провокаторе — в принципе в этой истории все понятно, кроме отдельных деталей, характеризующих взлет и падение двуличного человека. Но до сих пор исследователей волнует, пожалуй, только один вопрос: что же побудило его вернуться в Россию?

Никаких документов на этот счет не существует, существуют только версии. Как наиболее правдоподобную партийные историки представляли такую: Малиновский был в плену завербован германской разведкой и первоначально использовался ею для провокаторской работы среди военнопленных, а затем был направлен в Советскую Россию. За первым предположением следует второе. Возможно, считают они, сдавшись правосудию, он должен был «разжалобить» следователей и судей и, добившись прощения, получить мягкое наказание. После отбывания наказания он мог продолжать «работать».

Свою версию историки, изучающие деятельность КПСС, подкрепляют весьма своеобразно. Надежды, которые могли быть у Малиновского, по их мнению, не были лишены основания, поскольку, мол, в первые годы Советской власти революционные суды выносили даже ярким контрреволюционерам лишь общественное порицание, оставляя их на свободе под взятое честное слово.

Но все это, разумеется, лишь попытки что-то объяснить, а не само объяснение.

Никаких доказательств того, что Малиновский занимался провокаторством в лагере для военнопленных, нет и по сей день, как и доказательств, что он работал на германскую разведку. Напротив, имеются свидетельства, что, находясь за колючей проволокой в солдатской среде, он пользовался

уважением и даже помогал землякам выжить в трудных условиях.

Надежды добиться снисхождения у большевиков, которых он предавал и беспощадность которых слишком хорошо знал, не было никакой. Почему же тогда он вернулся?

В тридцатые годы этот же вопрос Морозова задавала Крыленко, который когда-то пламенно обличал Малиновского на судебном процессе, став видным советским юристом.

— Я тоже этим интересовался, — признавался Николай Васильевич, — и даже спрашивал у Оцепа, на что же рассчитывал его подзащитный, вернувшись домой. И знаете, что ответил мне Оцеп? Малиновский сказал ему: «Я устал... Мне теперь все безразлично».



В этой истории, казалось, не должно было оставаться белых пятен, ведь дело провокатора разбиралось трижды. В первый раз им занимались товарищи по партии, которые так и не обнаружили никаких грехов. Во второй — Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства в 1917 году, расследовавшая противозаконные действия служащих свергнутого режима. Следователи этой комиссии допросили не только свидетелей, но и использовали документы, извлеченные после Февральской революции из полицейских архивов. Третье, по сути заключительное расследование, проводилось при советской власти революционным трибуналом, который использовал материалы, полученные Чрезвычайной комиссией, и показания самого провокатора, отсутствовавшего при втором расследовании.

Но пятна все же остались, и одно из них — самое существенное. Был ли Малиновский на самом деле тем человеком, которым он назывался, или под этой фамилией скрывалась совершенно другая личность?

Во время следствия 1914 года датой своего рождения он назвал 18 марта 1877 года, в октябре же 1918 года определил свой возраст в сорок лет, что и было записано в приговоре трибунала. Но в некоторых источниках фигурирует и другая дата — 1876 год.

Почему же обвиняемый так ошибался, путая год своего рождения?

В разговорах с товарищами Малиновский не раз упоминал, что происходит он из обедневшего шляхетского рода. Об этом заявил и перед партийной следственной комиссией. Но в документах с момента его избрания депутатом в IV Государственную думу он числится крестьянином — уроженцем Плоцкой губернии, Липновского уезда гмины Чарны деревни Глодово.

На Пражской конференции большевиков под большим секретом он сообщил «только» Ленину (оказалось, и другим тоже), что из-за событий 1905 года давно живет по чужому паспорту, а в 1914 году Ленину и Зиновьеву сказал, что паспорт принадлежал пассажиру, нечаянно убитому им в драке на пароходе...

Где правда — никто так и не узнал. И, наверное, вряд ли узнает, потому что время стирает даже камни, но в первую очередь оно стирает документы и свидетелей.



СУДЬБА ГЕНЕРАЛА ДЖУНКОВСКОГО

Карьера жандармского генерала Владимира Федоровича Джунковского завершилась не в связи с делом провокатора Малиновского, как считают многие, а на попытке разоблачить похождения любимца царской семьи небезызвестного Григория Распутина. По одним сведениям, московский градоначальник генерал Адрианов, вызванный в ресторан «Яр», где Григорий, или Гришка, как его презрительно называли в народе, гулял со своей компанией и допускал недозволенные вещи, был против составления протокола, в котором бы упоминалось имя Распутина, «так как это не понравится царской семье». По другим сведениям, он пытался лично доложить царю об имевшем место скандале, но дворцовый комендант Воейков не допустил этого. Тогда Адрианов обратился за содействием к Джунковскому, пользовавшемуся правом непосредственного доклада Николаю II.

Джунковский, презиравший Распутина, до этого уже пытался раскрыть глаза на проходимца, но его информацию не замечали. На сей раз он решил воспользоваться предоставившейся возможностью — адриановские сведения об инциденте в ресторане «Яр» были как раз кстати, чтобы окончательно отдалить «старца» от дворца.

Мы знаем, какие документы имелись у Джунковского.

Главным обвинением против Распутина был рапорт пристава второго участка Суцевской части подполковника Семенова полицмейстеру Москвы, в котором говорилось, что «26 марта 1915 года около десяти часов вечера в ресторан

«Яр» прибыл в сильной стадии опьянения Григорий Распутин; вместе с ним были: вдова потомственного почетного гражданина Анисья Ивановна Решетникова, журналист Николай Никитов Соедов и неустановленная молодая женщина. Заняв отдельный кабинет, Распутин вызвал по телефону редактора-издателя московской газеты «Новости сезона», потомственного гражданина Семена Лазарева Кагульского и пригласил женский хор. Прослушав несколько песен, Распутин сплясал и русскую». «Крайне непочтительно, — подчеркивается в рапорте, — отзывался об ее императорском величестве Александре Федоровне и царских дочерях». Там же: «Поведение Распутина приняло совершенно безобразный характер. Он разделся и в голем виде продолжал вести беседу с певичками хора, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде «люби бескорыстно». На замечание заведующего хором о непристойности такого поведения в присутствии женщин Распутин возразил, что он всегда так держит себя перед женщинами, и продолжал сидеть в том же виде. Некоторым из певичек Распутин дал по 10–15 рублей — деньги брал у своей молодой спутницы, которая затем оплатила и все прочие расходы по «Яру». Около десяти часов компания разъехалась».

Другой документ — письмо исполняющего обязанности начальника московской охранки Мартынова на имя Джунковского под грифом «совершенно секретно, строго конфиденциально». Его превосходительству товарищу министра внутренних дел, командиру отдельного корпуса жандармов генерал-майору В.Ф.Джунковскому сообщалось: «В соответствии с Вашим требованием изложить полностью подробности, связанные с пребыванием Григория Ефимова Новых (Распутина) 26 марта 1915 года в ресторане «Яр», в дополнение к ранее направленному Вам донесению сообщаю: совершенно опьянев, Распутин начал откровенничать с певичками в таком роде: «Этот кафтан подарила мне «старуха», она его и шила, эх, что бы сама сказала, если бы меня сейчас увидела». На вопрос одной певички, о какой старухе он говорит, Распутин отвечал: «О царице, дура!»



Известно, что начальник охранного отделения полковник А.П.Мартынов доложил Джунковскому и другие подробности — опьяневший Распутин хвалился своим знакомством с царской семьей, пьяная оргия была устроена неким Н.Н.Соедовым, который обещал Распутину долю в барышах за содействие в получении подряда на поставку белья в армию.

Собрав сведения, Джунковский 1 июня 1915 года доложил обо всем царю. Он сказал, что Распутин угрожает династии и интересам России и терпеть больше его во дворце нельзя.

— Прошу вашего разрешения продолжить начатое расследование, — попросил он.

— Я вам не только разрешаю, но я вас даже прошу сделать это, — ответил Николай II на просьбу Джунковского.

По мнению современников, доклад Джунковского, пользующегося уважением царского окружения, произвел на Николая сильное впечатление. Распутину было приказано немедленно удалиться в родную деревню. С тех пор «старец» ненавидел Джунковского и при упоминании одного только его имени приходил в ярость.

Николай II вызвал к себе флигель-адъютанта, поручив ему разобраться в происшедшем. В.Н.Саблин оказался не из робкого десятка и не стал сглаживать остроту конфликта, но дальше стали происходить невероятные вещи. На свидетелей скандала в ресторане «Яр» стало оказываться давление, сторонники Распутина призывали их к милосердию, а когда это не срабатывало, запугивали. Новое предвзятое расследование обрисовало совершенно иную картину: Распутин скромно отужинал в ресторане и спокойно покинул «Яр», а все разговоры о финансовых махинациях — интрига Джунковского.

Царица употребила все свое влияние и объяснила супругу, что дело «старца» сфабриковано полицией и разговоры о нем — заговор недоброжелателей.

— На святых всегда клеветают, — как-то произнес при свите царь фразу, сказанную супругой, дав тем самым понять, что «богоспаситель» им прощен и козни полиции пресечены.

То был сигнал к отставке генерала Джунковского, посмевшего сказать правду.

Пока в столице разбирались с его делом, Распутин возвращался домой. На пароходе, следовавшем из Тюмени в деревню Покровское, он устроил скандал с командой и пассажирами. Свалившись со столика в каюте, лежал пьяный на полу до вечера, пока не прибыли в деревню. Агенты полиции, сопровождавшие «старца», с помощью матросов еле вынесли Распутина на берег. На другой день, придя в себя, он удивлялся степени своего опьянения, так как выпил слишком мало, и говорил агентам:

— Этого Джунковского, через которого мне вышло зло, со службы уже уволили. Он еще не знает, но это так. Он будет думать, что уволили его через меня, а я не знаю, кто он такой...

Сообщения филеров были переданы по инстанции и дошли до Джунковского — товарища министра внутренних дел и генерал-майора царской свиты. Он усмехнулся, прочитав донесение: «Какой бред несет этот авантюрист!»

Дней через шесть Джунковский пригласил к себе министр внутренних дел князь Н.Б. Щербатов.

— От вас у меня секретов нет, Владимир Федорович, — сказал он. — К моему великому сожалению, я получил записку царя. Вот прочтите.

И он протянул плотный лист бумаги, на котором почерком Николая II значилось: «Настаиваю на немедленном отчислении генерала Джунковского».

— Что вы решаете предпринять? — поинтересовался князь у своего заместителя.

— Отправлюсь в действующую армию, — ответил Джунковский. — На фронт. Где еще может быть дворянин в эту пору?

И, встав, откланялся.



Жизнь и служба Владимира Федоровича Джунковского заслуживают особого рассказа.



Долгие годы советские историки кропотливо изучали деятельность не только известных революционеров, но и ма-

лоизвестных, обходя стороной представителей царского режима. Наверное, изучать последних надо было хотя бы для полноты картины и верной оценки и сопоставления исторических фактов.

Кем был Джунковский, так лихо расправившийся с ценным агентом охраны, Малиновским, нанеся своей службе ощутимый вред? Не соверши он такого поступка, позволъ Малиновскому продолжать информировать охранку, и «работа» провокатора могла выгодно для генерала повлиять на последующие события.

Да, Владимир Федорович Джунковский был жандармом, царским генералом, но и , как признают его современники, человеком чести и высокой нравственности.

Карьера его складывалась удачно. Потомок знатного рода, он учился в привилегированном военно-учебном заведении России — Пажеском корпусе, в который, как известно, зачисляли только детей знати. Вышел из корпуса в 1884 году в звании подпоручика в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1891 году после блестящей службы стал адъютантом московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. В этой должности состоял четырнадцать лет, дослужившись до капитана. После убийства Великого князя эсерами в феврале 1905 года некоторое время был не у дел, но уже в августе того же года в чине полковника и флигель-адъютанта был назначен московским вице-губернатором, а спустя некоторое время губернатором.

В трудные годы он принял этот пост. По всей стране, по всей губернии прокатывались волнами забастовки и крестьянские бунты. Случалось вызывать на помощь и войска, но Джунковский старался обходиться без кровопролития. На него жаловались, его обвиняли в либерализме. Высокопоставленные чиновники даже говорили о его потворстве бунтовщикам. Но губернатор, которого ценила царская семья, не был наказан, он даже получил повышение в чине.

Как-то Николай II пресек жалобщиков: «Не наговаривайте на Владимира Федоровича. Я знаю — он человек чести».

В 1913 году Джунковский был назначен на должность товарища министра внутренних дел и командира Отдель-

ного корпуса жандармов, в обязанность которого входило наблюдение за деятельностью охраны. Тут он и скрестил шпагу с коллегами по вопросам политического сыска. Признавая необходимость агентуры, он придерживался и рамок приличия. Первый же его циркуляр после вступления в должность запрещал вербовать агентов среди учащейся молодежи. Позже он пробовал ограничить и вербовку солдат.

Джунковский стремился соблюдать законность. Для тех же, кто служил с ним, она была лишь пустым звуком. В империи всегда нарушались законы. А где, собственно, они не нарушались?

Джунковский вступил в должность товарища министра внутренних дел 25 апреля 1913 года. Первое, за что он взялся, было сокращение разросшейся сети секретных агентов, что, как он считал, нарушает границы законности и целесообразности. Его начинание встретил в штыки директор Департамента полиции Белецкий, и между ними развернулась настоящая борьба, которая окончилась победой Джунковского. Белецкий, став сенатором, ушел с поста.

Как оценивал новый товарищ министра деятельность своего подчиненного, директора Департамента? Ответ в воспоминаниях генерала, в которых, в частности, он отмечал: Белецкий «переутомлял меня всякой мелочью, спрашивая моего согласия на разные пустяки, стараясь этим отвлечь меня от главного, существенного».

Споры их длились долго. Каждый настаивал на своем, но победу одерживал всегда Владимир Федорович.

Несмотря на то, что после апрельских демонстраций в Петербурге в 1913 году проводились аресты учащихся по доносам осведомителей, Джунковский воспротивился использовать молодежь в роли стукачей. Белецкий с ним не соглашался: «Нам все равно, кто даст информацию, лишь бы она была на благо Отечества». Джунковский парировал: «Я не разрешу развращать учащихся. Есть понятия морали и чести».

Что касалось осведомителей в армии, то Джунковского огорчала причастность к агентуре офицеров, иные из которых провоцировали выступления в своей среде, чтобы выявить смутьянов. Хотя военный министр В.А.Сухомлинов ко

всему этому относился благосклонно, Джунковский издал приказ, запрещающий подобную деятельность.

Он ввел много новшеств, не все они нравились его сослуживцам. В чем-то повторяя либерала Лопухина, он шел дальше — издавал приказы, вносил поправки в инструкции.

Стремился навести порядок и в полицейском ведомстве — разрешил перлюстрировать письма только тех, кто нарушал порядок; выступал против ссылки, считая, что она только укрепляет оппозицию; пресек произвол в отношении пассажиров на железных дорогах, где у полиции была полная власть. Известны случаи, когда, пользуясь своим правом, он сокращал сроки ссылки, а тем, кто просил разрешения выехать за границу, никогда не отказывал.

Иначе смотрел он и на охранные отделения, признавая, что зачастую в них превышают полномочия, потому распорядился упразднить все охранные отделения, сохранив их только в Петербурге, Москве, Варшаве, а в иных губерниях снизил статус до розыскных отделений.

В январе 1914 года место Белецкого занял выдвиженец Джунковского А.В.Брюн де Сент-Ипполит, бывший присяжный поверенный, который был умен и расчетлив. Известен документ, составленный новым директором Департамента полиции, в котором тот предвосхитил политические события, предсказав их дальнейший ход. Известно и распоряжение Брюна, данное внутренней агентуре: всеми средствами мешать воссоединению большевиков и меньшевиков. Брюн докладывал Джунковскому:

— Эти организации принесут Отчеству большую беду.

— Я понимаю ваше желание, — отвечал Джунковский, — но так же действовал и Белецкий, ориентировавший агентуру на внесение раздоров в фракции РСДРП. Не скрою, методы Белецкого мне не нравились.

Приняв документы от Белецкого, Брюн обнаружил в них разработку операции по внедрению провокатора Малиновского в Государственную думу. Он пришел с этим к Джунковскому, и тот буквально вскипел, обнаружив подлоги, произведенные полицией.

— Я был уверен, что Белецкий способен на авантюры. Ему нарушить законность ничего не стоило. Ах, как это все гнусно!

Дело Малиновского Джунковский использовал против своего недруга.

Так и осталось под вопросом: знала ли полиция, что твоорила? Белецкий утверждал, что генерал знал о том, что Малиновский проталкивается в Думу, а Джунковский, наоборот, утверждал, что по этому поводу с ним никто не советовался, потому что беззакония он никогда бы не допустил. Выяснив, что Малиновский, агент охраны, ходит в депутатах Думы, он потребовал его отставки и имел неприятный разговор с председателем Думы М.В.Родзянко.

Период либерального генерала характеризуется сокращением штата секретной службы. В бюджете Департамента полиции высвободилось свыше 500 тысяч рублей в результате проведенных им реформ. Он сократил часть охраны здания на Фонтанке, 16, где находился Департамент, сократил и охрану матери Николая II вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Теперь чины полиции, проводящие операции, на которые требовались значительные затраты, должны были получать разрешение начальства.

Казалось, политический розыск в результате реформ будет приведен в порядок и установка Джунковского одержит верх. Но Белецкий не сдавался. Он плел интриги и втягивал в свою орбиту людей Распутина, который имел при дворе огромное влияние. Белецкий победил. Реформатор охраны вынужден был покинуть министерство внутренних дел.



Не знаю, как воспринял генерал Джунковский октябрьский переворот, позже названный Великой Октябрьской социалистической революцией. Думаю, без восторга, ведь рухнул режим, которому он верно служил всю свою сознательную жизнь, в который верил и перед которым преклонялся. Теперь все оказалось в прошлом — хозяйничали другие люди, звучали другие призывы.

В первые годы советской власти, наблюдая за стремительно меняющимися событиями, он спокойно жил вместе с сестрой в Москве, в Большом Ржевском переулке. Никто его не тревожил — чекисты не обыскивали, газеты, разоблачавшие царских сановников, его имени не упоминали. Происходило

нечто странное: в то время, когда карали чиновников старого режима, Совнарком, напротив, выплачивал ему, отставному генералу, шефу жандармов пенсию в размере 375 рублей в месяц. Деньги для того времени, правда, небольшие, но все-таки позволявшие не влачить жалкое существование.

Морозова этот парадокс объясняла так: большевики, зная честность и порядочность генерала, относились к нему лояльно, видимо, рассчитывая привлечь на свою сторону.

И такая попытка действительно была предпринята. Новая власть вдруг захотела поработать с Джунковским. Его вызвали в ЧК.

— Вы бы сделали заявление к бывшим чиновникам, чтобы те стали с нами сотрудничать, — без намеков, вполне откровенно предложили ему.

— За других ручаться не могу, — ответил Владимир Федорович, — а сам, как видите, стар и болен, чтобы быть вам полезным. Каждый поступает так, как велит ему совесть. Честно сказать — я не воспринимаю революцию, и то, что вы делаете, в моем сознании не укладывается. Если вы решили построить новое общество, как об этом мечтали, то не повторяйте французов — постарайтесь пролить как можно меньше крови...



Пряник, который вначале показали новые правители, обернулся кнутом. Убедившись, что Джунковского к рукам не прибрать, его зачислили в разряд врагов и в тот же день спустили в подвал, где находились другие заключенные.

В начале декабря 1918 года прошли первые допросы, которые были недолгими — уже одно то, что арестованный возглавлял при старой власти корпус жандармов, для новой считалось тяжким преступлением. Потому, отправляя именитого арестанта в Бутырскую тюрьму, следователь на сопроводителке отметил: «Зачислить за ВЧК впредь до особого распоряжения».

Видимо, его еще намеревались склонить к сотрудничеству.

Почти полгода копалась следчасть ВЧК в документах, пытаясь отыскать факты преступлений господина Джунковского против собственного народа, но как ни упорствовала —

ничего не нашла. Так без доказательств дело передали все же в Московский ревтрибунал — не освобождать же, расписавшись в собственном бессилии!

Заседание трибунала, которое вел известный чекист Петерс, состоялось 6 мая 1919 года. Как следовало из приговора, никаких серьезных обвинений Джунковскому не было предъявлено. Основная вина его, читаем в документе, заключалась в том, что «в бытность московским губернатором в период времени с ноября 1905 г. по 1913 г. принимал участие в ликвидации революционного движения 1905 г., в частности, выразившееся в посылке вооруженной силы из частей Семеновского полка, хотя и без фактического применения таковой, а также в том, что ...занимал высокие административные посты и по своему служебному положению своими действиями и распоряжениями противодействовал проявлению в рабочей среде революционного движения».

Обвинение, конечно, наивное. Выходит, находясь на государственной службе, занимая высокие посты, он должен был тем не менее способствовать революционному движению и подрывать строй, которому служил?

Услышав подобное, Джунковский решил, что его непременно оправдают. Наверное, такое решение принял бы любой суд, не располагавший конкретными доказательствами вины обвиняемого, но ведь ревтрибунал судил по меркам революционной законности, руководствуясь своими субъективными мотивировками, учитывая текущий момент, а не постулаты юриспруденции. Новая власть все старые ценности решительно отвергала.

В приговоре ревтрибунала записано: «...следствием не установлены расстрелы рабочих и крестьян по прямому распоряжению Джунковского... в своей личной жизни он иногда проявлял чуткость и гуманность по отношению к своим обиженным подчиненным».

Представляю, как воспрянул духом старый генерал: услышав это, он наверняка решил, что теперь свободен.

Не тут-то было. Уже существовали новые революционные законы, по которым степень вины определялась принадлежностью к классу имущих, хотя Джунковский хорошо знал, что лидеры новой власти, вершители тысяч людских

судеб — Ульянов, Троцкий, Свердлов, Семашко и другие их соратники — сами относились к имущим, и потому рассчитывал если не на снисхождение, то на какое-то понимание. Но вывод ревтрибунала его поразил: «При данной обстановке гражданской войны признать обвиняемого верным слугой царского абсолютизма и убежденным монархистом, опасным для советской власти».

Приговор прозвучал как удар: заключение в концлагерь до окончания гражданской войны без применения амнистии.

— Но позвольте, господа... — пытался было он возразить.

— Что ж вам непонятно? — громко спросил Петерс, давая тем самым понять, что разговор окончен.

Впрочем, Джунковскому все же повезло. В те времена расстреливали и за более мелкие прегрешения, не говоря уже о тех случаях, когда обвиняемые имели какое-то отношение к полиции. Так что со стороны Петерса приговор был великодушным жестом.

А дальше в жизни бывшего шефа жандармов произошло вовсе непонятное. Из концлагерей, размещавшихся в монастырях Москвы, где содержали офицеров, его почему-то отправили в Таганскую тюрьму — там в основном находились уголовные элементы.

— Мне кажется, его все же хотели сломить, — отмечала Морозова, — и таким образом заставить вымолить прощение. Письмо, которое он мог написать под диктовку следственной части на Лубянке, было для него спасательным кругом, но он им не воспользовался — такой уж был человек. Согласен был перенести все тяготы тюремной жизни, лишь бы не отречься от своих принципов. Он был гордым...

Начальник концлагеря, видимо, человек совестливый, написал на своего именитого заключенного положительную характеристику. Та мало что значила — ведь выпускать генерала на свободу власти не намеревались.

Ирония судьбы, с которой нередко сталкиваешься в жизни: в Бутырке, куда перевели Джунковского, бывший генерал свиты занимался... разведением кроликов. То был процесс перевоспитания, который позже стал массово практиковаться в лагерях, — поборники строительства нового мира полагали, что таким образом они перекуют буржуазные эле-

менты на новый материал и те, перекованные, принесут в новой для себя жизни пользу трудовому народу.

Наверное, генерал стал бы отменным кролиководом и принес бы, несомненно, пользу трудящимся — его даже ставили в пример, — если бы не заболел. Тюремный врач констатировал: грудная жаба — и ходатайствовал о помещении заключенного в тюремный лазарет. Вмешалась родная сестра Джунковского, исклопотавшая от оперчасти ВЧК разрешение на помещение брата в больницу при Александровской общине, находившуюся на Арбате.

Полтора месяца глотал там Джунковский пилюли и микстуры, пока в один из прекрасных дней, когда приступы стали слабеть и грудь уже не обкладывало, как прежде, сердобольный доктор — тоже, видать, из бывших — с горечью признался своему пациенту:

— Вас, дорогой мой, требуют обратно. Они не знают, что эта болезнь не излечивается. Вам бы еще полежать...

Как все бывшие офицеры и генералы, находившиеся в заключении, Джунковский с нетерпением ожидал окончания гражданской войны — только тогда им была обещана свобода. Вскоре, казалось, она наступила. В первых числах ноября 1920 года Красная Армия взяла штурмом сильные и почти неприступные укрепления врангелевской армии на Перекопе. Белые покинули Крым. То был долгожданный конец всем мучениям, и в первую очередь для тех, кто томился в лагерях и тюрьмах.

В ознаменование успеха Красной Армии ВЦИК принял постановление об амнистии некоторых категорий заключенных, отпраздновав тем самым третью годовщину революции.

Срок наказания истек, Джунковский собирался на волю.

Но в очередной раз судьба сыграла с ним злую шутку. Вернувшись к его делу, московский ревтрибунал постановил: «Применить к приговоренному Джунковскому Владимиру Федоровичу амнистию ВЦИК от 7 ноября 1920 года — концентрационный лагерь до конца гражданской войны заменить 5-ю годами принудительных работ с лишением свободы».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Ждал одного, а вышло другое.

Арестованного продержали на Лубянке до февраля 1921 года. Видимо, были какие-то на него расчеты. Затем поместили сначала в Бутырку, позже в уже ставшую ему родной Таганку. Начальник Бутырской тюрьмы, не понимая в чем дело, сделал запрос в ВЧК: «Прошу сообщить, по какой статье зачислить заключенного?» Ответ пришел странный, поразивший даже местную канцелярию: «Зачислить как отбывающего 5-летнее тюремное заключение по приговору Московского трибунала, а также как следственного заключенного за ВЧК».

Никак не хотел с ним расставаться карающий меч революции!

Но освобождение все же пришло. Неожиданно из камеры его доставили прямо в кабинет Дзержинского, и тот со знанием дела стал подробно расспрашивать заключенного о том, как в свое время была организована личная охрана Николая II.

— Вы, Владимир Федорович, на нас зла не держите, — предупредил Дзержинский. — Такова жизнь, мы лишь исполнители...

Кабинет председателя ВЧК поразил Джунковского своей скромностью. На небольшом помосте возле ширмы, перегородившей комнату, сидел секретарь председателя «чрезвычайки» и все аккуратно записывал. Из-за ширмы виднелась металлическая кровать, покрытая солдатской шинелью. От старой жизни остался только большой дубовый стол, крытый зеленым сукном, — такие были прежде в полиции.

«Единственное, что переняла новая власть», — подумал про себя Владимир Федорович.

Дзержинский предложил собеседнику чайку. Секретарь его четко исполнил пожелание начальника — принес на подносе стаканы в серебряных подстаканниках и сахарницу, в которой лежал мелконаколотый сахар.

— Я думаю, вы не против откровенной беседы, — сказал Дзержинский, — угощайтесь.

— Не знаю, чему обязан такому вниманию...

— Мы вас ценим, — откровенно признался Дзержинский. — Уверяю, что больше ничего подобного с вами не случится...

В конце разговора тоном хорошего знакомого он неожиданно спросил:

— А вы, Владимир Федорович, не смогли бы написать нам подробную записку о том, как строилась личная охрана царя? Не все ведь старое нужно выбрасывать на свалку, — мягко пояснил он.

— Извольте, если вам так необходимо, — был ответ.

После консультации, затрагивающей чисто технические вопросы, его из-под ареста освободили. Правда, по указанию Дзержинского еще не раз тревожили, и каждый раз, когда приезжал черный автомобиль, сознание бывшего генерала, как молния, поражала одна и та же страшная мысль: арест!

То была своего рода пытка, которую ему пришлось пережить неоднократно.



Однажды Дзержинский напомнил ему о поездке в дореволюционный Баку, когда по решению царя Джунковский должен был улаживать конфликт, разгоревшийся между бакинскими нефтепромышленниками и местными рабочими. Конфликт тот грозил обернуться стачкой, что правительству было невыгодно — волнения могли перекинуться и на другие промышленные центры империи. Не без помощи Джунковского тогда рабочим удалось заключить с предпринимателями коллективный договор — уступку рабочим, чем воспользовались революционеры, в частности, большевики.

Вернувшегося в столицу Джунковского корили за проявленную уступчивость. Толстосумы утверждали: впредь никаких уступок рабочим, иначе те станут нахальнее. На это Джунковский ответил так: «Вы желаете получить новый бунт? Вы его, господа, непременно получите!»

Под бунтом он имел в виду девятьсот пятый год. Все прекрасно понимали, на что он намекает.

Воспоминания прошлого, конечно, тешили, но не очень, потому что были стерты другими, более важными событиями.

— Вас помнит товарищ Сталин, — неожиданно сказал Дзержинский. — Он считает вас единственно порядочным и честным человеком среди старых сановников. Говорит, что вы всегда были человеком чести...

— Что ж, за такую оценку спасибо, — ответил Джунковский. — Если встретите Иосифа Виссарионовича, то обязательно засвидетельствуйте ему мое почтение. Я-то к нему никогда не попаду...

Как в воду глядел. В 1938 году, когда пошла в стране большая чистка, старого генерала вновь арестовали. Арестовали в последний раз, отправив в лагеря, откуда он уже не вернулся. Сталин о нем, наверное, уже не помнил — столько звучало имен и фамилий, что многие, особенно старые, просто забывались.



МИРОН ЧЕРНОМАЗОВ

Морозова вспоминала, что социал-демократ Мирон Черномазов любил спорить с членами бакинского городского комитета большевиков. Такая у него была слабость.

А тянулся он к самым активным большевикам — Шаумяну, Джапаридзе, Орджоникидзе, Каспарову, Фиолетову, Енукидзе, Стопани...



Серго Орджоникидзе приехал в Баку в самое пекло, в июле 1911 года.

Полуденный зной в Городе ветров был таким мощным, что асфальт буквально плавился под ногами. В городе было тихо и сонно.

К инженеру Степану Шаумяну, находившемуся в конторе нефтепровода, прибежал мальчишка-рассыльный от помощника начальника железнодорожной станции Николая Орджоникидзе. Принесенная записка была написана по-грузински: «Степан-джан! Жду! Из Парижа прибыло симпатичное вино!»

Шаумян понял, что произошло какое-то важное событие, иначе бы мальчишку не послали аж с далекой Персидской улицы. Убрав документы, он предупредил в конторе, что срочно отлучается.

Степан уверенно вошел в комнату: в доме железнодорожника был накрыт стол — зелень, лаваш, сыр, помидоры, огурцы и, конечно, бурдюк с вином.

— Кто прибыл из Парижа? — спросил Шаумян.

— Я! — сказал вышедший из соседней комнаты Серго Орджоникидзе, племянник хозяина дома.

После обеда, уединившись, они обсуждали новости. Больше говорил Серго, приехавший из-за границы. Ему было что рассказать, ведь он общался с товарищами и был в гуще самых важных дел.

— Надо объединять наши ряды, готовиться к новой битве. В Париже Ильич позвал меня на прогулку. Хитро спросил: «Товарищ Серго! Как ты относишься к предложению немедленно выехать в Россию, домой?» Я отвечаю: «Всегда готов, только скажите...» «Убеждать нет времени, дорогой Серго! Сегодня члены ЦК решили послать вас в роли уполномоченного в Россию. Необходимо срочно создать Российскую организационную комиссию и во что бы то ни стало готовить партийную конференцию». Первым кандидатом в комиссию называет тебя, Степан. Надо возрождать партию, но учтите, что правительство опутывает рабочие организации сетью провокатуры. Это не старые шпики, торчащие на углах, это шпионы, засевшие в наших революционных организациях.

Серго добавил, что Ленин считает бакинскую и киевскую организации самыми передовыми в России, на которые можно рассчитывать даже в период отката революционных событий. Несмотря на репрессии, местной охранке так и не удалось вырвать корни бакинской социал-демократической организации.

Для того, чтобы возродить партию, бакинцы призвали все местные центры немедленно создать организационную комиссию. К ней и должна перейти вся работа по подготовке конференции.

Конференцию решили провести в рабочем районе — Сабунчах, где активность полиции была бы замечена бакинцами сразу. 29 сентября открылось первое заседание комиссии, на которой присутствовали делегаты киевской, екатеринбургской, екатеринославской, тифлисской и бакинской организаций. Не приехал посланец из Петербурга — в пути его задержала полиция.

Один из делегатов высказал опасение:

— Нас здесь не так уж много. Представлены не все организации...

— Ждать нельзя, — убеждали Шаумян и Орджоникидзе. — Надо действовать, тем более что за созыв общепартийной конференции высказались организации Москвы, Петербурга, Киева, Ростова, Баку, Екатеринбургa, Тифлиса, Нижнего Новгорода, Сормова...

Решили еще раз собраться на следующий день.

Шаумян и Орджоникидзе отправились в клуб общества «Наука», в котором решили провести ночное собрание местных активистов. С ними пошел и Мирон Черномазов — бакинский партийный работник.

Историки считают, что о заседании информировал полицию Мирон, хотя позже высказывались и другие предположения — в тот год Мирон с полицией связан еще не был. На него просто списали провал, считая, что о конференции могли знать только близкие к комитету люди, а Мирон как раз и был таковым.

Серго спас случай. На подходе к клубу он попросил у товарищей курева. Ему предложили сигареты, он захотел папирос.

— Вы идите. Я куплю их и подойду... — И он направился в ночную лавку, узнав, что она находится на соседней улице.

Когда Серго вернулся, возле здания стояли жандармы. Он понял: провал! Той же ночью, отправив делегатов из Баку, он уехал в Тифлис, чтобы продолжить работу комиссии.

Кроме Серго, все участники ночного собрания — и, разумеется, Мирон Черномазов — были упрятаны в камеру городской тюрьмы номер 71. Сидеть им пришлось до июля следующего года, пока наместник Кавказа не определил степень наказания.



О провокаторской деятельности Черномазова тогда и не подозревали, узнали о ней значительно позднее. Личные отношения со многими у него были натянутые, но это еще не говорило о предательстве. Напротив, отсидев в тюрьме вместе с Шаумяном, Енукидзе, Каспаровым, Черномазов приобрел

рел некий оттенок авторитета, и это помогло ему в дальнейшем — за границей, в Петербурге.

Старший надзиратель Смирнов, которого уже в советское время допрашивала Морозова, рассказывал о том, как большевики вели себя в тюрьме, как после утренней поверки он доставлял в камеру Степану Шаумяну связку книг и тетрадь в клеенчатом переплете черного цвета.

— Почему черного? — поинтересовалась Морозова.

— Если вы бы сидели в царской тюрьме, то знали бы, что к чему. Так полагалось по инструкции...

Но Морозова хотела узнать о другом: как общался Черномазов с тюремщиками, какую давал информацию.

— Не знаю, — отвечал Смирнов. — Раза два или три вызвал его Рутович, о чем говорили, понятия не имею. Был ли он «подсадной уткой», не ведал. Никаких послаблений ему мы не оказывали и от нас того не требовали.

О чем свидетельствовали воспоминания бакинских рабочих?

Если Шаумян, Енукидзе, Каспаров и другие товарищи вызывали уважение, то Черномазов такого чувства не вызывал. Все отмечали: было в нем что-то скрытое, хитрое, что вызывало недоверие, к себе не располагало.

Видимо, такое же недоверие было и у Надежды Константиновны Крупской, которая в Кракове отказала в ночлеге приехавшему к Ленину Черномазову, и тот был вынужден всю ночь бродить по городу.

Морозова, зная Мирона Черномазова, замечала в нем что-то отталкивающее, хотя он был необыкновенно почтителен, вечно заглядывал всем в глаза.

После тюрьмы Мирон уехал за границу, в Париж. Его друзья по отсидке — в более суровые места: Авель Енукидзе — в маленький городок в Северо-Западном крае, Степан Шаумян — в Астрахань, Слава Каспаров, который станет во время мировой войны казначеем партии, хлопочет после тюрьмы о санатории в горах в Германии и Швейцарии, добываясь заграничного паспорта.

У Черномазова после отсидки сложилась хорошая репутация, его всюду приветливо встречали, он завязывал новые связи, познакомился с Каменевым. Именно Каменев дал ему

характеристику для работы в Петербурге. Там товарищи предоставили Мирону неплохую должность — дежурного редактора газеты «Правда», что позволило охране иметь непосредственную информацию из партийного центра.

Черномазов подвело тщеславие. Он пытался выглядеть в глазах своих покровителей более значительным человеком в партии, чем являлся на самом деле. Выбрасывал в корзину статьи Ленина, задерживал их, вскрывал письма видных членов партии. Крупская отмечала о том периоде: «Ильич тогда нервничал, писал в «Правду» сердитые письма, но помогало мало».

На заседаниях в редакции тайный сотрудник охраны произносил пламенные речи, хвалил товарищей, которые несмотря на преследования, служат революционному делу, пытался показать себя истинным борцом с самодержавием.

Но обстановка в редакции «Правда» оставалась сложной.

В Кракове члены ЦК и большевики — депутаты Думы, просили Ильича взять на себя газету. Тот отказывался. И тогда подумали о Шаумяне. Григорий Иванович Петровский, один из старейших революционеров, депутат Думы от рабочих Екатеринославской губернии, попросил Степана срочно приехать. В Петербурге переговоры относительно «Правды» продолжились. Шаумян поставил условие — роспуск существующей редколлегии и предоставление права самостоятельного набора новых сотрудников.

Позицию Шаумяна разделял публицист, член партии Михаил Степанович Ольминский — друг Ленина.

— Я согласен с мнением Степана Георгиевича, — сказал он. — Черномазов либо провокатор, либо дурак. И в том и в другом случае его надо прогнать. Поверьте мне как старому литератору, что, если я так говорю, это верно. Впоследствии, когда провокатор был разоблачен, Ольминский признал: «Мы большую потерю понесли, не утвердив Шаумяна редактором. Надо было согласиться на все его требования».

Черномазов хитро вел борьбу против Шаумяна, понимая, что в случае выбора того редактором «Правды» ему там не работать. Об этом он оповещал и Департамент полиции, настаивая, чтобы Шаумяна убрали в Астрахань, в место его

ссылки. Но в Департаменте полиции знали толк в сыске, поэтому и не спешили.

На одном из доносов сам Белецкий начертил карандашом: «Ликвидация желательна, но допустима исключительно лишь местными связями по прошествию достаточного времени. Безопасность Шаумяна в Петербурге обязательна ради сохранения нашего сотрудника в «Правде».

Зная хитросплетения борьбы, Белецкий понимал, что в случае ареста Шаумяна в столице под подозрение может попасть Мирон.

Но Черномазов уже был взят под подозрение.



Проверить Черномазова большевики решили через Бейбута Джеваншира — друга юности Степана Шаумяна и Ашота Хумаряна, которые начинали свою революционную деятельность в одном тифлисском кружке. Джеваншир не был революционером, но друзей понимал и всегда старался им помочь. Это ему нередко удавалось, ибо был он из богатой семьи, которая имела какое-то влияние на представителей власти.

Бейбут учился в тифлисском реальном училище, которое дало немало революционеров. В Германии окончил горную академию, совершенствовал знания в Англии. Среди бакинских нефтепромышленников он был заметной фигурой, и, несомненно, благодаря его стараниям, «недостаточно благонадежный» Шаумян, отстраненный под нажимом градоначальника от заведования Народным домом в Баку за сомнительные сходки и сборища, все же получил должность управляющего нефтепроводом фирмы Шибаяева в Балаханах — пригороде нефтяного города. Именно в этом рабочем районе вскоре и получили большевики полное превосходство над другими революционными течениями, усилив свою организацию.

Но и полиция не спала, присматривала за Шаумяном.

1 мая 1909 года временно исполняющий дела начальника бакинского жандармского управления отдельного корпуса жандармов ротмистр Зайцев подписывает распоряжение: «Ввиду имеющихся сведений в управлении о преступной

деятельности Шаумяна Степана Георгиева и руководствуясь ст. 21 Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия, постановил: поименованного Шаумяна заключить под стражу в бакинскую тюрьму, впредь до разъяснения обстоятельств дела».

Первые расспросы вел адъютант начальника управления Зайцева поручик Подольский. Затем к делу приступил сам Зайцев, который наверняка имел под рукой показания агента полиции «Фикуса». Цель сыска: уличить арестованного в преступной деятельности.

Но тут появляется Бейбут Джеваншир, человек богатый и уважаемый.

— Я мог бы быть вам полезен, — говорит многозначительно Джеваншир.

— Буду весьма признателен, — отвечает вежливо ротмистр. — Несомненно, вы посетили меня не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Джеваншир сразу берет быка за рога.

— Не скрою, я хотел бы установить с вами теплые связи. На Востоке, вы понимаете, очень важно пользоваться поддержкой местного влиятельного населения...

— В том и состоит политика нашего государя, — еще вежливее отвечает Зайцев, понимая, что богач собирается его о чем-то попросить. — Я буду рад оказать вам услугу.

— Видите ли, небезызвестный вам Степан Шаумян весьма самолюбив и страстен к знаниям, что его и подвело. Он решил ознакомиться с запрещенным изданием, а вы, господин ротмистр, решили, что он опасен для государя. Отнюдь не так...

— Да будет вам известно, что этот Шаумян находится у нас под наблюдением за противозаконные деяния... — паррирует жандарм.

— Уверю вас, что никакой опасности для государя он не представляет, — убеждает Джеваншир. — Он просто поклонник социализма. Это легкая болезнь молодых пытливых людей, и от вас зависит, пойдет ли он дальше к социалистам или отвернется от них. Мы бы с вами могли ему помочь вернуться на путь истинный, как говорят, верующие.

— Как же это сделать, по-вашему? — спрашивает ротмистр.

— Очень просто, — говорит Джеваншир. — Вы освобождаете господина Шаумяна из тюрьмы, я возмещаю лично вам все издержки этого дела. Они выражены в кругленькой сумме... в пятьсот рублей.

— Это же взятка... — напоминает жандарм.

— Нисколько, — отвергает нефтепромышленник. — Это оплата ваших хлопот и потерянного времени. У нас, у богатых людей, время и затраченная энергия весьма ценны.

И ротмистр сдается.

— Хорошо, — говорит он. — Но сумма недостаточная. Вы бы дали тысячу рублей...

— Мне бы не хотелось с вами торговаться, — говорит Джеваншир и кладет на стол увесистый мешочек с золотыми монетами, двигая его к собеседнику. Затем достает из кармана несколько бумажных ассигнаций.

Забирая деньги и мешочек, Зайцев интересуется:

— Разрешите полюбопытствовать, кем, собственно, приходится вам сей Шаумян? Совершенно не понимаю вашего интереса в этом деле.

— Не буду разочаровывать, хороший управляющий стоит таких денег, — и Джеваншир встает, чтобы раскланяться.

— Буду и впредь рад оказать вашей светлости подобную услугу, — кланяется ротмистр.

Через несколько дней начальник бакинской тюрьмы получает приказ об освобождении Шаумяна из-под стражи. Тот вызван в губернское управление, где дает показания лично ротмистру Зайцеву и подробно описывает свою учебу и работу, отрицая участие в революционной деятельности.

В объяснениях обвиняемого четко сказано: отобранные при обыске книги и брошюры взяты из личной библиотеки, все они легальные и приобретены в книжных магазинах.

— Надеюсь, что последнее послужит для вас хорошим уроком, — предупреждает ротмистр. — Мы учтем ваши объяснения.

И учитывает. Несмотря на то, что начальство требует высылки Шаумяна из Баку, Зайцев принимает свое решение: последний остается в Балаханах в прежней должности, живет в прежней квартире. Выходит, его ссылка будет протекать в девяти верстах от столицы нефтяной империи.

— Думаю, он образумится, — заключает Зайцев вслух.

По свидетельству бакинского историка Николая Яковлевича Макеева, к Зайцеву, бравшему взятки, бакинские большевики сумели приспособиться, и он не раз оказывал им услуги.



— Примерно такая же ситуация сложилась и с Ягубовым, который был задержан при обыске, — вспоминала Морозова. — К Зайцеву явился брат революционера, человек богатый, и предложил за освобождение родственника два бриллианта. Зайцев уступил. После этого Ягубов попадался несколько раз, и каждый раз за его освобождение платили. Говорят, Зайцев советовал Ягубову отлучить брата от революционеров: «Он растратит все ваше состояние...»



Выяснить истинную роль Мирона Черномазова после информации из Петербурга большевики попросили Изабеллу Георгиевну. Она обратилась к Джеванширу. Бейбут был удивлен:

— Социалисты меня поражают! Теперь и таких милых барышень вовлекают в свои дела!

— Леонид Борисович, — Морозова для пущей убедительности сослалась на Красина, пользующегося уважением в бакинских кругах нефтепромышленников, — хотел бы сам переговорить с вами, но увы...

После паузы она пояснила:

— Конспирация... Письмо могут перехватить, а это будет серьезной уликой против него.

Джеваншир рассмеялся:

— Знает, хитрец, мои связи. Знает и то, что я ему никогда не откажу. Говорите, в чем состоит его просьба?

— Дело тонкое и весьма деликатное. Вы, наверное, помните Мирона Ефимовича Черномазова, который находился в одной камере со Степаном Георгиевичем в Шемахинской тюрьме? Так вот, появились у петербургских товарищей подозрения, что он связан с полицией. Они хотели бы знать — подтвердят ли это бакинские чины.

Джеваншир вновь улыбнулся:

— И они решили сделать это через меня? Как? Неужели они не знают, что своих агентов охранка не выдает и все их попытки тщетны?

— Знают, — сказала Изабелла Георгиевна. — Но их расчет прост: если вы попытаетесь через свои связи узнать об этом, то сможете избавиться от предателя.

— Я попробую, но предупреждаю: может, у нас с вами и не получится.

— Мы надеемся на ваше умение вести беседу. Вы можете даже по интонации собеседника узнать многое, — заверила Джеваншира Морозова.

— Ну что ж, — ответил тот, — можно рискнуть...



Джеваншир не назвал своего источника, но можно предположить, что им был его хороший знакомый ротмистр Зайцев. Можно также предположить, что услугу тот ему оказал отнюдь не бескорыстно.

— Вы, возможно, правы, — сказал Джеваншир при встрече Изабелле Георгиевне. — Имя Мирона не называется, но из беседы можно сделать вывод, что какие-то услуги полиции бакинской он оказывал. Бакинская охранка считает, что сюда он больше не вернется. Это объясняется тем, что полиции, вернее, ее высоким чинам известно несколько прохладное отношение к Черномазову со стороны Орджоникидзе, Шаумяна и Енукидзе.

Морозова попыталась уточнить некоторые детали, чтобы выявить источник информации.

— Мы бы хотели знать, можно ли ему верить?

— Можно, — уверил Бейбут. — Я бы назвал его вам, но дал честное слово хранить тайну. Вы хотели знать, имеет ли Мирон отношение к охранке? Я вам отвечаю: имеет. Каковы эти связи, я не знаю сам, но то, что я вам сказал, должно вполне вас удовлетворить. Передайте это своим товарищам.



Уехав после бакинского ареста в Париж, Черномазов прожил там до марта 1913 года, устроившись работать при

редакции «Социал-демократа». Дела у него шли неважно — члены ЦК РСДРП его совершенно не знали, бакинские партийцы, к которым они обращались за справкой, характеризовали его как человека, симпатизировавшего ликвидаторам. По ленинской установке большевики ликвидаторов не жаловали.

Как-то о Мироне поинтересовались у Славы Каспарова.

— Много с ним полемизировали, но, скажу честно, я Черномазова не уважаю. С прохладцей относились к нему Авель и Степан. Но, может, я не прав, может, во мне говорит недоброе чувство — мы спорили с Мироном до хрипоты. Здесь я, возможно, и необъективен...

Каспаров не настаивал на отлучении Мирона от партии. Какие не случались разногласия в теоретических спорах? И можно ли за инакомыслие терять людей?

Более внимательно отнесся к Мирону Лев Борисович Каменев, с которым тот общался, работал в «Социал-демократе». Тогда он и написал Черномазову рекомендательное письмо для работы в «Правде». Через Краков ехал Мирон в Петербург, чтобы встретиться с Лениным. То был хитрый замысел: приезжает он в столицу и говорит товарищам: «Я видел Ильича, он передал вам через меня послание...»

Маленький, но ловкий ход, после которого товарищи могут отнестись к Мирону с большим доверием, чем прежде. Общение с лидерами партии служило своеобразным пропуском в редколлегию газеты, которую так любил «Старик».



Из рассекреченных документов полиции выяснилось, что завербован Мирон Черномазов был в июне 1913 года, во время ареста. Первую же серьезную схватку с полицией он проиграл, дав согласие на сотрудничество за двести рублей в месяц.



В семнадцатом году В.И. Ленин напишет: «Само собой разумеется, что царское правительство не только всеми силами окружало «Правду», имевшую до 60 тысяч тиража, шпионами, но и старалось провести в число ее служащих

провокаторов. В числе провокаторов был и Черномазов, имевший в партийных кругах кличку «Мирон».



Первые подозрения на Мирона пали осенью того же тринадцатого года в связи с провалом двух типографий ЦК РСДРП. На предварительном партийном следствии по делу Черномазов выкрутился, свалив все на питерского рабочего Н.В.Заему. За Заему заступились товарищи, хорошо знавшие его, но это не помогло — от партийной работы последнего отстранили.

На первый взгляд казалось, что Черномазов допустил какие-то промашки случайно. Став ночным выпускающим редактором, он самочинно публиковал статьи в нарочито резком тоне, что ставило газету под удар полиции, иногда помещал заметки ликвидаторского толка, что не нравилось истинным большевикам. Бывало и хуже — порой под видом случайности выдавал со страниц газеты партийные секреты.

Однажды Ленин прислал в редакцию письмо с протестом против публикации заметки «Совещание марксистов», подробно осветившей работу конспиративного совещания в Поронине ЦК РСДРП, потребовав впредь не допускать «таких неосторожностей», отмечая: «вы дьявольски помогаете этим всем нашим врагам». Автором заметки был Черномазов.

В одном из номеров газеты Черномазов опубликовал материал, подписавшись псевдонимом «Свой». И вновь последовала критика Ленина. На заседании редколлегии Мирона предупредили: впредь советоваться с товарищами.

15 января 1914 года Черномазов поместил в «Пролетарской правде» письмо грузинских социал-демократов по национальному вопросу со своим примечанием, дискредитирующим марксистское направление газеты. В гневе была ответственный секретарь редакции Конкордия Самойлова: «Черномазов нарушил постановление ЦК! Неужели это опять случайность?»

Дальше — больше. 25 января Мирон поместил в газете «Пути правды» свою статью «Для того она существует», в которой раскрыл секрет большевиков: «Правда» продолжает жить, меняя названия. Это позволило полиции привлечь

к ответственности одного из официальных издателей газеты, депутата Думы Петровского.

Возмущенная Самойлова вновь осудила публикацию Черномазова, сообщив о ней Ленину. Последовало указание членов ЦК: с Черномазовым немедленно разобраться. В феврале 1914 года на заседании Русского бюро с участием большевиков-депутатов члены редакции «Правды» К.Самойлова, М.Ольминский, Е.Розмирович обсудили поведение Черномазова. Он спорил, сопротивлялся, обвинял других во всех грехах.

— Не надо юлить, Мирон, — сказала Самойлова. — Скажите правду о своей роли. Вы ведь на кого-то работаете?

— Вы упрекаете меня, основываясь на каких-то мифических предположениях, — ответил он. — Я все изложил в объяснительной записке. Ваши обвинения не признаю.

— Конечно, можно сделать козлом отпущения Заему, но ведь Заема не имеет никакого отношения к вашим заметкам, в которых вы раскрываете секреты партии!

— Если я в чем-то и ошибаюсь, то никакого умысла в моих ошибках нет, а есть чистая случайность!

— Но не слишком ли их много? — спросил Ольминский.

Добила Мирона Розмирович, сказавшая, что у товарищей есть конфиденциальные сведения о его нечистоплотности, в связи с которыми он отстраняется от партийной работы.

— Вы убедитесь со временем, что допускаете ошибку! — воскликнул Черномазов.

— Со временем, думаю, мы убедимся в своей правоте, — уверенно парировала Розмирович. — Нет тайн, которые бы не стали явью.

Мирона Черномазова, бывшего типографского рабочего, ответственного за ночной выпуск газеты «Правда», отстранили от партийной работы по подозрению в провокаторстве. Позже выяснилось, что в охранке он числился под кличкой «Москвич».



Уже в советское время Морозова установила, что Рутович еще в Шемахинской тюрьме пытался завербовать Черномазова. Действовал он грубо и напористо, а с Миронем, отмечала Изабелла Георгиевна, надо было работать тоньше. «Он был

начитанным, любил поспорить, порассуждать, — отмечала она. — Надо было поиграть на его честолюбии. Будь на месте Рutowича опытный охранник, наверняка Мирон стал бы доносить полиции намного раньше».



По-разному сложилась судьба тех, о ком я рассказываю.

В советское время Серго Орджоникидзе станет наркомом тяжелого машиностроения, займет важное место в правящей партийной иерархии. У него будут мучительные споры с Кобой. Он застрелится, но о его неожиданной смерти сообщат, ссылаясь на сердечный приступ, чтобы не волновать народ и не допускать кривотолков. Известно, что Орджоникидзе был один из немногих, кто мог возразить вождю, откровенно высказав свое мнение.

Но умер ли Серго своей смертью или был убит? Очередная загадка нашей истории.

Надо сказать и о Джеваншире, который пользовался определенным влиянием в бакинских политических кругах. При советской власти его не арестовали, не выслали, а предложили работу в учреждении, находившемся в Константинополе. В двадцатые годы на улице турецкого города он будет убит белогвардейцем, мстившим подданным Российской империи за сотрудничество с большевиками.

Друг его детства Степан Шаумян станет председателем Бакинской коммуны, а в 1918 году, после ее падения, будет расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров в песках Закаспия, между железнодорожными разъездами Ахча-Куйма и Перевал. Когда комиссары и малочисленные красные войска эвакуировались из Баку в Астрахань, экипаж корабля взбунтовался, решив изменить маршрут, чтобы не идти в голодный город, а направиться в Красноводск, где по слухам была сносная жизнь. Шаумяну предлагали силой оружия заставить матросов следовать в астраханский порт. Применение силы Шаумян отверг: «Возможно, мы и останемся живы, но погибнет много безвинных людей. Мы не можем сохранить свою жизнь, лишив ее других...»



КОНЕЦ ЦАРСКОЙ ОХРАНКИ

Царская охранка умерла вместе с самодержавием. Начинаясь новая эпоха, новая история, новые страсти и новая, более кровавая борьба. Но когда рушили империю, ее разрушителям представлялось, что с тиранией покончено навсегда и наступит светлое будущее, о котором столько мечталось. Думали они и о том, что охранка наконец-то уничтожена.

Они ошибались: тайная полиция будет всегда.



В стремительном феврале 1917 года верхам еще казалось, что все обойдется. Николай II был уверен: гарнизон столицы с беспорядками справится. Министр внутренних дел А.Д.Протопопов совершенно не анализировал секретную информацию, докладывал в Ставку, где находился царь: волнения, связанные с нехваткой продовольствия, утихнут, как только удастся расчистить железнодорожные пути.

Но бывший директор Департамента полиции и министр внутренних дел П.Н. Дурново провидчески точно предсказал надвигающиеся события и сделал это гораздо раньше, чем зажегся первый факел революции. К его словам не прислушались.

Первые чины полиции в отличие от Дурново действовали иначе. Донесения агентов, дающих точную картину происходящего, перечеркивал, переписывал директор Департамента полиции А.Т.Васильев. Успокоительную ложь преподносил государю министр А.Д.Протопопов, внушая оптимизм.

Уже в начале января 1917 года агентура сообщала об активности неблагонадежных элементов, о тревоге, которая захватывала все слои общества, о наступлении нового «экзамена». Писавший побоялся употребить слово «революция», чтобы не волновать начальство. Но, как свидетельствуют документы, начальство уже было озадачено, предчувствуя приближение бури.

— Обстановка обостряется тем, что господин Милюков со своими сторонниками настраивают рабочих против правительства, — докладывал начальник Петроградской охраны К.И.Глобачев. — Все они ратуют за массовые стачки, которые хотят провести 14 февраля. Вы понимаете, что стачки опасны...

Васильев был краток:

— Напишите подробную служебную записку, я доложу министру.

Васильев читал донесения агентов и переписку военных чинов, чуял в них намеки на тайный сговор либералов с военными. Но Протопопов, имевший возможность докладывать непосредственно царю, был более сдержанным. Он не спешил, а зря. События развивались стремительно.



Как обычно, в канун открытия Думы ее председатель Родзянко отправился с докладом к царю. Воспользовавшись случаем, попытался объяснить ему опасность сложившейся ситуации:

— Правительство все ширит пропасть между собой и народным представительством. Министры всячески устраняют возможность узнать государю истинную правду. С прежней силой возобновились аресты, высылки, притеснения печати. Под подозрением находятся даже те элементы, на которые раньше всегда опиралось правительство, под подозрением вся Россия. Государственной думе грозят роспуском...

Николай II выслушал молча, но было видно, что он раздражен докладом.

— Думе будет позволено продолжать заседания лишь в том случае, — сказал он, — если она не допустит новых непристойных выпадов в адрес правительства.

Родзянко попросил удалить из правительства наиболее непопулярных министров и высказал опасения по поводу реакции общественного мнения, намекнув на возможность насильственных действий снизу.

— Имеющаяся в моем распоряжении информация свидетельствует совсем об обратном, — сказал царь.

Отчаявшись, Родзянко поделился своими самыми худшими предчувствиями, добавив, что, видимо, это его последний доклад царю.

— Я по всему вижу, что вас повели на самый опасный путь... Вы хотите распустить Думу... Есть еще время, еще возможно все изменить и дать стране ответственное правительство. Видимо, этому не суждено сбыться... Я вас предупреждаю, я убежден, что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать.

— Вы меня опечалили своим пессимизмом, — сухо произнес Николай II на прощание, дав тем самым понять, что одобряет все действия Протопопова.

А тот, имея полную информацию от своих агентов, не предполагал, что события фактически сжимают пружину, которая, развернувшись, сметет все на своем пути. Впереди была революция.



27 февраля 1917 года массовые беспорядки в столице вышли из-под контроля. Всех собак спустили на Протопопова. На заседании Совета министров его подвергли такой критике, что ему оставалось принять единственное решение: объявить о своей отставке.

В тот день дом на Фонтанке, 16 подвергся нападению. Сотрудники Департамента полиции не оказали сопротивление напавшим. Толпа ворвалась в кабинеты секретного здания, учинив в них разгром. Прорвалась она и к картотеке. Наспех порывшись в папках, нападавшие вытаскивали документы во двор и там их сжигали.

Как ни утверждали историки, что документы уничтожались сознательно и руководители нападения искали именно свои, чтобы спрятать концы в воду, разгром был таким бес-

порядочным, что осталось много документов, по которым можно было определить действия тайной полиции и ее сотрудников — офицеров и секретных агентов.

Полковник Глобачев, узнав о нападении на Департамент полиции, собрал сотрудников Охранного отделения. Речь его была краткой — он объявил, что все распущены и могут идти по домам. Сам Глобачев покинул здание последним.

Он еще надеялся, что порядок будет восстановлен, как в 1905 году, что бунтовщики будут наказаны, хотя душой понимал, что новая революция окажется более кровавой и страшной.

Вначале события протекали бескровно. К власти пришли либералы, которые стремились направить их в мирное русло, объявили, что бессудной расправы над чиновниками старого режима не будет. Правда, в пятом пункте постановления, подписанного председателем Государственной думы М.Родзянко и председателем Совета министров князем Г.Львовым, ставшим и министром внутренних дел в правительстве, значилось, что кабинет будет заменять «полицию народной милицией с выборным начальством, подчинив ее органам местного самоуправления».

Временным правительством была создана Чрезвычайная следственная комиссия, которой предстояло расследовать деяния царских министров и высших должностных лиц. Возглавил ее либеральный адвокат Н.К.Муравьев, к работе комиссии привлекли чинов судебных ведомств, наблюдателей — членов различных партий, представителей Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Все они погрузились в тайны империи. Перед ними проходили организаторы и участники многих событий и акций. Комиссия узнавала о двойных агентах, о вскрытых письмах и разработке провокаций, проводимых тайной полицией. Перед ней предстали и чиновники политического сыска. Председатель комиссии узнал, что когда-то проходил в отчетах наружного наблюдения под кличкой «Муха».

— Почему именно «Муха»? — поинтересовался Муравьев.

— Трудно сказать, — замялся допрашиваемый чин. — Зачастую клички давались произвольно. Вполне возможно, что таким образом сократили вашу фамилию...

Последовали аресты некоторых министров — А.Д.Протопопова, А.Н.Хвостова, Б.В.Штюрмера, товарищей министров, начальников охранных отделений. Арестовали и бывших директоров Департамента полиции — А.Т.Васильева, С.П.Белецкого, Е.К.Климовича, Н.П.Зуева. Их поместили в печально знаменитом Трубецком бастионе Петропавловской крепости и — по иронии судьбы — допрашивали в тех же мрачных казематах, в которых когда-то допрашивали декабристов.

Условия содержания арестованных были тяжелыми. Караульные из революционно настроенных полков, несшие службу в крепости, требовали закончить дела без проволочки, заколов буржуев штыками.

Заключенные нервничали, понимая, что ничего хорошего им арест не сулит. Бывшие начальники охранных отделений заявляли, что ответственные решения принимали не они, что в их компетенции был узко ограниченный круг вопросов.

После октября стало ясно, что никаких шансов выкрутиться у них не осталось — комиссары были настроены решительно, вместо судов учредили революционные трибуналы.

Каждый вел себя по-разному, попав в камеру.

Курлов требовал освободить его по плохому состоянию здоровья, одно за другим писал ходатайства.

Белецкий стал сотрудничать со следствием, полагая, что только откровенными показаниями спасет себе жизнь.

Бывший министр юстиции Щегловитов, оказавшись в заключении, отрицал нарушение со своей стороны по юридическим формулировкам, еще надеясь выйти на свободу. Кстати, Щегловитов, которого так не любил за хамелеонство граф Витте, был арестован А.Ф.Керенским. Окруженный в Думе толпой вооруженных людей, министр юстиции попросил Родзянко провести его в свой кабинет как гостя, но между Родзянко и Щегловитовым встал Керенский: «Вы Иван Григорьевич Щегловитов?» — «Да». — «Прошу вас следовать за мной. Вы арестованы. Ваша безопасность гарантируется».

Так началось «шестивие» в Петропавловскую крепость бывшего министра юстиции, председателя Государственного совета.

К нему присоединились светила старого бюрократического мира, среди них и военный министр Сухомлинов, так ненавидимый низшими чинами армии.

В газетах стали появляться имена секретных сотрудников полиции. Тайное становилось явным. Пронеслись слухи, что новые разоблачения затмят дело Азефа.

Но Чрезвычайной следственной комиссии не удалось завершить свою работу. Последние ее следователи покинули покои Зимнего дворца накануне штурма, предпринятого большевиками в ночь на 25 октября 1917 года по старому стилю. Бумаги комиссии так и остались неразобранными. Позже их, правда, в ужатом виде издали в семи томах под громким названием «Падение царского режима».

Воспользовавшись суматохой из-за смены власти, многие деятели охраны бежали из Петрограда и оказались вне досягаемости. Те, кто остался в камерах, были обречены. Канители с охранниками большевики не собирались.

В дни красного террора именитым сановникам объявили: — Все вы будете расстреляны в ответ на злодеяния буржуазии, объявившей террор народной власти.

Боясь расстрела, Белецкий решил отравиться. Он раздобыл яд, но воспользоваться им не успел.

Их вывезли из тюрьмы и поставили на краю общей могилы, вырытой несколькими часами ранее. Кто-то из арестованных заговорил было о беззаконии, но один из чекистов его прервал: «Когда вы порешали нашего брата, о каком законе тогда шла речь?»

Белецкий пытался бежать. Он в одиночку вдруг резко метнулся в поле. Конвоиры, вскинув винтовки, открыли по нему беспорядочную стрельбу. Белецкий упал как подкошенный и уже не поднимался.

— Сволочь! — сплюнул старший конвоя, потому что труп предстояло тащить к яме.

Хвостов, Макаров и Щегловитов приняли смерть молча, в последние секунды жизни они проявили мужество.



Что еще сказать об охранниках, служивших самодержавию?

Многие из них приняли участие в Белом движении. Иные оказались в эмиграции, успели даже написать мемуары, которыми стали пользоваться советские историки и исследователи, не ссылаясь на источники. Официально все работы эмигрантов подвергались критике и нападкам.

Лопухин, не побоявшись новой власти, остался жить в России. Он тоже собирался написать воспоминания, но, как это часто случалось, потерял во время постоянных обысков подобранные бумаги и успел опубликовать лишь краткий вариант мемуаров. Умер он своей смертью.



БЫЛ ЛИ СТАЛИН АГЕНТОМ ОХРАНКИ?

Слухи о том, что Сталин был секретным сотрудником охраны, появились на страницах наших газет в конце восьмидесятых годов. Период гласности позволил высказывать всевозможные предположения, даже не подкрепленные никакими серьезными доводами. Кстати, «находки» этих авторов не были сенсационными — и до них уже высказывались гипотезы, велись разговоры, правда, больше за рубежом. Так что претендующие на сенсационные открытия лишь повторяли чужую периодику пятидесятых годов.

Я как-то об этом поинтересовался у Изабеллы Георгиевны, которая знала Сталина по бакинскому подполью в дореволюционные годы. И не только знала — они вместе работали в бакинской организации, где Морозова выполняла поручения руководителей районных и городского комитетов, а позже, как известно, входила в особую группу, расследовавшую деятельность провокаторов.

— Лично я так не думаю, — сказала она. — Когда я впервые узнала в пятидесятые годы о «находке», обличающей Сталина, то просто рассмеялась. К сожалению, ничем не подкрепленная версия от одного автора перекочевала к другим. Люди, жаждавшие сенсации, разнесли новость, как сороки...

Морозова старалась быть объективной:

— Если Коба работал на охранку, мы бы это узнали, вскрыв бакинские и тифлисские архивы. Никаких доказательств на этот счет там не было...

Сказанному я поверил, потому что мне уже было известно — в свое время бакинские большевики вели важные переговоры с ротмистром охранного отделения Зайцевым, который владел местной агентурой. Информация его полностью подтвердилась, но жандарм не упомянул о факте, который нас сейчас интересует.

Было и другое. В двадцатые годы, работая в Азербайджанской ЧК, Морозова продолжала заниматься делами царской охраны. У нее под руками имелись не только необходимые документы, чтобы сделать выводы, но и задержанные сотрудники местной полиции, охотно дающие показания. Никто из них не заикнулся о связях Кобы с тайной службой.

— Имя Сталина связывают с экспроприацией, — говорила Изабелла Георгиевна. — В этом есть доля правды, хотя из его биографии подобные акции были исключены. Но мы говорим о провокаторстве, а это совершенно другое. Для того чтобы обличить его в предательстве, надо оперировать не слухами, а доказательствами...

Так она утверждала в шестидесятые годы. В то время авторитет Сталина уже был поколеблен, миф о всесильности его личности развеян. Да и самого Сталина уже не было в живых, чтобы бояться говорить правду. Из архивов доставали секретные документы, и, опять-таки, материалов, уличающих Кобу в провокаторстве, не обнаружили.

— Но, возможно, какой-то важный документ к тому времени был уже уничтожен, — настаивал я, расспрашивая Изабеллу Георгиевну.

— Не бывает, чтобы только один факт обличал провокатора, — возражала она. — Кто так утверждает, тот не знает, да и не имеет никакого понятия о работе царской охраны. Когда на службу брали нового сотрудника, на него заполняли несколько карточек, ему выдавали жалованье, на основе его сообщений писали донесения офицеры, на связи с которыми он находился, его знали в лицо некоторые филеры. Агент не иголка... После революции мы вычислили почти всех крупных провокаторов, ускользнули лишь мелкие. Если Сталин был связан с охранкой, его бы разоблачили уже в 1918 году, когда в руках нового право-

судия оказались высшие чины царской полиции. Нам сейчас твердят о документе, который вдруг всплыл в 1956 году! Это несерьезно, чтобы такое обвинение так долго пролежало у врагов Сталина без движения. В «находке» меня удивила лишь одна деталь — написание отчества: мне стало ясно, что это подделка. Загляни в старые дела полиции и ты сам все поймешь...

Я просмотрел многие бумаги тайной службы и убедился в правоте Морозовой. Все документы царской полиции были написаны четко черной тушью, без помарок. Отчества офицеры писали так, как тогда было принято.

— Это и подтверждает, что обличающий Сталина документ был состряпан в сороковые годы, — напомнила мне Морозова.

Казалось, установлен факт фальшивки.

Но вот очередная «сенсация» появилась на свет в марте 1989 года в одной из московских газет. В ней утверждалось, что один из историков, «работая в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства, нашел документ, подтверждающий, что Иосиф Джугашвили (Сталин) был агентом царской охраны. Подлинник этого документа хранится в ЦГАОР (Москва, Большая Пироговская, 17) в фонде Департамента полиции Енисейского ГЖУ».

О подлиннике скажу позже, сейчас о другом.

Впервые об этом сообщил американский журнал «Лайф» 14 мая 1956 года, именно тогда, когда у нас шла активная борьба с культом личности и авторитет Сталина и его популярность в народе развенчивала группа его бывших соратников, вместе с ним, а вернее под его руководством, строившая социализм, что не мешало ей самой принимать участие в репрессиях, проводимых Сталиным. Публикация в американском журнале была как нельзя более кстати.

Все последующие «изыскания» исходят из той же публикации. Ученые, вдруг сообщившие «сенсацию», лишь повторили чужие мысли. Убедительным показалось лишь то, что один из авторов сам лично видел важный документ в архиве...



Перечислю документы, на которые ссылаются московские историки.

Первый — донесение начальника Московского охранного отделения Мартынова от 1 ноября 1912 г. за № 306442 на имя директора Департамента полиции Белецкого. В этом, довольно просторном документе они обратили внимание на следующее:

«В последних числах минувшего октября месяца сего года, через Москву проезжал и вышел в связь с секретным сотрудником вверенного мне Отделения «Портным», кооптированный в ленинский ЦК РСДРП еще на Пражской конференции... Тифлисской губернии Иосиф Виссарионов Джугашвили, носящий партийный псевдоним «Коба».

Поименованный И. Джугашвили, наблюдавшийся в апреле сего года по г. Москве, переданный отсюда наружному наблюдению С.-Петербургского охранного отделения и в г. С.-Петербурге 22 того же апреля арестованный, по его рассказам, успел в настоящее время сбежать из места административной высылки (отдаленная местность Вост. Сибири), побывал за границей у Ленина и теперь возвращается в г. С.-Петербург, где он успел до поездки за границу проработать при редакции газ. «Правда» около полутора месяцев.

Т.н. поименованный Коба оставался в Москве лишь одни сутки, обменялся с секретной агентурой сведениями о последних событиях партийной жизни и вслед за сим уехал в г. С.-Петербург, по наружным наблюдениям он во избежание провала сотрудника не сопровождался и о его отъезде начальнику С.-Петербургского охранного отделения было сообщено тотчас же телефонограммой и дополнительно к таковой шифрованной депешей, в копии при сем представляемой...

В конфиденциальном разговоре с поименованным выше секретным сотрудником Коба сообщил сведения о деятельности РСДРП...»

Второй документ. Приписка Московского охранного отделения:

«Представляемый при сем агентурный материал никому мною не сообщался во избежание возможности заминки или провала агентурного источника, почему ходатайствую

пред Вашим Превосходительством об использовании такового по частям без ссылок и указаний на вверенное мне Отделение...»

Третий документ — телеграмма, посланная из Москвы в адрес Петербургского охранного отделения о том, «что Куба Джугашвили отправился в Петербург» и просьба состоит в том, чтобы его «задержать не сразу, лучше перед отъездом за границу».



Документы, как видите, убедительные, с ними вроде и не поспоришь. Кажется, историки, публикуя находку, подобрались к старой тайне, приподняв над ней завесу таинственности. Так ли это? Знали ли наши историки, что оригинала документа, о копии которого они говорят, в природе не существует? Об этом сообщили, опровергая публикацию, директор ЦГАОР Б.И.Каптелов и зав. отделением архива З.И.Перегудова. Кропотливо перебрали они тогда архив полиции и охранных отделений, хранившийся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, но никаких документов, компрометирующих Сталина и уличающих его в связях с охранкой, так и не нашли. Кстати, Перегудова в свое время изучала материалы фонда Департамента полиции, ей, как говорится, и карты были в руки.

Лично мне кажется, что в погоне за сенсационностью авторы публикации не во всем разобрались.



Проследим историю «находки», которая была опубликована в американском журнале.

Последним владельцем копии, наделавшей много шума, был советолог И.Левин, автор биографии Сталина, давно вышедшей за рубежом. Он и подбросил сию загадку миру.

Для того чтобы придать копии убедительность, Левин поведал о предыдущих владельцах документа. Это было очень важно, потому что сомнительность происхождения документа может быть отвергнута только таким путем. Он сообщил, что письмо получил в 1947 году от трех лиц, по его мнению, безупречной репутации — сына известного русско-

го адмирала Вадима Макарова, бывшего русского посла в США при правительстве А. Керенского Бориса Бахметьева и пионера русской авиации Бориса Сергеевского. Вышепоименованным документ передал русский эмигрант М. П. Головачев, проживавший в Китае. А у Головачева, утверждал Левин, документ оказался после встречи с полковником Руссиановым, якобы хранившим после своего побега в Китай сибирские документы охраны.

«Сообщение о путешествии письма показалось мне убедительным», — пишет Левин, добавляя, что исследовал бумагу, шрифт машинки и подпись автора для доказательства подлинности документа. Не располагая письменным автографом полковника Еремина, подпись которого стояла под письмом, Левин принял за основу выгравированную факсимильную подпись на серебряном кувшинчике, который предоставил ему бывший жандармский генерал А. И. Спиридович.

«Документ на бумажной основе и не «фотокопия», я думаю, что оно подлинное», — посчитал Левин. То, что письмо пришло из Сибири, как бы подтверждало его подлинность.



Теперь о подделке, наделавшей столько шума.

«Совершенно секретно. Лично. Алексей Федорович! Милостивый государь!

Административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, будучи арестован в 1906 г., дал начальнику Тифлисского ГЖ Управления ценные агентурные сведения. В 1908 г. начальник Бакинского отделения получает от Сталина ряд сведений, а затем, по прибытии Сталина в Петербург, Сталин становится агентом охранного отделения. После избрания Сталина в ЦК партии в г. Прага, Сталин по возвращению в Петербург стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связь...»



Каптелов и Перегудова, исследовав документ, подвергли его основательному сомнению.

Первым делом, посчитали они, если он подлинный, то в архиве Департамента полиции должна была бы находиться копия отправленного письма. Но все попытки отыскать эту копию в архиве остались безуспешными. В то же время в существующих документах никаких изъятий листов обнаружено не было.

Думаю, если бы такой документ и существовал в природе, то наверняка увидел бы свет еще в те годы, когда шло активное развенчание культа личности Сталина. Именно в тот период публикация подобного доказательства могла бы повергнуть миллионы людей в шок, подтвердив правоту разоблачителей. Ничего подобного не произошло.

Ученые попытались исследовать письмо, обратив внимание на его реквизиты: содержание, подпись, — тогда и возникло множество вопросов.

Первый и, пожалуй, главный — отсутствие оригинала в архиве. Станным кажется заявление одного из авторов статьи, что он видел, работая в архиве, подобный документ.

Второй: в письме, направленном начальнику Енисейского охранного отделения Алексею Федоровичу Железнякову, отметили Каптелов и Перегудова, допущены сразу три ошибки, которые не мог допустить такой мастер политического сыска, каким был полковник Еремин, якобы подписавший документ.

В 1913 году Енисейского охранного отделения вообще не существовало, а был Енисейский розыскной пункт, заведующий которого имел статус помощника начальника Енисейского главного жандармского управления. Заведующим розыскным пунктом в то время был действительно ротмистр Железняков, но не Алексей Федорович, как указывается в документе, а Владимир Федорович. Детали, как говорится, весьма существенные.

Но, может быть, в штабе Отдельного корпуса жандармов значились другие Железняковы? Проверили все списки, в них значится только один Железняков Владимир Федорович, 1881 г. рождения, ротмистр, прикомандированный к Енисейскому ГЖУ в октябре 1911 года.

Обращает на себя внимание штамп документа, который серьезно отличается от существовавшего тогда штампа. Рас-

хождение весьма основательное, оно и позволяет говорить о подделке.

К чести Каптелова и Перегудовой, пересмотревших все материалы Особого отдела Департамента полиции за 1906–1913 годы и нигде не встретивших ни одного штампа, который был бы идентичен приводимому в документе, они установили, что со второй половины 1910 года и до конца своего существования в 1917 году бланки с тогда принятым написанием слова «заведывающий» были заменены на «заведующий».

Вызвал недоумение и штамп исходящей документации. В тот период во всех жандармских учреждениях подобные штампы проставлялись с зафиксированной на каждый день датой, только сам номер заполнялся от руки. А тут почему-то иначе.

Номер исходящего документа значится 2998 от 12 июля 1913 года. Именно под ним якобы Департамент полиции отсылал предписание.

Но тот, кто составлял фальшивку, не знал, что в полицейском ведомстве России делопроизводство велось четко, действовала строгая инструкция по ведению делопроизводства, в соответствии с которой каждой структуре Департамента давался свой код исходящих документов. У особого отдела Департамента они начинались с порядкового номера 93001... Номер, стоящий на фальшивке, начинается с кода не Особой части, а совершенно другой, архивисты нашли его. Он проходил по первому делопроизводству Департамента и датирован не 12 июля, а 16 марта. Разница весьма существенная, да и текст другой: «Письмо Управл. Екатеринославской губ. И.А.Татищеву, сообщение по поводу дерзкой выходки трех неизвестных злоумышленников по отношению к стоящему на посту возле силовой станции городского водопровода городовому».

Но самая основная ошибка фальсификаторов — об этом в свое время говорила Морозова, считавшая, что подделка делалась не иначе как в тридцатые годы, — состоит в том, что в так называемом письме Еремина упоминается «Иосиф Виссарионович». В дореволюционном правописании отчества писались сокращенно: Петров, Иванов, Виссарионов вместо Петрович, Иванович, Виссарионович...

Предъявляя новые документы, разоблачители Сталина как бы закрепляли первый, приняв его за подлинный. Уж очень им хотелось приписать вождю провокаторство. Но в истории должна оставаться только правда.

Ссылаясь на высказывание Льва Троцкого, обличители Сталина пытаются доказать, что Джугашвили был арестован в Тифлисе 15 апреля 1906 года при захвате Авлабарской типографии. Этим они хотят подтвердить правдивость письма Еремина, который сообщает, что Джугашвили дал полиции ценные сведения именно в 1906 году.

Но в уголовных делах, связанных с типографией, где фигурируют имена семнадцати участников, имени Сталина нет. Аресты производились с 15 апреля по 21 мая 1906 года — это необходимо отметить.

В документах более позднего времени этот арест Сталина не отражен. Невольно возникает вопрос: а был ли таковой в 1906 году вообще?

Не случайно обращаю внимание читателей на время арестов, связанных с Авлабарской типографией, ибо общеизвестно, что именно в этот период Джугашвили находился в Стокгольме на IV съезде РСДРП, который начал работу 10 апреля (23 апреля по новому стилю). Советолог Левин, поняв, что его доказательства никак не стыкуются, стал их подгонять: мол, Сталин был арестован 15 апреля (по старому стилю), дал охранке сведения, а через восемь дней (23 апреля по новому стилю) оказался на съезде партии.

Пересчет старого стиля на новый его и подвел. Но как хотелось доказать, что Коба был связан с охранкой! И верилось, что мог стремительно домчаться из Тифлиса до шведской столицы!



Обвинители Сталина утверждают, что падение его началось с доноса, которым он предал подпольную типографию в Тифлисе. Не зря Морозова, узнав про обвинения Левина, смеялась.

— Авлабарскую типографию подвела случайность. Никакой информации у жандармов на нее не было, просто шли повальные обыски в различных частях города. Проводили

их и на окраине города, на территории седьмого полицейского участка, в так называемом Авлабаре, где находилась усадьба Ростомашвили. Там были обнаружены запалы, применяемые для взрывателей, завернутые в бумагу с типографскими оттисками. Потому и начались поиски типографии...

Об этом же говорится и в письме начальника тифлиского ГЖУ, который 17 апреля 1906 года доносил в Департамент полиции, в Петербург:

«...В числе обысков, производимых на окраине города, в местности седьмого участка Авлабар — обыск усадьбы Ростомашвили был поручен временно прикомандированному по вверенному мне управлению для производства дознаний ротмистру Юлинцу (начальник Батумского отделения жандармского полицейского управления железных дорог). В подвале флигеля этой усадьбы были обнаружены семь стеклянных запалов, употребляемых для взрывания бомб и завернутых в бумагу с типографскими оттисками, что поддало ротмистру Юлинцу мысль о возможности нахождения в этой усадьбе тайной типографии».

Как же была обнаружена типография?

— Полицейские и агенты охраны, осматривавшие дом, ничего подозрительного не обнаружили, — рассказывала Морозова. — Они осмотрели двор, жилые комнаты. Юлинец первым вышел на улицу, он закурил, и один из агентов, увидев в бурьяне кусок бумаги, попросил его: «Ваше благородие, зажгите». Юлинец удивился просьбе, но бумагу поджег, и агент бросил ее в колодец. Наклонившись, он увидел, как, пролетая, бумага была затянута в сторону воздухом. «Там лаз!» — обрадованно закричал полицейский. Полицейские спустили по канату в колодец пожарного, который действительно обнаружил в боковой стене подземный ход. Так в апреле девятьсот шестого года была открыта Авлабарская типография.

На донесении, отправленном из Тифлиса в Петербург, примечательная резолюция: «Затребовать подробные приметы и точные сведения о скрывшихся жильцах и арендаторах для последующего розыска». Выходит, никаких агентурных сведений у полиции не было — розыск

только надо было начинать. Имея сведения от провокатора, охранка постаралась бы взять подпольщиков на месте, в типографии.



О провале Авлабарской типографии рассказывал Морозовой тесть Сталина, старый революционер Сергей Яковлевич Аллилуев, которого она хорошо знала. К этой типографии Аллилуев имел самое непосредственное отношение.

Летом 1903 года большевики решили организовать в Тифлисе большую подпольную типографию, в которой можно было бы печатать партийную литературу. Место выбирал Михо Бочоридзе. Остановился он на тихом пустыре на окраине города — Авлабаре, где в основном проживали армяне. Получив в городской управе разрешение на строительство жилого дома, приступил к постройке. Сначала участок обнесли высоким забором, потом вырыли глубокую яму. Каменщики стали выкладывать фундамент, и тут им объявили, что хозяин обанкротился и строительство прекращается. На постройке оставили лишь несколько доверенных рабочих.

По рассказу Морозовой, Авлабарскую типографию возвели по оригинальному плану. Покрыв стены большим каменным сводом, образовали подвал — в нем и разместили типографию. В своде оставили отверстие, засыпав его толстым слоем земли. Над подвалом возвели двухэтажный дом. Затем вырыли колодец, соединив его с подвалом. В колодец опустили две деревянные лестницы, прикрыв их балками, балки засыпали землей. Рядом вырыли второй колодец. Из первого колодца во второй сделали переход. Из второго по деревянной лестнице можно было добраться до типографии. Колодец окружили стенами и навесом — своеобразным сараем.

— Вот эту типографию я и должен был снабжать, — вспоминал Аллилуев.

С его слов, Сосо Джугашвили не знал о типографии в Авлабаре.



Что еще мы находим в публикации «Лайфа»?

То, что Джугашвили называется Сталиным, хотя в описываемый период он был известен и своим, и полиции совершенно под другими псевдонимами. В партии его знали как «Кобу», «Сосо», наружное наблюдение вело как «Кавказца» и «Молочного». Были и другие псевдонимы, которыми Сталин пользовался в те годы.

У охраны было строгое правило: при переписке не называть настоящими имена своих агентов. Имена их шифровались, никто не мог нарушить порядок, установленный инструкцией. Мог ли Еремин, специалист по политическому розыску, сам написавший ряд инструкций для служебного пользования, в том числе и по правилам переписки, открыто сообщить имя своего агента?

Если добавить к портрету Еремина то, что он был призван на службу в Департамент полиции еще в годы революции, когда ставка делалась на надежных и профессионально подготовленных работников, да еще самим Столыпиным, который знал Еремина как добросовестного и инициативно-го офицера, то станет ясно: полковник не мог так опростоволоситься.

Еще несколько доводов, доказывающих фальсификацию. Первый из них — специфическое написание полковником двух букв «е» и «р». Сличая документы, написанные самим Ереминым с тем, который он якобы написал, можно заметить разницу.

Второй, более существенный довод. В переписке Департамента полиции сохранилось заявление об отпуске, написанное им на имя директора 19 мая 1913 года. С отпуском Еремину пришлось задержаться из-за предстоящего повышения по службе. Приказом по штабу корпуса жандармов, датированным 11 июля 1913 года, он назначается на должность начальника Финляндского жандармского управления. Последний документ по Особому отделу Еремин подписал 19 июля 1913 года. В этот же день был издан циркуляр за № 101213, в котором говорится: «Полковник Еремин назначается начальником Финляндского жандармского управления, а временное исполнение обязанностей заведующего Особым отделом возлагается на чиновника М.Е.Броецкого».

Вполне понятен вопрос: как мог Еремин, находясь в другой должности и в другом месте, не имея на то прав, подписывать документ, о котором трубят авторы «сенсации»? Думається, их смутил сам текст полицейских донесений, и потому они решили, что переписка и подтверждает сотрудничество Кобы с охранкой.

В донесении начальника Московского охранного отделения Мартынова в Департамент полиции, где говорится о Сталине, есть ссылка на секретного сотрудника охраны «Портного». Под этой кличкой работал провокатор Малиновский, о судьбе которого уже говорилось. Малиновский был популярной личностью и считался ценным партийным работником — ему доверяли все руководители партии, не ведая, что он секретный сотрудник охраны. Отсюда и полная осведомленность Мартынова.

О многом говорит и фраза полицейского чина, рекомендующего Джугашвили «задержать не сразу, лучше перед отъездом за границу». Совет дельный, видимо, этим снималось подозрение с «Портного», так как предпринятый арест, сразу после встречи с ним, наведет арестованного на подозрение только тех, с кем он встречался накануне. Было необходимо, чтобы прошло время и состоялись встречи с другими лицами, — круг подозреваемых должен был расшириться.

Обвиняя Сталина, Левин и все последующие его сторонники демонстрируют полное незнание терминологии жандармских документов. Выражения «вошел в связь с секретным сотрудником», «обменялся с секретным сотрудником сведениями» означают для них причастность Джугашвили к выдаче партийной информации. Но прочтем внимательно другие жандармские документы, сопоставим их и убедимся, что Джугашвили ими отмечается как источник агентурных сведений. Слежка за ним и план его ареста лишь свидетельствуют о том, что он не был секретным сотрудником полиции.

Сохранились письма, написанные Джугашвили в ссылке, перехваченные охранкой. В них он жалуется на тяжелое материальное положение и просит выслать ему денег. Оба письма — одно в адрес Государственной думы, второе —

в книгоиздательство «Просвещение» — были изъяты из почты для перлюстрации в январе 1914 года, копии направлены в Департамент полиции под номерами 598 и 579. Направлены были и сопроводительные документы. Они-то и вызывают недоумение у исследователей.

Вот один из них.

«Совершенно секретно. Лично. Представляя при сем агентурные сведения за № 579, имею честь донести Вашему превосходительству, что автором таковых является гласно-поднадзорный Туруханского края Иосиф Виссарионов Джугашвили. Упомянутый в документе Соколов может быть окончивший срок гласного надзора в Туруханском крае Николай Николаев Соколов. Адресат же документа неизвестен. В Томск и С.-Петербург сообщено за № 10, 11. Полковник Байков».

И здесь, как и в предыдущих донесениях, упоминаются «агентурные сведения». Вот почерк жандармов, их терминология.

— А что здесь особенного? — удивлялась Морозова. — В этом нет ничего нового, ибо такова была практика полицейских учреждений, а потом, кстати, и советских. «Агентурный» в данном случае обозначает способ получения информации — своими сотрудниками, нелегальным путем, перлюстрацией почты, а в наше время и подслушиванием. Кто исследует деятельность полицейских учреждений, тот должен знать об этом. Ну, а если не знает, не наша, как говорится, беда. Я полагаю, что пресловутое письмо родилось не в недрах охранки, — отмечала Морозова, — сами охранники сделали бы все более профессионально. Скорее всего, письмо было сфабриковано в тридцатые годы, когда захотелось скомпрометировать Сталина. В двадцатые он еще не был первым лицом государства и удар по его престижу не вызывал такой необходимости. Позже, когда он стал единоличным вождем, такая фальшивка понадобилась его врагам. Но работа оказалась топорной.



Указанная подделка не единственный документ, которым оперируют иные исследователи, пытающиеся доказать при-

частность Сталина к охране. Вытаскивают на свет они и некоторые донесения провокаторов, в которых упоминаются многие разговоры большевиков, их споры и, в частности, обвинения друг против друга, порой похожие на бытовые склоки.

В основном это относится к 1910 году. Тот период старые большевики, с которыми мне приходилось беседовать, вспоминали с чувством горечи: провалы в бакинской организации, например, следовали один за другим, ими и были порождены взаимные упреки и подозрения.

— К чему сегодня обвинять одного Сталина? — недоумевала Изабелла Георгиевна. — В тот год подозревали многих, если не всех, даже членов городского комитета.

Сегодня мы знаем, что бакинская охранка в 1909–1910 годах была прекрасно осведомлена о делах большевиков и меньшевиков, потому что имела в их рядах 14 секретных сотрудников, которые предоставляли подобные сведения по всему социал-демократическому движению.

Некоторые фамилии их сохранились в документах, других разоблачила Морозова с товарищами.

В Баку в тот период действовали: под кличкой «Слесарь» известный рабочий, партийный активист Г.В.Сергеев; «Октябрьский» — И.М.Дорофеев; под кличками «Никитин» и «Доброволец» давал сведения В.М.Семенютенко; под кличками «Ловкий» и «Адамович» действовал П.И.Мачарадзе; «Фабрикант» и «Быстрый» — А.К.Москаленко. Щедро оплачивалась охранкой «работа» И.М.Саркисянца — в документах он проходит как «Дорогой».

Историк Николай Яковлевич Макеев, большой знаток бакинского дореволюционного периода, отмечал, что самым активным пособником охраны был Николай Степанович Еринов, зарегистрированный под псевдонимом «Фигус». Еринов в тот период был знаком со многими лидерами большевиков и сообщал охранке о них важную информацию.



Из донесений агента «Фигуса»:

«4 января 1910 г. было собрание Балаханского районного комитета, на котором выбрали членом комитета Платона

Мачарадзе и поручили ему ведение агитации за всеобщую забастовку в Романах, Сабунчах, Забрате. Мачарадзе получил от комитета 20 р. и приступил к работе... Дорофеев — кассир Балаханского района, живет в Балаханах».

«Фикус» не знал, что Мачарадзе, на которого доносил, является таким же, как он, секретным сотрудником охраны.

Донесение, датированное тринадцатым годом: «1 февраля в Балаханах состоялось собрание, на котором были произведены выборы членов в районный комитет вместо временных. Выбранным оказались Грачев, Дроздов, Г.Галанвадзе, Бакрадзе...»

Ирония судьбы: комитет поручает Бакрадзе выяснить, «кто действительно является виновником арестов», и поручает ему «выяснение личности провокатора, так как он имеет больше свободного времени». Никто из членов комитета даже не предполагает, что Бакрадзе Давид Виссарионов — не тот человек, за которого он себя выдает, что это на самом деле Еринов Николай Степанович, носящий кличку «Фикус». Зато это знают в охране, где весьма довольны, что их агент продвигается по партийной лестнице.

Охранка внедряет в ряды социал-демократов своих агентов и, получая информацию из различных источников, имеет возможность сравнивать ее и делать свои выводы.

24 марта 1913 года агент «Слесарь», сообщая о составе Балаханского районного комитета большевиков, обращает внимание на Бакрадзе, «имеющего в партии большое значение»...



Морозова вспоминала, что положение в бакинской организации в тот период действительно было сложное, особенно взаимоотношения между Степаном Шаумяном и Иосифом Сталиным.

— Я думаю, это происходило из-за того, что Коба хотел перехватить лидерство, — предполагала она. — Его знали товарищи, работавшие в Грузии, авторитет его рос, поддерживали его и те, кого мы называли боевиками, а это была смелая и уважаемая в партии когорта людей. Сталину уже было тесно в своем старом пиджачке, ему хотелось уже вести за собой всю организацию. А с бакинской организацией счита-

лись все лидеры партии. Думаю, ему и хотелось выдвинуться. Но мешала фигура Шаумяна, более популярного, грамотного и обожаемого. Кобе не удавалось «свалить» Степана, чтобы стать лидером...

Она вспомнила о письме Ленина, который просил Шаумяна дать характеристику Джугашвили — о нем Ильич узнал от товарищей. Шаумян был объективен и не приписал Сталину ничего лишнего.

— А ведь мог бы... — говорила Изабелла Георгиевна. — Но Степан Георгиевич был порядочным, чистым человеком и всегда стоял выше всяких дрызг и мелочей.

В 1910 году в бакинском комитете личные отношения его членов были далеко не идеальными. Трения возникали серьезные.

Вновь обратимся к информации провокаторов. В одном из сообщений читаем: «16 марта состоялось заседание бакинского комитета, на котором рассматривался ряд вопросов...» — о партийной школе, типографии, праздновании 1 мая и, в частности, о провокаторах. В этом донесении есть фраза, которую советские историки посчитали спорной: «Между членами бакинского комитета «Кузьмою» и «Кобою» на личной почве явилось обвинение друг друга в провокаторстве. Имеется в виду суждение о бывших провокаторах..., а в отношении новых провокаторов решено предавать их смерти».

Из донесения «Фикуса» в марте 1910 года:

«В бакинском комитете все еще работа не может наладиться. Вышло осложнение с «Кузьмою». Он за что-то обиделся на некоторых членов комитета и заявил, что оставляет организацию. Между тем, присланные Центр. Ком. 150 рублей на постанковку большой техники, все еще бездействующей, находятся у него, и он пока отказывается их выдать. «Коба» несколько раз просил его об этом, но он упорно отказывается, очевидно, выражая «Кобе» недоверие».

Из донесения начальника Бакинского ГЖУ ротмистра Мартынова:

«Упомянутый в месячных отчетах (представленных мною от 11 августа минувшего года за № 2681 и от 6 сего

марта за № 1014) под кличкой «Молочный», известный в организации под кличкой «Коба» — член Бакинского комитета РСДРП, является самым деятельным партийным работником, занявшим руководящую роль, принадлежавшую ранее Прокофию Джапаридзе (арестован 11 октября минувшего года — донесение мое от 16 октября за № 3302), задержан по моему распоряжению чинами наружного наблюдения 23 сего марта.

К необходимости задержания «Молочного» побуждала совершенная невозможность дальнейшего за ним наблюдения, так как все филеры стали ему известны и даже назначаемые вновь, приезжие из Тифлиса, немедленно проваливались, причем «Молочный», успевая каждый раз обмануть наблюдение, указывал на него и встречавшимся с ним товарищам, чем, конечно, уже явно вредил делу».

Как видим, в этом донесении нет никакого упоминания настоящей фамилии арестованного и никаких сносок на его связь с охранкой, хотя таковые должны были быть, если «Молочный» (то есть Сталин) уже давал агентурные сведения начальнику тифлисского ГЖУ.



Был ли Коба агентом царской охранки? На этот вопрос мог бы ответить бывший начальник Департамента полиции Белецкий, который наверняка должен был знать, работает тот на полицию, и если да, то с какого года?

Но Белецкий, уже находясь в руках большевиков, об этом даже не обмолвился. А ведь мог смягчить свою участь, тем более что к этому времени Сталин становился одним из лидеров партии, и такое признание действительно могло быть сенсационным.

Мы знаем, что из всех бывших чинов полиции именно Белецкий активно сотрудничал со следователями Чрезвычайной следственной комиссии временного правительства, полагая, что так может спасти свою жизнь. Не думаю, что он не боялся большевиков, находясь в Петропавловской крепости. Наверняка знал, что его ждет. И, сказав многое, ничего не сказал о Сталине!



Из показаний провокатора Р.В. Малиновского, данных 5 ноября 1918 года Революционному трибуналу при ВЦИК:

«...В ту ночь был другой случай, когда Белецкий сообщил, что Коба будет арестован; Коба в этот вечер приходит ко мне и отправляется на вечеринку на Калашниковскую биржу, и там его арестовывают. Я знаю, что его будут арестовывать, и не предупредил, а там, на Калашниковской бирже, были два хорошие места, я знал все это и не предупредил».

Речь идет о двух фактах, которые знал провокатор, — первым полиция взяла Свердлова, вторым Сталина. Белецкий предупреждал своего высокого агента о действиях полиции для того, чтобы тот, избежав встречи с товарищами, не был бы ими заподозрен.

Если бы Коба был агентом охраны еще с тех времен, о которых говорили его обличители, мог ли всезнающий Белецкий не знать об этом? И если знал — для чего арестовывал в ту ночь, выгораживая другого агента?

Наивно предполагать, что отправленное письмо в Сибирь о провокаторе Сталине миновало Белецкого в бытность его директорства в Департаменте полиции, когда к нему стекалась вся информация, поставляемая агентурой. Да, он мог не знать мелких агентов в далекой провинции поименно, но агентов, работающих и побывавших в нескольких губерниях, игравших в среде революционеров серьезную роль, тем более посланного на съезд партии в Стокгольм, должен был знать. Но — не знал!



Версия, придуманная в эмиграции и лишенная документальных подтверждений, перекочевывает из-за рубежа к нам. И уже наши литераторы пытаются ввести ее в оборот.

В книге писателя Василия Белова «Год великого перелома» есть эпизод, в котором автор описывает Сталина накануне своего пятидесятилетия. Тот, перебирая прожитую жизнь, вспоминает, в частности, и моменты, которые могли бы его скомпрометировать. В частности, связь с царской охранкой.

«Как гнусно, как омерзительно вечно ощущать над собой этот топор, занесенный над головой, — описывает писатель

душевные терзания вождя. — Он висит над тобой день и ночь, день и ночь не исчезает угроза разоблачения. Откуда у них бумаги? Почему он, Коба, был таким дураком? Он не ударил палец о палец, чтобы уничтожить архивы охранки... Как попали они в руки Троцкого?»

В другом эпизоде повествования Сталин находит в куче поздравительных писем и телеграмм пакет с вложенным листком, отпечатанным на машинке. Под грифом «только для служебного пользования» приведен текст: «Опись материалов, извлеченных из синодальных и жандармских архивов: № 1. Характеристика училищного совета № 2. Отношение начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф.Железнякову за подписью зав. особым отделом Департамента полиции от 12 июля 1913 года. Продолжение в следующем письме».

Уверен, писатель ориентировался на непроверенные факты, не зная истинную подоплеку дела.

Вспоминаю беседы с Морозовой и ее суждения о том, как бы действовал все эти годы Коба, если был бы в действительности агентом охранки?

— Он бы достал документ из-под земли, — считала она. — В тридцатые годы у него были и власть, и сила, и такие возможности, что НКВД в любой точке земного шара убрала бы человека, компрометирующего его. На счету нашей разведки было немало похищений и убийств...

Прежде, чем попасть на стол к Сталину, почта читалась если не в НКВД, то в его секретариате. Каков был риск для сотрудника секретариата принести такое письмо в кабинет вождя?

Но — это мысли, предположения, основанные на информации о работе правительственных учреждений в тридцатые годы. Иного представить себе просто невозможно. К тому же в регистрационных журналах нет упоминаний о подобных письмах, пришедших на имя Сталина. Только несведущий человек может предположить, что минуя охрану к вождю мог залететь комарик, да еще такой опасный, как упоминание о темном прошлом.

Упоминание о Троцком, полагаю, тоже из числа авторских гипотез, хотя в писательском ремесле рассуждения не

должны быть лишены документальной канвы, если речь идет об истории.

Ознакомимся с материалами, касающимися личности Льва Давыдовича Троцкого.

Уж каким злейшим врагом Сталина был его бывший соратник, но и тот, заклеив его в предательстве революции, в других смертных грехах, обвинение в провокаторстве отвергал «как чудовищное и абсолютно недоказуемое».

В 1937 году Троцкий написал книгу «Преступления Сталина», переведенную на многие европейские языки. Так он ответил на обвинения, выдвинутые против него на московских судебных процессах. Сам Троцкий, пройдя через высылки, гибель родных и друзей, через отречение своих единомышленников, став свидетелем уничтожения всей ленинской гвардии большевиков, к которой относил и себя, не разочаровался в своих прежних идеалах и до конца своей жизни был убежден, что жил и действовал правильно.

Борьба Троцкого со Сталиным — тема иная, во многом хорошо известная. Нас же интересует другое: как старый революционер, знавший все перипетии борьбы, соперничавший с Лениным и бывший вторым человеком в Советской республике, оценивал Кобу, оттеснившего его позже, в результате всевозможных интриг, на второй план?

Перелистаем и мы его книгу, поищем в ней все, что нас может заинтересовать.

«Такие свойства интеллекта, как хитрость, вероломство, способность играть на низших свойствах человеческой натуры, развиты у Сталина необычайно и при сильном характере представляют могущественные орудия в борьбе. Конечно, не во всякой».

«...И все же взятый в целом Сталин остается посредственностью. Он не способен ни к обобщению, ни к предвидению. Его ум лишен не только блеска и полета, но даже способности к логическому мышлению. Каждая фраза его речи преследует какую-либо практическую цель; но речь в целом не поднимается до логического построения. В этой слабости — сила Сталина».

«...Сталин систематически развращал аппарат. В ответ аппарат разнуздывал своего вождя. Те черты, которые позволили Сталину организовать величайшие в человеческой истории подлоги и судебные убийства, были, конечно, заложены в его природе. Но понадобились годы тоталитарного всемогущества, чтобы придать этим преступным чертам поистине апокалиптические размеры».

«...Я упомянул выше хитрость и отсутствие сдерживающих внутренних начал. К этому надо прибавить жестокость и мстительность. Ленин еще в 1921 году предостерегал против назначения Сталина в генеральные секретари: «Этот повар будет готовить только острые блюда». В 1923 году, в интимной беседе с Каменевым и Дзержинским, Сталин признался, что высшее для него наслаждение в жизни состоит в том, чтоб наметить жертву, подготовить месть, нанести удар, а затем пойти спать. «Он дурной человек, — говорил мне о Сталине Крестинский, — у него желтые глаза».

«...Не без колебаний приведу два факта из личной жизни Сталина... Бухарин рассказывал мне лет двенадцать назад, как Сталин развлекался, пуская своей десятимесячной девочке дым из трубки в лицо: ребенок задыхался и плакал, а Сталин смеялся.

— Да что вы выдумываете! — прервал я Бухарина.

— Ей-богу, правда, — отвечал он со свойственной ему ребячливостью.

Десятилетний сын Сталина часто укрывался у нас на квартире, весь бледный, с дрожащими губами.

— Мой папа сумасшедший, — говорил он вслух, уверенный, что наши стены обеспечивают его неприкосновенность».

Привел Троцкий и слова Крупской, рассказывающей о глубоком недоверии и острой неприязни, с какими Ленин относился к Сталину в последний период жизни:

— Володя говорил мне: у него нет элементарной честности, самой простой человеческой честности...

Как видим, Троцкий сказал о Сталине много нелестного, но нигде никакого намека о его связях с царской охранкой, даже не высказано ни одного подозрения. Выходит, не знал, хотя к нему после высылки из СССР стекалось много анти-

Сталинской информации, и письма потоком шли в далекую Мексику, где демон революции нашел свое прибежище.



Троцкий писал: «Остается еще сказать о так называемой «ненависти» моей к Сталину. О ней немало говорилось на московском процессе как о движущем мотиве моей политики. В устах какого-нибудь Вышинского, в передовицах московской «Правды» и органов Коминтерна разглагольствования о моей «ненависти» к Сталину представляют оборотную сторону возвеличивания «вождя». Сталин творит «счастливую жизнь». Низвергнутые противники способны лишь завидовать ему и «ненавидеть» его. Такой глубокий психоанализ лакеев!»

И там же рассказ о своих взаимоотношениях со Сталиным. Его привожу без значительных купюр.

«...Если оставить в сторону случайную встречу, без слов, в Вене, около 1911 года, на квартире Скобелева, будущего министра Временного правительства, — то впервые я соприкоснулся со Сталиным после прибытия из канадского концентрационного лагеря, в Петербурге, в мае 1917 года.

Сталин был тогда для меня лишь одним из членов большевистского штаба, менее знаменитым, чем ряд других. Он не оратор. Пишет серо. Его полемика груба и вульгарна. На фоне грандиозных митингов, демонстраций, столкновений он политически едва существовал. Но и на совещаниях большевистского штаба он оставался в тени. Его медлительная мысль не поспевала за темпом событий. Не только Зиновьев и Каменев, но и молодой Свердлов, даже Сокольников занимали большее место в прениях, чем Сталин, который весь 1917 год провел в состоянии выжидательности. Позднейшие попытки наемных историков приписать Сталину в 1917 году чуть ли не руководящую роль (через посредство никогда не существовавшего «Комитета» по руководству восстанием) представляют грубейшую политическую подделку.

После завоевания власти Сталин стал чувствовать себя и действовать несколько более уверенно, не переставая, однако, оставаться фигурой второго плана. Я заметил вскоре, что Ленин «выдвигает Сталина». Не очень задерживаясь

вниманием на этом факте, я ни на минуту не сомневался, что Лениным руководят не личные пристрастия, а деловые соображения. Постепенно они выяснились мне. Ленин ценил в Сталине характер: твердость, выдержку, настойчивость, отчасти и хитрость как необходимые качества в борьбе. Самостоятельных идей, политической инициативы, творческого воображения он от него не ждал и не требовал. Помню, во время гражданской войны я расспрашивал члена ЦК Серебрякова, который тогда работал вместе со Сталиным в Революционном военном совете Южного фронта: нужно ли там участие обоих? Не мог ли бы Серебряков в интересах экономии сил справиться и без Сталина? Подумав, Серебряков ответил: «Нет, так нажимать, как Сталин, я не умею — это не моя специальность». Способность «нажимать» Ленин в Сталине очень ценил...»

Троцкий посвятил Сталину немало страниц. На каждой — какой-нибудь эпизод, унижающий его.

Вот, например, Сталин, по словам Троцкого, в прениях ЦК однажды не по значению употребил слово «ригористический». Каменев взглянул на Троцкого лукавым взглядом, как бы говоря: «Ничего не поделаешь, надо брать его таким, каков он есть».

И.Н.Смирнов в 1923 или в 1924 году возражал Троцкому в беседе: «Сталин — кандидат в диктаторы? Да ведь это же совсем серый и ничтожный человек». Троцкий ответил: «Серый — да, ничтожный — нет».

Как-то Каменев отметил, что Сталин — «вождь уездного масштаба».



Многие бакинские большевики, работавшие в революционном подполье, непременно отмечали такую характерную черту Сталина, как подозрительность.

Всю жизнь он был подозрителен, нередко замкнут, и никогда, никому, даже самому близкому человеку, не раскрывал свои сокровенные мысли, не изливал душу.

В воспоминаниях Н.С.Хрущева мы находим интересный эпизод, случившийся в 1952 году на даче в Афоне.

«Однажды до обеда Сталин поднялся, оделся и вышел из дома, — вспоминал Хрущев. — Стояли перед домом: Микоян, Сталин и я. Без всякого повода вдруг Сталин пристально посмотрел на меня и говорит: «Пропаций я человек. Никому не верю. Я сам себе не верю».

В конце жизни подозрительность Сталина стала просто маниакальной.

«...Дошло до того, что Сталин стал Ворошилова считать шпионом и перестал доверять ему... — отмечал Хрущев. — Потом начал Сталин зло лягать Молотова... Через какое-то время в опалу попал и Микоян... Я уже после смерти Сталина часто шутил и Анастаса Ивановича спрашивал: «Слушай, скажи, какой страны ты агент? Ты уж, наверное, если агент, то не одной страны?»

Анастас Иванович сам любил пошутить и на шутку отвечал шуткой. Так мы шутили, но это стало шуткой после смерти Сталина. А тогда при таком доверии, которое Сталин выразил Молотову и Микояну, если бы он еще полгода пожил, то он бы их отослал к прадедам, куда отсылал всех «врагов народа». Он с ними бы расправился...»

Но это уже было на склоне лет, когда вождь постарел, устал и, несомненно, был больным человеком.

Отметил Хрущев и такую деталь — как болезненно реагировал Сталин на сигналы трудящихся, стремившихся «сообщить правду». К сигналам трудящихся он прислушивался.



Перед самой смертью вождя затеивалась новая кампания — дело врачей. Быть бы ему таким же кровавым, как и все предшествующие: допросы, аресты, суды, расстрелы, ссылки, лагеря, когда появилось письмо врача Тимашук, которая утверждала: один из соратников товарища Сталина, Жданов, умер от того, что его неправильно лечили врачи. То есть умертвили.

Сталин поручил с этим делом разобраться. Врачей стали арестовывать и «шить дело» по уже известным канонам: фальсификация, угрозы, пытки.

Бдительного врача Тимашук наградили даже орденом Ленина. То была заслуга за донос, который дал живительную влагу новой волне репрессий среди медиков — известных и уважаемых в стране людей. Несомненно, толчок был сделан в ведомстве, которое курировал Лаврентий Берия, а Тимашук была лишь исполнительницей, потерявшей честь и совесть.

«Если бы Сталин был нормальным человеком, — отмечал Хрущев, — то он бы по-другому реагировал на это письмо. Мало ли таких писем поступает от людей с ненормальной психикой. Сталин был очень восприимчив к подобной литературе. Я считаю, что эта женщина тоже была продуктом сталинской политики. Сталин внедрил в сознание людей, что мы окружены врагами, что в каждом человеке нужно видеть неразоблаченного врага. Сталин призывал к бдительности и говорил, что даже если в доносе есть 10 процентов правды, то это уже положительный факт. Но это 10 процентов. А поддаются ли вообще учету проценты правды в таких письмах, как подсчитать эти проценты? Это была политика больного человека».

Откуда это?

Я вспоминаю рассказы Морозовой о подпольной работе в Биби-Эйбате — рабочем предместье Баку, где вел революционную работу молодой Сталин. Порой его поступки были действительно непонятны. Он отличался от своих товарищей прежде всего поведением: приходил на собрания неожиданно и так же неожиданно уходил, как правило, в разгар заседания, ночью. Во дворе дежурили люди, сопровождавшие профессионального революционера. Чувствовалось, что он больше доверяет своим друзьям, чем иным членам комитета. Объяснял просто: боится провокаторов, утечки информации.

— Мы все боялись арестов и ищек охранки, — рассказывала Морозова, — но такая осторожность Кобы, честно говоря, смущала всех профессионалов. Первым, помнится, обратил на это внимание Красин. Да и другие товарищи говорили об этом, а Сталин отшучивался: «Береженого Бог бережет». Товарищи ему говорили: «Если боишься, можешь

не заниматься революционной работой». Сталин ответил: «Только глупый может быть неосторожным».

— Но мы знаем, что провокаторы в бакинской организации водились, — помню, заметил я.

— Водились, — согласилась она. — И, как выяснилось после установления советской власти, в достаточном количестве. Но мы были профессиональными революционерами и знали правила конспирации. Кто их нарушал — непременно сгорал.

Часто возвращаюсь к тому разговору и, перебирая его фразу за фразой, думаю: ну, допустим, служил Коба в охранке и имел обеспеченный «тыл» — почему же вел он себя свехосторожно? Он должен был действовать иначе: больше вращаться в революционной среде, чаще задерживаться у товарищей, интересоваться многим. Примеров тому предостаточно — Малиновский, Шурханов, Серебрякова. Всех провокаторов роднила общительность и сопричастность ко всему. Мы знаем, чем это было вызвано, но они были именно такими людьми. Вернее, такими их сделала специфика двойной жизни. Тот же Евно Азеф, которого историки не зря нарекли «королем провокаторов», находясь в розыске, прогуливался с женой по Петербургу, не боясь полиции.

А старые большевики, знавшие Сталина еще по бакинскому подполью, подчеркивали: полиции и охранки он боялся, встреч с ними избегал.

Однажды при Морозовой сказал:

— Революционер может побывать в тюрьме лишь однажды. Для того, чтобы набраться опыта и научиться пользоваться беспроволочным телеграфом, простукивая стены. Во второй раз он попадать туда не должен...

Сказано это было Сталиным в феврале 1908 года, накануне второго ареста.



— На всех нас, кто участвовал в революционном движении, охранкой заводились циркуляры, — рассказывала Морозова. — Когда я получила к ним доступ, мне было интересно читать про себя. Удивилась точности наблюдений, даже дрожь по телу прошла. Но тогда не было времени чи-

тать, собирали все в мешок и свозили в партийный комитет. Потом выяснилось, что многое пропало, не все сумели сохранить. А в двадцатом приехавший в Баку особоуполномоченный ВЧК Георгий Александрович Атарбеков никак не мог успокоиться, почему весь архив полиции не взяли под охрану.

Так вот, сохранились у меня записи из картотеки на многих товарищей, среди них и циркуляр на Сталина, подписанный исполняющим должность Бакинского градоначальника подполковником Мартыновым.

«Джугашвили Иосиф сын Виссариона... Клички Сосо, Сапожник, Коба... Родился в 1879 г. в Гори, грузин. Отец сапожник на фабрике Адельханова в Тифлисе. Образование — духовное училище, в 1893 г. поступил в духовную семинарию, из коей был исключен.

В РСДРП с 1889 г., член Тифлисского комитета в 1900 г.

Рост — 2 аршина 4 и 1/3 вершка, телосложение — посредственное, производит впечатление обыкновенного человека, волосы на голове — темно-каштановые, усы и бородка — каштановые, вид волос — прямой, без пробора, глаза — темно-карие, лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный, лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы, на правой нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб, уши средней величины, походка обыкновенная, на левом ухе родинка, на левой ноге 2-й и 3-й пальцы сросшиеся, ходит быстро...»

Мне показалось, что Морозова часто вспоминала определение, данное охранкой Сталину: «производит впечатление обыкновенного человека». Как она ошиблась!

— А как охранка отмечала других революционеров?

— Каждого по-своему. Про Красина писала: способный, притягательный, умный. Про Шаумяна — тоже были эпитеты, про Авеля Енукидзе: ленивый, но, когда, мол, загорится — заводной... А про Кобу, видишь, что намалевала, не зная, кем он станет. Да, не было в охранке ясновидцев!

О многом, что рассказывала мне Изабелла Георгиевна, вслух тогда не говорилось. Цензура была строгой, ворошить прошлое, тем более преданное забвению, не разрешалось. Про Авеля Енукидзе говорили несмело, иные имена не про-

износились вообще. Жизнь была регламентированной: все, что не вписывалось в официальные каноны, отвергалось, иное, более смелое, даже преследовалось. Так и накопились в наших институтах и библиотеках тысячи рефератов и диссертаций, сегодня не нужных науке. В одни десятилетия наши историки возвеличивали Сталина, не зная меры, в другие — дружно низвергали.

После разоблачения культа личности Сталина ударились в другую крайность — теперь о нем говорилось все только в черном свете, все грехи списывали на него одного.



В 1929 году газета «Заря Востока» в честь дня рождения генсека партии поместила его биографические данные. Лгать она не могла, еще были живы не только друзья Кобы, но и враги — мигом могли разоблачить.

«Вступил в РСДРП в 1889 году. В 1890 г. — член Тифлисского комитета. В 1905 г. был в Таммерфельсе, с 1907 г. работал в Баку.

Первый арест — в 1902 г. в Батуме. Находился в тюрьме до 1903 г. Высылка в с.Новая Уда, Балаганский уезд, Иркутская губерния.

Второй арест — в марте 1908 г. в Баку. После отсидки сослан на три года в Сольвычегодск Вологодской губернии, откуда через несколько месяцев бежал.

Третий арест — 1910 г., выслан обратно в Вологду. В 1911 г. бежал из ссылки, уехал в Петербург. В 1912 г. избран на партконференцию в Прагу.

Четвертый арест — 1912 г. После отсидки сослан в Нарымский край на 4 года. Летом совершает побег, приезжает в Петербург, потом едет в Краков, участвует там в июне 1912 г. в совещании.

Пятый арест — весной 1913 года, ссылка в Нарым, село Курейка — 1913-1916 гг.».

Так говорилось в газете кавказских коммунистов.

В 1907 году Сталин обосновался в Биби-Эйбате — нефтяном районе столицы «черного золота». Примерно тогда и познакомилась с ним Изабелла Георгиевна.



Что же рассказывали старые большевики о Сталине? Что записала с их рассказов Морозова?

И.П.Вацек: «Сталин не любил много говорить, ораторствовать, хотя обладал организаторскими способностями, которые проявились в организации похорон большевика Ханлара Сафаралиева, рабочего завода Мусы Нагиева в сентябре 1907 года. Ханлара убили подло: из-за угла, по распоряжению приказчика. В связи с подлым убийством большевики призвали рабочих к двухдневной забастовке протеста. Они писали в своей листовке: «Мы покажем всему свету, что Ханлар не одинок, что за каждым передовым рабочим стоит армия многотысячной массы, готовая грудью отстоять своих товарищей — вождей».

На похоронах Ханлара, в организации которых активное участие принимал и Сталин, вылившихся в мощную политическую демонстрацию, пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Полиция запретила музыку. Сталин призывал рабочих: «Будем петь революционные песни!» Так дошли до Баилова. Здесь полиция запретила петь, потому что стало собираться рабочих еще больше. Тогда раздались долгие гудки, сзывающие народ. Потом был митинг, на нем среди выступавших был и Сталин, который призывал помнить еще одну жертву царизма...»

С.Д.Жгенти: «В 1907 году мы предприняли атаку на меньшевиков в Биби-Эйбатском районе против Р.Рамишвили и С.Девдориани, которые действовали на массы через рабочих Китаева и Перова. Те требовали удалить Сталина. Собралось примерно двести рабочих, против Сталина было голосов двадцать — тридцать, остальные за него...»

А.Г.Долидзе: «Знал его с 1905 года. Он часто менял квартиру, постоянного места жительства не имел».

Акоп Акопян: «Сталин был осторожен, днем на улицах не появлялся, на дневные собрания не ходил, а приходил на ночные сборы неожиданно и всегда в сопровождении двух-трех товарищей, один был во дворе, охранял. Сидел и молчал, больше слушал. Уходил внезапно...»

Григорий Чучулашвили: «Помню его по Баку в 1901–1903 годах, когда я служил приказчиком в большом книжном писчебумажном магазине купца Попова. Там собирались

и обменивались мнением Сталин, Рыков, Авель, Тодрия и Ваню Стуруа».

М.М.Мамедъяров: «Знал Сталина с 1904 года, когда проходила конференция на Баилове. Ворвалась полиция. Дальше Изабелла знает, что было. Мы сломали смежную дверь и ворвались в зал, где шел спектакль. Полиция не смогла определить, где зрители, а где подпольщики...

В 1906 году Сталин участвовал в собрании на промысле «Московского товарищества» и ночевал на квартире подпольщицы В. Когда полиция узнала об этом, ее уволили. Потом он ночевал на квартире Семена Султаняна несколько дней, а потом я с С.Мехмандаровым проводили его через Арменикенд в Баладжары, он уехал на поезде».

Ваню Стуруа: «Вместе с ним мы печатали газету на Бондарной, д. 12 (речь идет о Баку. — В.Д.), потом я его встречал на квартире Сергея Мартикяна».

Лев Арустамов: «В конце 1908 года в третьей камере баиловской тюрьмы мы сидели вместе — я, Нико Сакварелидзе, Евдоким-оглы, Слава Каспаров и Сталин. Потом к нам водворили Серго Орджоникидзе... В тюрьме изучали марксистскую литературу, Сталин занимался с Нико, а Слава с Евдоким-оглы...»

В 1912 году Коба присутствовал на собраниях в Балаханах — между промыслами Манташева и Кокорева. Там были Ваня Фиолетов и Дедушка (Тер-Минасов). Нам сказали, что Коба проводил такие же собрания на Баилове...»

Все эти записи были сделаны в двадцатые годы. Как видим, ни в одной из них нет и намёка на сотрудничество Сталина с полицией, напротив, из некоторых рассказов можно сделать вывод, что Коба охраны опасался. Товарищи отмечали: при всех странностях характера Сталин не был боязливым, хотя чересчур осторожным все же был. Другьям помогал, жадным и завистливым не был.

«Белое пятно» в биографии вождя — участие в экспроприациях для пополнения партийной казны. Впрочем, больших лавров у товарищей Коба на этом поприще не снискал и славы легендарного боевика Камо — С.А.Тер-Петросяна, которого хорошо знал, не достиг. Но зато познакомился тогда с верными друзьями, одним из которых, как предполага-

ют, и был Мирджафар Батиров, впоследствии руководитель азербайджанских коммунистов. Какие только сюжеты не бывают в жизни!



Есть еще несколько неразгаданных эпизодов из биографии вождя, о которых нельзя не сказать.

Выступая на первом съезде советских писателей, знаменитый «богоборец» Емельян Ярославский, занимавшийся в партии идеологической работой, предлагал писателям создать образ настоящего героя-революционера. Для убедительности привел пример из жизни вождя: «Товарищ Сталин, будучи в тюрьме, однажды вместе с другими был избит тюремной стражей, полицейскими, согнанными солдатами. Он проходил через строй, держа книгу Маркса в руках, с гордо поднятой головой».

Возможно, его совету и последовал Михаил Булгаков, написавший в 1939 году пьесу «Батум» о ранней юности Сталина. Не буду вдаваться в подробности замысла писателя и сложившейся к тому времени вокруг него обстановки, но отмечу — тогда его пьесы снимали со сцены, и жизнь его порой была невыносимой.

Последние годы Булгакова терзали сомнения, он страдался, пережив аресты и ссылки друзей. «Батум» казался ему спасением, хотя это было насилием над собой не только в творческом плане. После блистательных произведений то был слишком скромный труд: попытка сказать о человеческом достоинстве не удалась, после 1937 года сделать это было весьма трудно. Еще продолжали сажать, ссылать, запрещать. Булгаков хотел написать добрую пьесу, но замысел его не осуществился, видимо потому, что был ошибочным изначально: сказать правду о правящем властителе невозможно.

Одним из важнейших источников для работы над пьесой стала книга «Батумская демонстрация 1902 года», изданная в марте 1937 года Партиздатов ЦК ВПК(б) с предисловием Лаврентия Берию. Книга была издана в рекордные сроки: сдана в производство 10 марта, подписана к печати 17 числа того же месяца и выпущена в свет уже через три дня! По замыслу издателей, она должна была укрепить авторитет

вождя, отметив его особую роль в революционном движении на Кавказе.

Читая книгу, Булгаков пометил некоторые страницы красно-синим карандашом на полях. Они так поразили его, что он не мог пройти мимо, не заострив на этом свое внимание.

Вспоминая о Сталине, Доментий Вадачкория пересказал рассказ вождя о его побеге из ссылки. Прочитаем этот отрывок и мы.

«Перед побегом товарищ Сосо сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный субъект — шпион. Чтобы избавиться от этого субъекта, товарищ Сосо сошел на одной из станций, предъявил жандарму свое удостоверение и потребовал от него арестовать эту «подозрительную» личность. Жандарм задержал этого субъекта, а тем временем поезд отошел, увозя товарища Сосо...»

Рассказ помещен на сто сороковой странице. Он означал, что из первой сибирской ссылки молодой Джугашвили бежал на второй месяц с удостоверением, которое могло быть поддельным, — такое у революционеров практиковалось — или, а это уже гораздо серьезнее, подлинным документом.

Но могли ли партийные товарищи снабдить парня, впервые оказавшегося в ссылке и не имевшего больших заслуг перед партией, таким документом?

Эту версию развивают некоторые исследователи, задающие вопросы: как мог молодой арестант из Батума, доставленный под конвоем в глухую сибирскую деревню и находившийся под надзором полиции, сфабриковать секретный полицейский документ — личное агентурное удостоверение, тогда как каждый бланк находился на строгом учете и был доступен лишь для высших чинов губернского жандармского управления?

Не вернее ли было бы предположить, рассуждают они, что молодой Сталин пускал в ход настоящее удостоверение и, пользуясь им, отдавал приказы дежурным жандармам на железной дороге? Ведь такие документы выдавались только арестантам, вступившим в тайное соглашение с охранкой.

Если Сосо уже тогда сотрудничал с охранкой, то наверняка должен был остаться хоть какой-нибудь след в архи-

вах, подтверждающий такое сотрудничество. Но такового, как мы знаем, не оказалось.

Выходит, подобное удостоверение ему могли дать старшие товарищи или он воспользовался чужим и, рискуя, решил бежать из ссылки, невзирая ни на какую опасность?

А вдруг Вадачкория ошибся и что-то присочинил, чтобы похвалиться своей близостью к вождю? В подобное не верится. В том году за такую оплошность могли дать десять лет без права переписки, потому болтать лишнее никто бы не осмелился.

А, может быть, молодой Сосо похвастал перед старшими товарищами, возвратившись домой, чтобы те поверили, что перед ними смелый, смекалистый парень?

Об этом мы говорили с Морозовой, перебирая различные варианты. Найти ответа не удавалось. Единственное, что узнал от нее: написанная и изданная в рекордные сроки книга о вожде была быстро уничтожена.

— Возможно, в том были виноваты ее организаторы, — предполагала она, — которые хотели возвеличить роль вождя, но оказали ему сомнительную услугу. Говорят, что Берия от книги отмежевался, а те, кто пропустил ляп с Вадачкорией, были наказаны. В то время наказывали сурово, ты это знаешь. Что касается побегов Джугашвили, то помню, как на них реагировал Красин. «У него дьявольская смекалка, и хитрость, помноженная на осторожность», — как-то сказал он.

Сама Морозова в побегах не видела особой сложности.

— При царе ссылка была не такой страшной, как в советское время. В бакинской баиловской тюрьме камеры днем открывались и арестанты общались между собой. А полицейский в Сибири надзирал за большой территорией. Бывало, ссыльные жили в одной деревне, а полицейский в другой. Там бежать мог каждый, если подготовился. Но бежали не все.

— Вам приходилось беседовать с Кобой о его побегах? — спросил я.

— Нет, но некоторые детали я знала, товарищам он рассказывал. Об удостоверении узнала из книги. Но когда ее прочла, спросить у него не могла — он был в Кремле, а за мной приехал «черный воронок». Так что уточнить детали не сумела, не обессудь.

— Замечали ли вы у него те черты характера, на которых останавливали внимание другие?

— Я знала Сталина молодого. В те годы он производил на многих хорошее впечатление, — отвечала Изабелла Георгиевна. — Он был смелым, бесстрашным, хлебосольным, за товарища стоял горой, много читал, к советам прислушивался. Но в то же время он был строгим. Что касается его способностей, то все знали: Коба обладает отличной памятью, то, что знал, не забывал никогда. Он никогда не записывал имена и явки, не обременял себя записной книжкой. Никогда не терял над собой контроль. Любил застолье, но пил умеренно, как правило, вино.

— Так вы говорите, что по отношению к нему подозрений никаких не было, — выпытывал я у Морозовой. — А все эти разговоры о провокации в десятом году?

— Разговоры действительно были, но больше, думаю, от неудач и разочарования. Когда начался подъем революционного движения, то обо всех подозрениях сразу забыли, тем более что они не были подкреплены какими-нибудь серьезными доказательствами. Отдельных провокаторов, правда, тогда выявили — им, конечно, досталось.

— С ними расправились?

— Да. Причем жестоко.

— Их избивали?

— Бывало и такое. Но чаще их убивали, осуществляя акты по решению комитетов. Тот, кто расправлялся с провокатором, не чувствовал никаких угрызений совести, ведь он убивал предателя.



Пьеса Михаила Булгакова «Батум» была для постановки запрещена. Сталин как-то обмолвился: «Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать». Но, видно, научили не так — пьеса, восхвалявшая юность вождя, ему, судя по всему, не понравилась.



Если бы Сталин был осведомителем охраны и поддерживал с нею связь, то непременно сообщил бы об отъезде

Аллилуева в Петербург. В то время трудно было предположить, что они станут родственниками.

Аллилуев состоял под гласным надзором полиции. Было это после ареста на квартире Юдея Левита на Гимназической улице в Баку. В своих прошениях об освобождении из-под ареста он указывал, что попал на ту квартиру случайно.

Я читал документы, сохранившиеся в бакинском архиве. Сергей Яковлевич объяснял свое нахождение на квартире, где собрались большевики, чистой случайностью — приехал в незнакомый город и ошибся адресом. Жена слезно просила начальника жандармского управления отпустить кормильца большой семьи, который с революционерами не общается.

Аллилуева выпустили, приказав отмечаться в полиции. Он и отмечался: бывал на промыслах, общался с рабочими и, добываясь разрешения в канцелярии градоначальника, ходил на свидания к товарищам в тюрьму.

Однажды в канцелярии его застал градоначальник Шубинский.

— Что вам здесь нужно, Аллилуев?

— Просит пропуск на свидание в тюрьму, — ответил за него чиновник.

— Как? — заорал Шубинский. — Он еще ходит на свидание к бунтовщикам? Меня заверяли, что он с революционерами не общается. А он, мне говорят, и на промыслах ведет недозволенные речи, занимается пропагандой. Учтите, если мне сообщат нечто подобное, я вас немедленно арестую!

Аллилуев сделал невинное лицо:

— Что касается моих посещений нефтяных промыслов, то здесь какое-то недоразумение. Я ищу работу. Если мои поиски так истолковываются, то я предпочту выехать из Баку и прошу предоставить эту возможность.

— До окончания следствия, — сказал Шубинский, — вы никуда не выедете!

А тут как раз Красин прислал из Питера письмо, обещал там работу.

— При мне решался вопрос выезда Аллилуева из Баку, — рассказывала Морозова. — Долго ломали голову, как найти ему паспорт. По своему он ехать не мог, могли задержать на любой станции. Товарища согласился выручить

Евстафий Руденко. Он отдал Аллилуеву бессрочную паспортную книжку, которую Сергей Яковлевич обещал возвратить после прописки в Петербурге. Аллилуев пошел к Сталину — так советовали друзья: «Не забудь с ним попрощаться, он о тебе спрашивал». О той встрече рассказывал позже сам Аллилуев.

Коба жил в небольшом одноэтажном домике, сидел во дворе под виноградником и читал книгу. Встав со стула, приветливо сказал:

— Пожалуйста, заходи.

Аллилуев рассказал Сталину об обстоятельствах, вынуждающих его покинуть Баку.

— Не дает житья Шубинский, — закончил он свой рассказ.

— И не даст, — сказал Коба. — Решение принято правильное. Я сейчас...

Он внезапно вошел в комнату, через минуту вернулся, держа в руках деньги.

— Бери, бери, — произнес, видя растерянность товарища. — Попадешь в новый город, знакомых нет. Пригодятся. Да и семья у тебя большая...

Они попрощались.

— Счастливого пути, Сергей! — сказал Коба, пожимая ему руку. — Еще встретимся!



На долгие годы из советской истории было вычеркнуто имя историка Бориса Ивановича Николаевского, который, собрав материалы о провокаторе Азефе, написал о нем книгу. Он знал Сталина и с ним не раз встречался — в 1917 году они оба входили в состав ВЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов.

Николаевский участвовал в революции 1905–1907 годов, десять лет провел в тюрьмах и ссылках. В одной из пересыльных тюрем он встретил Кобу.

— Вы можете одолжить мне чайник? — спросил Коба у Николаевского.

— Я вам его дарю, — ответил тот. — У вас всегда будет свой кипяток...

Позже, когда их пути разошлись, Николаевский не пожалев «кипятка» для вождя и напишет много нелестного о времени его правления.

В свое время Николаевский входил в состав комиссии П.Е.Щеголева, разбирался в преступлениях царского режима. В двадцатых годах, разъезжая по Европе, он собирал документы по истории международного рабочего движения, будучи официальным представителем Института К.Маркса и Ф.Энгельса. В тридцатые спас от гитлеровцев архив Германской социал-демократической партии и остался в Париже. Именно с ним беседовал Н.И.Бухарин, прибыв во Францию. Об этом было доложено Сталину и, естественно, поставлено в вину Бухарину.

По двум причинам доверял Борису Ивановичу Бухарин, обсуждая положение в стране Советов, — Николаевский был известным архивистом, а также родственником А.И.Рыкова, сестра которого была замужем за братом Николаевского.

В годы репрессий погибли и сам Рыков, и брат Николаевского.

Когда гитлеровцы вошли в Париж, они устроили настоящую охоту на русского ученого — не могли простить ему выступлений против фашизма.

Николаевский уехал в Америку, где жил и работал до самой смерти, последовавшей в 1966 году. Он оставил большое творческое наследие — свыше 500 работ, о которых высоко отзываются ученые и сегодня. Написал он и о царской тайной полиции. И — ни строчки о провокаторстве Сталина. А мог бы, ведь обличал своего бывшего сокамерника за многие грехи — за репрессии, за насильственную коллективизацию, за измену идеалам революции. Фальшивка Левина уже была опубликована в Америке, там же о ней узнал и Николаевский. Серьезной реакции с его стороны на этот «документ» не последовало. А ведь именно он в первую очередь должен был схватиться за такую находку.

Не мешает напомнить читателю, что хорошо понимая значение документов, Николаевский неустанно собирал их. В Гуверовском институте в Стенфорде хранится уникальное собрание таких материалов — более 250 фондов. И опять-таки — нигде ни одной строчки о предательстве Сталина!

Возможно, на это обратят внимание обличители Сталина, ссылающиеся на сенсационные «документы».



Если бы Коба работал на полицию, то наверняка о нем должен был знать полицейский генерал А.В.Герасимов. Ускользнув от пришедших к власти революционеров, с которыми он усиленно боролся долгие годы, генерал написал в эмиграции воспоминания. О многом поведал он, ничего не скрыл. Правда, не назвал имен своих личных агентов. В свое время имена личных помощников он не представил даже в Департамент полиции, всегда общался с ними один на один. Покидая пост начальника охранного отделения, предложил им самим выбирать: оставить службу вообще или быть переданными его преемнику.

Да, Герасимов мог скрыть имена некоторых своих помощников, чтобы им не навредить. Но, прочитав его мемуары, можно с уверенностью утверждать: будь Коба «стукачом», Герасимов обязательно об этом бы сказал. О советском вожде, лидере большевиков ему не надо было беспокоиться.



АВИАКАТАСТРОФА 1925 ГОДА

«22 марта в 12 часов 10 минут вблизи Дидубийского ипподрома трагически погибли вследствие аварии аэроплана «Юнкерс-13» заместитель председателя Совнаркома ЗСФСР, член Президиума ЦИК СССР, член РВС СССР и Краснознаменной Кавказской Армии (ККА) Александр Федорович Мясников, председатель Закавказской ЧК Соломон Григорьевич Могилевский и заместитель наркома РКИ в ЗСФСР и уполномоченный Наркомпочтель СССР в ЗСФСР Георгий Александрович Атарбеков и два летчика — товарищ Шпиль и товарищ Сагарадзе».

Из правительственного сообщения 1925 года.



К давно забытому событию, всколыхнувшему тогда страну, сегодня вновь возвращаются историки, связывая его с именем Лаврентия Берии. Они предполагают, что только он мог быть организатором авиакатастрофы, — те, кто летел в самолете, намеревались его разоблачить.

Очередное «белое пятно» нашей истории.

— Вы тоже полагаете, что самолет взорвали по замыслу Берии? — спрашивал я у Изабеллы Георгиевны.

— Такое мнение высказывали некоторые старые большевики, — отвечала она. — Но прошло столько лет, уничтожены не только люди, имевшие к тому событию какое-то отношение, но и документы. Теперь остается только предполагать...

Морозова советовала поговорить с ветеранами XI Красной Армии, устанавливавшими советскую власть в Закав-

казье, и назвала товарищей, с кем мне предстояло побеседовать. Некоторые из них и поведали об эпизодах, о которых не упоминала официальная история.

Одним из моих собеседников был тогда почетный чекист, полковник в отставке Мирза Аждарович Айдамиров, который парнишкой оказался в 1919 году в XI Красной Армии и принимал участие в обороне Астрахани в составе мусульманского полка. Там его приметил и перевел к себе Георгий Атарбеков, возглавлявший особый отдел армии. Айдамиров работал в Азербайджанской ЧК с первого года ее становления.

И в преклонном возрасте Айдамиров восхищался Атарбековым:

— Он был настоящим бессребреником революции, честным, неподкупным. В жизни я больше не встречал такого человека — твердого, порядочного, принципиального...

— Но были упреки, что на совести этого чекиста и погубленные люди...

— Были погубленные революцией, — заметил Мирза Аждарович, — а не по прихоти самого Георгия Александровича. Он был солдатом партии и ей подчинялся. Не помню, чтобы он поощрял беззаконие, присваивал ценности во время обысков, занимался интригами, мечтая о карьере. Как и все революционеры, он мечтал о народном счастье. Белогвардейцы его ненавидели, помышляли об убийстве. К нему даже подослали красивую княгиню, которая должна была его отравить, но случился казус — она влюбилась в чекиста. Об этом подробно не рассказано — вот и напишите...

Не все, конечно, эпизоды, что рассказал Айдамиров, приведены в этой книге — мы рассматриваем только те, что связаны с провокацией. Все остальное относится к другой теме. Пока лишь не исследовано начало карьеры Берии, его предательская деятельность в молодости, а остальное об этом дьяволе в человеческом облики уже сказано — убийца, душегуб, развратник, палач...

Даже те, кто работал с ним, отзывались о Лаврентии Берии плохо. У большинства он вызывал ненависть и злобу.

Бывший командир батальона XI армии Михаил Григорьевич Лепехин отзывался о нем просто: «Это была гениаль-

ная падаль!» Как и многие ветераны, о падали он вспоминать не хотел.

Впрочем, как и Айдамиров, он рассказал несколько интересных эпизодов, которые нигде не упоминались. И в очередной раз передо мной предстал образ проходимца, сделавшего карьеру на людском горе и крови. Несомненно, Берия был великим авантюристом, умевшим интриговать, блестящим мастером провокации.

Как мастер провокации он меня и интересует.



Так какое же отношение мог иметь чекист Берия к крушению самолета в 1925 году?



В марте этого года в Сухуми должен был состояться съезд Советов Абхазии, на который были приглашены Мясников и Атарбеков. Первый в то время возглавлял Закавказскую Федерацию, второй имел самое непосредственное отношение к революционным событиям в Абхазии — вместе с Нестором Лакобой он входил в состав Ревкома в Сухумском округе в 1918 году. Известно, что Лакоба и Атарбеков были большими друзьями.

Помню, как в партархиве ИМЛ в Ереване в 1981 году молодой ученый Аматауни Виробян показывал мне документы, относящиеся к жизни и деятельности Атарбекова. Мы прочитали письмо, посланное Нестором Лакобой Атарбекову как раз накануне злосчастливого полета. Нестор просил друга обязательно приехать на празднование: «Ты знаешь, как будут рады твои абхазские друзья и товарищи». И там же: «Посылаю наш отменный табак, не смотри, что обертка неважная... Пришлю, как представится возможность, хороший табак».

Из текста было ясно, что они поддерживали отношения и часто переписывались.

Вначале Атарбеков вроде и не собирался лететь в Сухум, у него были дела. Уговорил его Мясников.

Как куратор воздушного флота Закавказской Федерации, Атарбеков днем 20 марта позвонил члену правления общества «Закавиа» Полетаеву с просьбой выяснить, «воз-

можно ли перевезти товарища Мясникова в этот день или на другой в Сухум?» Полетаев связался с командиром 7-го авиаотряда Мачавариани, дислоцировавшегося в Тифлисе. Тот посоветовался с летчиком Шпилем, который водил зафрахтованный в Германии «Юнкерс». Шпиль, уверенный в техническом состоянии аэроплана, ответил утвердительно.

Огорчили синоптики: на трассе Тифлис — Сухум была неблагоприятная погода. Пришлось полет отложить.

Через сутки из Сухума пришла хорошая сводка. Атарбеков поручил пилотам готовиться к полету. В тот день Мясников разговаривал с Атарбековым: «Может, слетаем, Георгий Александрович?» Вполне вероятно, что Атарбеков остался бы в Тифлисе, но у него состоялся разговор с Могилевским, который часто советовался с бывшим чекистом. О чем шла речь, мы не знаем, но можем предположить, что тема была серьезная, если Атарбеков все же согласился вылететь в Абхазию.

Утром 22 марта «Юнкерс» готовили к полету. На нем был заменен пропеллер. В присутствии военлетов Сагарадзе, Лункевича, Ребенко, Павлова, младшего механика Лескова и старшего моториста Дика Шпиль и бортмеханик Леман в течение семи минут опробовали работу мотора, дав ему 1300 оборотов. Шпиль был доволен — мотор работал хорошо.

Вместе с Леманом Шпиль проверил рули управления — все в исправности. В десять часов утра «Юнкерс» к вылету был готов.

В 11.00 на аэродром прибыл Полетаев, которому и доложили о готовности. Через полчаса приехали на автомобиле Мясников, Атарбеков и Могилевский. Еще через десять минут их личные вещи были в кабине, мотор уже работал на малом газу.

— Счастливо! — крикнул Леман Шпилю и помахал рукой.

Шпиль поднял самолет в 11.45 и из-за ветра взял курс на юго-восток. Пролетев две версты, повернул вдоль оврага реки Орхеви и озер Авлабарское, Куринское и Земо-Тба, взяв курс на Сухум. По наблюдениям с аэродрома вылет «совершился при нормальных условиях, и мотор работал хорошо».

В 12.05 дежурному по канцелярии аэродрома позвонили с телефонной станции Тифлиса: «Нам передали, что летит

«Юнкерс» и горит!» Через несколько минут последовал звонок из железнодорожных мастерских: самолет сел. На место посадки выехали на грузовике авиаотряда военлеты Жуков и Лункевич, механик, моторист и красноармейцы.

Они приехали на место трагедии...

Жители урочища Грма-Геле увидели появившийся со стороны озера Земо-Тба из-за горы самолет, за которым тянулся дым. Пламя, по их мнению, было высотой до двух саженей. Самолет повернул на юг и, снижаясь, пошел в сторону скакового круга Дидубийского ипподрома. Не долетев до круга полторы версты, самолет резко перешел на вертикальный спуск и в этот момент из кабины выпрыгнули два пассажира. Затем из самолета, еще не упавшего на землю, выпал третий человек.

Потом установили, что первыми выпрыгнули Атарбеков и Могилевский, которые предпочли такую смерть огню. Последним сделал эту попытку Шпиль.

Очевидцы уточнили: «При ударе самолета о землю произошел сильный взрыв бензиновых баков, отчего взорвался и загорелся самолет, под обломками которого сгорели тт. Мясников и Сагарадзе».

Из официального документа:

«Немедленно на нескольких автомобилях к месту происшествия выехали ответственные работники. За переездом через железную дорогу, приблизительно в полуверсте, в немецкой колонии, на поле лежали обломки аэроплана. Среди груды обломков аэроплана на небольшом пространстве были раскинуты трупы погибших. Два трупа совершенно обуглились. Обломки, в которых они лежали, еще тлели... От аэроплана осталась груда металла, в которой с трудом разглядываются формы частей аэроплана. Все, кроме дюралюминия, сгорело, а несколько обломков еще тлело... По словам бывших здесь охотников и футболистов, они видели снижающийся аэроплан, причем снизу его виднелось пламя. Затем внезапно аэроплан камнем упал на землю. Произошел взрыв, и весь аппарат покрыло дымом и вырвавшимся пламенем...»

Правительство ЗСФСР организовало специальную экспертную комиссию под председательством командарма Кавказской армии Августа Корка для выяснения причин ката-

строфы аэроплана «Юнкерс». Комиссия подписала и технический акт, составленный специалистами.

«...Техническим осмотром обломков самолета и мотора комиссией в составе: командира 7-го отдельного авиаотряда т.Мачавариани и членов — военкома 7-го отдельного авиаотряда Колчушкина, военных летчиков Жукова и Лункевича, младших механиков Лескова и Шпакова и ст.механика Никурадзе установлено, что самолет не загорелся вследствие неисправности мотора и его арматуры. Вся система управления оказалась в хорошем состоянии, на основании чего можно заключить, что резкое пикирование в момент аварии не произошло вследствие порчи органов управления. Никаких дефектов в бензопроводах и в местах их присоединения к бакам, находящимся под крыльями, не установлено.

Выводы аварийной комиссии: 1) Сгорание самолета произошло не от мотора и не от порчи или неисправности органов управления и 2) Предположительно пожар на самолете начался внутри пассажирской кабины (возможно, что от неосторожного обращения с огнем при курении), откуда пожар мог распространиться на 18-литровый резервуар, подающий бензин самотеком в карбюратор (место резервуара между головами и выше летчика и механика)».

Итак, члены комиссии, высказав предположение, причину катастрофы не установили.

По прошествии стольких лет, конечно, трудно утверждать иное, но свидетельские показания, как и сам акт, приводят к многочисленным вопросам.

Не было ли первым стремлением комиссии отвести от себя угрозу, поскольку речь шла о самолете, который поднялся с аэродрома авиаотряда и обслуживался его механиками? Лункевич был среди тех, кто готовил аэроплан к вылету, а Шпаков и Жуков имели отношение к самому авиаотряду. Очевидцы вспоминают: на месте происшествия была «груда развалин, и все сгорело, покорежилось». Как же тогда члены комиссии смогли определить состояние мотора и бензопроводов?

Да и откуда такая уверенность, что пожар начался от курения в салоне? Потому что пассажиры были известны пристрастием к табаку?

Очевидцы, дожившие до 60-х годов, высказывали свое мнение: будь такая вспышка, наверняка Атарбеков и Могилевский смогли бы потушить возгорание своей одеждой, они не были людьми робкого десятка.

Они же рассказывали, что относительно курева Шпиль предупредил пассажиров, на что Атарбеков, не раз летавший и ведавший вопросами воздухоплавания, ответил: «Я присмотрю за Соломоном Григорьевичем, не волнуйтесь».

Выходит, пассажиры закурили, как только самолет стал набирать высоту? Не похоже — оба были дисциплинированными.

Свидетели утверждали: пламя било снизу, резервуар же был «расположен между головами и выше летчика и механика». Словом, одни неясности.

Позже прошел слух, что к устранению Атарбекова и Могилевского имел самое непосредственное отношение Берия, который знал, что они серьезно заинтересовались его персоной. Судьба троих была решена — удачного случая, когда они окажутся вместе, можно было не дожидаться. Атарбеков и Могилевский ворошили прошлое Лаврентия, а Мясников был преградой на пути его продвижения.

По признанию ветеранов XI армии Семена Михайловича Рябинина, Соломона Моисеевича Сальникера и Николая Джавадовича Севояна (последний, кстати, прослужил в органах госбезопасности и вышел на пенсию в шестидесятые годы) в авиакатастрофе 1925 года «чувствуется уверенная рука Лаврентия Павловича».

— Он играл, как отменный шахматист, заранее рассчитывая ходы, — отмечал Николай Джавадович. — Но был он похож на шакала: перед сильными преклонялся, над слабыми упивался властью. Я знал о нескольких его провокациях и уверен: такого мастака убирать неугодных людей не было на всем белом свете...

— Но ведь никаких улик в организации им авиакатастрофы так и не обнаружили, — возразил, помнится, я.

— Свидетелей, знавших секреты, он уничтожал. Сначала приближал к себе, проявляя благосклонность, потом наносил смертельный удар. Он был страшным, коварным. Смотрел на тебя и улыбался, а в глазах была одна такая мик-

роскопическая точка, которая бросала человека в дрожь, — он понимал, что обречен.

Севоян посоветовал:

— Выпиши фамилии всех, кто имел отношение к той трагедии, и проследи их судьбу. Все они были уничтожены в тридцатые годы. Никто не остался в живых.



Интересно, что Лаврентий Берия противился созданию новой комиссии для расследования авиакатастрофы. Все были «за», он один «против». В Закрайкоме партии этому удивлялись. Для того, чтобы скрыть свою заинтересованность, он вслух говорил: «Ну, если вы не верите технической комиссии, созданной Красной Армией, создайте новую. Лично я товарищу Корку верю».

Это никак не вяжется с его позицией в других следственных делах, когда он копал до конца, добываясь результата, который ему был нужен.

Но ползли по Закавказью слухи: большевиков убили. Вдова пилота Иосифа Шпиля рассказывала, что ее муж предчувствовал недоброе, не хотел лететь в Сухум, просил заменить его.

А Шпиль был опытным пилотом. Уже в мае 1924 года он налетал 100 000 километров. Тридцатитрехлетний пилот находился на службе у общества «Закавиа», на «Юнкерсах» летал с 1920 года, приехал в СССР в 1923 году.

Механиком в том полете выступил Амбакум Ермолаевич Сагарадзе, уроженец деревни Они Рачинского уезда. Он был совсем молод — за плечами гимназия, обучение воздухоплаванию на тифлисском аэродроме. Летал с 1921 года, сначала на итальянских машинах, затем пересел на «Юнкерс». В оперативном донесении, которое мне привелось держать в руках, говорилось: «Со дня советизации Грузии — летчик».

Вскоре была создана вторая комиссия, экспертная. Председателем ее стал командующий Краснознаменной Кавказской армией Август Корк. Ничего нового комиссия не выявила, лишь подтвердила выводы прежней.

Но слухи не утихали, ими, как известно, полнится земля. И когда дошли они до Москвы, та приняла решение: вновь

проверить заключение комиссии. В Тифлис прибыл начальник оперативно-технического отдела ОГПУ В. Паукер, которому доверял Сталин. Как известно, тот был у него в числе надежных и преданных людей.

Паукеру доложили: все, что узнали члены комиссии, — перед вами, иного нет. Высокий гость набросился на Берия и его коллег: «Почему уничтожены улики?», на что Берия, нервничая, ответил: «А их и не было. Все, что мы могли собрать, собрали. Вам, конечно, было бы это сделать легче, у вас опыт и знания. А откуда такие знания у моих людей?»

На этом расследование чекиста Паукера завершилось. — Это дела меньшевиков, — уверял Берия.

Помог ему невольно и Лев Троцкий, который отдыхал в Сухуме. Прибыв в столицу Грузии, тот заявил: «Надо еще спросить о причине гибели троих товарищей у грузинских меньшевиков».

Не любили лидеры большевиков бывших товарищей по борьбе с самодержавием. На них все и списали.

Списать авиакатастрофу на меньшевиков особенно выгодно было Берии, который с ними рьяно боролся в Грузии, — для него был лишний козырь.



Как считали многие старые большевики, разобраться в этой старой истории все-таки было можно. Но ни летом 1953 года, когда шло следствие по делу Берии, ни в декабре, когда над ним состоялся суд, никто этим не поинтересовался. Судьи спешили. Да и столько фактов было собрано в обвинительном заключении, что старые дела, тем более далекого 1925 года, им не понадобились.

Между тем в зловещей роли Берии в авиакатастрофе 22 марта 1925 года никто из тех, с кем мне пришлось беседовать, не сомневался. Мои собеседники вспоминали фразу, сказанную бывшим чекистом, работавшим в Грузии, Суреном Газаряном: «Когда-нибудь история прольет свет на это дело».



Айдамиров был уверен, что Берии стоило опасаться Атарбекова, который к нему долго присматривался. Несмот-

детелей своих неудач и позора. Но Айдамирова не трогали. Он долго обдумывал, почему это могло произойти, и пришел к выводу, что тот о нем просто позабыл. Видно, так был ошарашен в тот момент Лаврентий, что ничего не запомнил.

Позже, когда Айдамиров стал офицером госбезопасности, Берия его не узнал. А напомнить о встрече в здании АзЧК в 1921 году Мирза не решился, поведал однажды об этом Морозовой, та преподала ему очередной урок: «Никому о происшедшем не говори, помни: молчание — золото».

Сама Морозова никогда не рассказывала о беседе, состоявшейся у нее с Атарбековым. Тот спрашивал о Берии — откуда он появился, кто его рекомендовал, что говорят о нем товарищи.

— Приглядишься к нему, Изабелла, — попросил он. — Да и товарищей не мешало бы расспросить об этом человеке. Странно, что Багиров доверил ему такой пост. Впрочем, — добавил он откровенно, — к победителям всегда тянутся, и в этом нет ничего неожиданного — многие хотят оторвать себе кусочек власти, не имея никаких заслуг. Возможно, Лаврентий один из таких.

Изабелла Георгиевна не знала тогда, что к делу Берии ей еще придется прикоснуться.



В 1921 году Лаврентию повезло, в тот год начиналась советизация Армении и Грузии, части XI Красной Армии стремительно повели боевые действия против войск государств, заявивших о своем нейтралитете и независимости. Как известно, Георгий Атарбеков был назначен председателем ревкома северных районов Армении — в Закавказье шла гражданская война, и не было сильной личности у большевиков против дашнаков, — ему было не до Лаврентия. Повезло Берии еще и в том, что помогать ему стал Мирджафар Багиров — председатель АзЧК, человек по характеру твердый и решительный. Он, собственно, и спас Берию, прикрыв его темное прошлое, до которого тогда не докопались.



Один из ветеранов XI Красной Армии подполковник в отставке Пимен Захарович Коробков, как и многие его друзья, считал, что взрыв самолета нужен был только Лаврентию Берии.

«Таким образом он уничтожил сразу трех людей, от которых исходила угроза разоблачения. Хотя в свое время Александр Федорович Мясников и отметил его работу в органах в приказе, мы знали: он больше считался с мнением Могилевского и Атарбекова, которые стали подозревать Лаврентия в нечистоплотности. А ведь до Берии доходила информация, что под него «копают»...

С точки зрения самозащиты, катастрофа «Юнкерса» действительно была нужна только ему. После смерти Атарбекова и Могилевского, которые к нему относились с недоверием, он мог чувствовать себя в Грузии спокойно. Удар из АЗЧК ему не грозил — в Баку правил друг Багиров.



Из рассказа полковника в отставке Николая Афанасьевича Кулакова, ветерана XI Красной Армии:

«Не раз после авиакатастрофы вспоминалась фраза товарища: «А ведь Атарбеков предупреждал о Берии Могилевского: «Непонятная личность, столько о нем говорят нехорошего, а как попробуешь в том удостовериться — то свидетель исчезает, то документ пропадает. Словом, мистика какая-то!» А Могилевский уверял: «Ничего, Георгий Александрович, все выясним, дай время!» Им время-то и не дали».



Из свидетельских показаний Георгия Сергеевича Доценко, данных по делу Берии 29 июля 1953 г.

«В феврале 1922 года я с группой чекистов в составе: председателя Кубано-Черноморского ЧК Шленова Дмитрия, отчества его не знаю, начальника секретно-оперативной части Пудниса Яна, отчества его не помню, работника особого отдела Закржевского Станислава, отчества его не знаю, и меня, Доценко, начальника секретного отделения по борьбе с антисоветскими партиями, — прибыл в г. Тифлис для работы во вновь организованном полномочном предста-

вительстве ВЧК в Закавказье, где получил назначение на должность начальника отделения по борьбе с грузинскими меньшевиками и национал-федералистами.

Летом 1922 года я с группой чекистов выходил из здания тогда уже Закавказской ЧК на обед. Жил я в то время по ул. Кипиановской, д. 25, под Давыдовской горой. К подъезду подъехала открытая машина, из которой на ходу выскочил молодой стройный человек в офицерском новом костюме, в пенсне и обратился к нам с вопросом: «Панкратов еще у себя?» Мы ответили, что Панкратов еще у себя. Панкратов был начальником секретно-оперативного отдела Закавказской ЧК и заместителем председателя ЧК Могилевского.

На мой вопрос к Закржевскому и Пуднису, кто этот человек, они мне ответили, что это Берия, начальник СПО Азербайджанской ЧК, грузин с замашками Наполеона...

Надо сказать, что еще в 1922 году при беседе с председателем Закавказской ЧК Могилевским, когда встал вопрос о привлечении в аппарат ЗакЧК грузина-переводчика для перевода большого количества подпольной меньшевистской литературы, накопившейся у нас, Могилевский мне сказал: «Может, возьмем Берию из Баку?» Я ответил, что я Берию не знаю и вряд ли он пойдет к нам переводчиком, так как он работает начальником СПО. После этого Могилевский сказал мне: «Нет, Берию не возьмем. О нем ходят нехорошие слухи. Поеду в ЦК Грузии и потребую там человека, коммуниста-переводчика».



Любое следствие надо начинать, руководствуясь древнеримским постулатом: кому это выгодно?

Кому было выгодно уничтожить тот «Юнкерс-13»?



ЕГО ИМЯ ПРИВОДИЛО ЛЮДЕЙ В ТРЕПЕТ...

— В нашей истории было три больших провокатора — Азеф, Малиновский и Лаврентий Берия. Последний из них был самый гениальный — он обманул всех, с кем встречался, дружил и работал, а проиграл лишь потому, что полагал: он уже у цели. Ошибся он только один раз. Последняя его поездка в Кремль оказалась для него финальной.

Так говорила Изабелла Георгиевна Морозова.



О Лаврентии Берии написано много. При жизни его восхваляли, после смерти хулили. Сказали правду о нем лишь после расстрела, да и то, думается, не всю, потому что в его биографии так и осталось немало темных пятен. Особенно в первой половине жизни, когда он, примазавшись к победившим большевикам, делал свою головокружительную карьеру, шагая по трупам врагов и друзей. Последних он предавал легко, не брезговал ничем. Новый строй ему пришелся по вкусу — рушили старое, намереваясь строить новое общество, и Берия, неожиданно всплывший на волне революции, понял, что, приспособившись к новым постулатам и произнося их как заклинание, можно достичь многого.

Он многого и достиг, став вершителем судеб.



К сожалению, в биографии Лаврентия так и осталось много невыясненного. Свое прошлое он умело прикрыл легендами и, будучи у власти, сумел уничтожить многие документы, которые могли бы прояснить истину. Даже на следствии, когда его припирали документами, отказывался их признавать. Вполне возможно, существование этих документов удивляло и его — почему он не добрался до них и не уничтожил, как десятки других, которые открывали его истинное лицо.

Каждый приходил на службу в тайную полицию своим путем. Азеф и Берия пришли сами — они были рождены для грязных дел. Если сопоставить одного с другим, станет ясно, что «король провокаторов» Евно Азеф, потрясший мир в начале века своими похождениями, по сравнению с Берией был меньшей величиной. Азеф предал, послав на каторгу и на эшафот неполную сотню, Лаврентий уничтожил сотни тысяч людей, погубил миллионы судеб.

Начинал он с мелких провокаций и маленьких предательств.

В Сухумском училище, где учился Лаврентий, без него не обходился ни один донос. Утверждают, что он был к тому же и нечист на руку. Однажды он выкрал у учителя папку с записями о поведении учащихся и, когда наставника за это уволили, распродал украденные характеристики через друзей.

В 1915 году семья Берии переехала в Баку. Он поступил в местное техническое училище, которое называлось по-разному — техшкола, политехникум, институт. Для нас, думаю, это не имеет особого значения, как и то, что Лаврентий его так и не окончил. Учеба его интересовала до революции, после он стремился попасть в карательные органы, которые, кроме благ, давали еще и власть. Привилегии и власть он почитал с юных лет.

Жил Лаврентий с матерью и сестрой на Биржевой улице. В юности был почтальоном. В Баку я знал стариков, которые помнили наркома еще бегающим с письмами. Иные говорили, что, несмотря на веселый и общительный нрав, о нем ходили сомнительные слухи, и потому, мол, с почты его выгнали. В своей биографии о начале трудовой деятельнос-

ти на почте он не написал ни слова — видимо, не хотел вспоминать старое или не хотел давать повода для многочисленных проверок, которым подвергались те, кто поступал на службу в ЧК.

Но у Изабеллы Георгиевны кое-какие данные имелись, когда по поручению Атарбекова она проверяла биографию Берии. Об этом она доложила особоуполномоченному ВЧК. Георгий Александрович тогда сказал: «Каким был человек в молодые годы, таким и останется на всю жизнь».

Кто был дед Берии, кто был отец — мы не знаем. О них он не упоминает и в своей автобиографии, что очень странно, ибо в организации, называемой «карающим мечом революции», родственным связям придавалось особое значение. Если промолчал, значит, говорить об этом было ему невыгодно. Отмечал он лишь то, что шло ему на пользу.

В своей автобиографии, написанной 17 апреля 1923 года, он приписал себе многое, чего не было, возвеличивая свою роль в партийной работе:

«В том же 1915 г. начинается впервые и мое участие в партийной жизни, тогда еще в зачаточной форме. В октябре этого года нами — группой учащихся Бакинского технического училища — был организован нелегальный марксистский кружок, куда вошли учащиеся из других учебных заведений. Кружок просуществовал до февраля 1917 г. В этом кружке я состоял казначеем. Мотивами создания кружка были: организация учащихся, взаимно материальная поддержка и самообразование в марксистском духе (чтение рефератов), разбор книг, получаемых от рабочих организаций, и проч. Одновременно был избран старостой своего класса (нелегально). В марте 1917 г. я совместно с тов. Егоровым, Пуховичем, Аванесовым и еще одним товарищем (фамилию не помню) организовываем ячейку РСДРП (б-ков), где я состою членом бюро».

Позже выяснилось, что в партию его не принимали — он просто приписал себя к ней.

«В январе 1918 г. поступил в Бакинский Совет раб., сол. и матрос. депутатов, работая здесь в секретариате Совета сотрудником, выполняя всю текущую работу, и этой работе отдаю немало энергии и сил. Здесь я остаюсь до сентября

1918 г., октябрь же этого года застает меня в ликвидации комиссии совслужащих, где я остаюсь до занятия г. Баку турками. В первое время турецкой оккупации я работаю в Белом городе на заводе «Каспийское т-во» в качестве конторщика».

Все советские работники эвакуировались. Остались только те, кого партия определила в подпольщики. Лаврентий остался в городе самовольно.



Несомненно, по натуре Берия был игроком. Лавируя при новой власти, стремился стать заметной фигурой местного масштаба и извлечь из этого свои выгоды. Но когда удалось шаг за шагом подняться выше, он делал уже другие ставки. Его методы — клевета, доносы, угодничество, подхалимство. Правила закулисной игры он постиг в совершенстве, и это помогло ему добиться высоких постов. Эпоха, в которой создавался культ вождей и когда сын кухарки или портнихи мог стать выше всех, ему пришлось по нраву. Он понял, что попал в струю политической жизни.

— Если прочесть его автобиографию 1923 года, — отмечала Морозова, — то невольно обращаешь внимание на целый ряд несуразиц. Кроме хвастовства и вранья, замечаешь его характерный почерк: то, что можно проверить, он говорит двумя-тремя фразами, а то, что нет — утверждает с непоколебимой наглостью. Память у него была отменная, но многие важные детали он не помнит, словно то не его биография, а чужая. К примеру, о своем партийном стаже плел целую небылицу, но выяснилось, что никто его в партию не принимал, он сам в удобный для себя момент определил в ней свое членство. Как мы узнали, ученический кружок в техучилище был, но о Берии никто ничего не сказал. Он и сознается: в партию его записал товарищ Аванесов...

Морозова обратила внимание и на такую деталь. О приеме в партию он говорит, относя сей факт к марту 1917 года. Представим себе ту обстановку — самодержавие рухнуло, в Баку, как и в других местах, идет борьба за власть, в которой принимают участие различные партии и течения. Берия еще не с большевиками. Он не знает, чью принять сто-

рону, кто победит. И, понятно, выжидает. Этим и вызван его отъезд в Румынию, который он красочно описал в 1923 году. Позже об этих фактах Берия забудет. Правда, ему о них напомним в 1953 году следователь, который будет выяснять детали его биографии.

«Вопрос: Как могло случиться, что вы, будучи членом партии с марта 1917 года, в июне этого года добровольно вступили практикантом в гидротехническую организацию и выехали в Одессу? Было ли это поступление согласовано вами с партийной организацией?»

Ответ: Что поступил в эту организацию, Цуринов знал, но я ни с кем из партийной организации этого не согласовывал...»

Иван Григорьевич Беляков, служивший в регистротделе XI армии, добавлял:

— Лаврентий врал. В те годы было железное правило: партячейка должна была знать все, и без нее ни шагу... Выходит, и самой ячейки не было.

Беляков считал, что нахождение Берии в Румынии не исследовано и хранит очередную его тайну. «Если бы следователи покопались...»

Но мы знаем, что на территории Румынии событий было немало и после войны долгие годы ведомство Берии контролировало дружескую страну. Наверняка все уличающие его документы были уничтожены.

В январе 1918 года в Баку правит Совет, там одевают и кормят. Где должен был быть молодой карьерист и приспособленец? Конечно, в Бакинском Совете. Он устраивается туда по рекомендации революционера Георгия Стуруа, который, не раскусив подхалима, окажет ему немало услуг. Этим и воспользуется Берия.

По свидетельствам очевидцев (их мало осталось в живых, но все же остались), Лаврентий там был на побегушках, но это было не главное. Главное заключалось в том, что он имел мандат, который в годы революции значил очень многое. До сентября 1918 года он был с советской властью в хороших отношениях и даже определился в ликвидационную комиссию. Но дальше пути его с комиссарами разошлись. В Баку вступили турки, коммуна пала, и все, кто был связан с большевиками, спешно покинули город. Кое-кто остался в под-

полье. Берия работает на заводе, не боясь, что его разоблачат, хотя он служил комиссарам и ходил с их мандатом.

Из рассказа И.Белякова: «Этот факт как раз и подтверждает, что Берия никакой серьезной роли в Баксовете, о которой утверждал, не играл. Он был мелким клерком. Пришел: мол, я грамотный, учусь в училище. Грамотные тогда были нужны, вот его и взяли!»

В его биографии Морозова находит другие несуразицы.

— Обрати внимание, как только наступают сложные времена, он тут же пишет: я учился, я сдавал экзамены и даже ради этого бросил службу!

По свидетельствам очевидцев, оставил он службу в конторе завода «Каспийского товарищества» только потому, что его оттуда выгнали. Практиканта запомнили в конторе Нобеля еще в 1916 году в Балаханах, где «правили» большевики. И попросили уйти. Он ушел, сделав вид, что из-за учебы.

В свое время были опрошены активисты районных комитетов и установлено: ни в одном из них не работали с председателем комячейки техников, как указано в его биографии!

Но самое странное вот в чем: возглавляя свою ячейку, работая с другими ячейками как инструктор райкома, осенью 1919 года Берия умудряется от партии Гуммет, созданной для политической работы среди трудящихся мусульман, поступить на службу в контрразведку мусаватистского правительства, которое враждебно относилось к большевикам. Именно большевики в апреле 1920 года ворвутся на бронепоездах в Баку и установят в Азербайджане советскую власть, свергнув мусаватистов.

Для того, чтобы подчеркнуть свою значительность, упоминает Берия и товарища Муссеви, убитого контрреволюционерами.

В своей автобиографии он пишет: «Приблизительно в марте 1920 года, после убийства тов.Муссеви, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю на Бакинской таможне».

Выходит, поступление на службу в тайную полицию мусаватистов не связано ни с какими партийными решениями — сам поступил, сам ушел.

Позже в своих документах этот факт Берия нигде не сообщает, чтобы не разоблачить себя— ведь он предавал товарищей.

Историк Николай Яковлевич Макеев, долгие годы преподававший в Азербайджанском государственном университете имени С.М.Кирова, работавший в бакинском филиале истории партии и хорошо знавший дореволюционное подполье, об этом факте рассказывал примерно так. Когда большевики узнали, что Берия служил в контрразведке, то потребовали у него объяснений. Тот стал утверждать, что был направлен туда по заданию партийной организации. Проверили список тех, кто работал по заданию — Лаврентия в нем не было. Тогда он стал утверждать иное: действуя самостоятельно, хотел принести пользу товарищам. Его проостили по молодости лет...



Из рассказа И.Г.Морозовой:

«Разоблачили Берия после того, как документы контрразведки мусавата попали в наши руки. Правда, до этого нам все как на духу изложил офицер контрразведки, который не успел скрыться в ночь на 28 апреля 1920 года, когда бронепоезда XI Красной Армии вошли в Баку, проследовав из Яламы на Апшеронский полуостров. Вызвали Берия. Он юлил, изворачивался. Хечумов, помню, говорил: «Ну и лиса, все крутит и крутит». Отношение членов комиссии по борьбе с провокацией к нему было снисходительное. Лаврентий умел разжалобить людей. Так было и в тот раз. Потом его дело передали в парткомиссию. За него заступились. Ходатайствовал даже Георгий Стуруа, брат Ваню. Он говорил: «Берия молод, ошибки наделал по глупости, кроме того, нет фактов, что он кого-то выдал. Я предлагаю его простить». Лаврентий тогда пришел ко мне: «Хорошо, что вы против меня не выступили, а то была бы мне крышка». Это он сказал позже, когда уже работал в АзЧК. Я рассмеялась: «Тебе, Лавруша, повезло, что я этим делом не до конца занималась, а то наверняка что-нибудь бы нашла». Он побагровел, но ничего не ответил.



Георгий Стуруа, один из секретарей ЦК АКП, просил товарищей за Берия:

— Дайте ему искупить вину. Он хочет служить делу революции? Пусть и послужит в Грузии.

Так Лаврентия Берия допустили в регистрод Кавказского фронта, который был при штабе XI Красной Армии. При этом руководители штаба и РВС армии знали, что такой, как Берия, может помочь в Тифлисе, куда в ближайшее время должны были направиться армейские части, чтобы установить советскую власть. Под вывеской регистрода значился разведывательный отдел. Там были особенные люди — опытные разведчики, но брали туда и таких, кто мог помочь сбором и передачей информации за кордоном.

Берия направляется в Тифлис, где у власти находится меньшевистское правительство. В своей биографии он пишет, что в Тифлисе связался с краевым комитетом, т. е. с товарищем Амаяком Назаретяном, и раскинул сеть резидентов в Грузии и Армении. Поверить в это трудно, потому что работал он в Баку, больших связей для создания в Грузии и Армении сети шпионов у него не было. Свой арест в Тифлисе он связал с арестом членов ЦК партии Грузии опять-таки для того, чтобы придать своей персоне значительность. Членов ЦК меньшевики освобождают, в том числе и Берия, но он не уезжает в Баку, а умудряется, как он пишет, под псевдонимом Лакербая поступить на службу в представительство РСФСР в Грузии, которое возглавлял в тот момент С.М.Киров.

Очередная басня — разоблаченный агент не сможет действовать под другой фамилией. Его уже знают, за ним следят. «Следовательно, Берия раскололся и потому был оставлен на свободе», — утверждал старый чекист М.Г.Рынский, беседуя с ветеранами. После ареста «железного наркома» у них были большие возможности обсудить прошлое своего руководителя.

Как установило следствие, Берия имел отношение к регистроду, но никогда не был окружным резидентом для зарубежной работы в Грузии и даже чрезвычайным уполномоченным в том же регистроде при РВС XI армии. Должность, которую приписывал себе Берия, занимал Нечаев. Во

время следствия его спросили: «Вам известна такая фамилия — Нечаев?» Он ответил: «Не помню». Его спросили: «Фамилия Пунке вам известна?» Он ответил: «Не помню». Задали вопрос: «При аресте при переходе границы у вас было отобрано удостоверение на шелке, подписанное начальником регистра XI армии?» Ответ стандартный: «Не помню».

Самое лучшее — ответить именно так. Тогда не будет никаких вопросов.

Разведчики, уходившие за кордон в Армению и Грузию, имели при себе шелковые лоскуты, которые были подписаны руководителями разведки. Берия об этом знал, но уточнять детали не стал, чтобы себя не разоблачить.

Но Нечаев рассказал о том эпизоде более подробно.

Во второй половине 1920 года к нему попала меньшевистская газета, издававшаяся в Тифлисе, в которой сообщалось, что министерством внутренних дел Грузии арестован «большевистский агент Л.П.Берия с избобличающими его данными». Газета опубликовала полный текст сообщения, который вез Лаврентий. Нечаева поразило, что меньшевики узнали настоящую фамилию Берии, в то время как у него была на задании другая — Лакербая.

Когда Берию задержали и допросили, он выдал все, что знал. Думается, знал он не так уж много и потому был не слишком интересен контрразведке меньшевиков, которая его отпустила восвояси. Кстати, Меки Кедея, участвовавший в допросе Берии, позже рассказывал, как вел себя Лаврентий — сразу же в начале допроса все выложил начистоту: пароль и явки.

Приписывая себе чужие заслуги, Берия в годы своего могущества написал, что принимал самое активное участие в подготовке вооруженного восстания против меньшевистского правительства Грузии, забыв при этом, что закордонные разведчики не имели права вступать в контакты с членами подпольных партийных организаций. «В этой части его воспоминания являются просто хвальбой и вымыслом», — заметил Айдамиров.

Правда его ареста в Тифлисе вместе с членами ЦК Грузии такова: особый отряд меньшевиков окружил здание, где находились лидеры большевиков. Вход в здание был свобо-

ден, а выход — нет. «Разведчик» Берия прошел в здание — ловушка захлопнулась. Всех задержанных потом освободили, и больше ничего героического он сказать о себе не смог.

Вторично Берию арестовали на азербайджано-грузинской границе, на которой, как он писал, оказался уже в качестве дипкурьера. Разумеется, было у него и секретное задание регистрода. Меншевики посадили его в Кутаисскую тюрьму — представители посольства требовали освобождения Берии, считая его дипработником. В тюрьме он участвовал в голодовке. Когда на следствии 1953 года его припирали к стенке, он сознавался: «Организатором голодовки не был, в голодовке участвовал, но до окончания голодовки меня перевели в тюремную больницу».

Мне вполне понятно, что Атарбеков не случайно как-то спрашивал у Георгия Стуруа: «А не считаешь ли ты, что Берию во время арестов просто перевербовали?» Такой же вопрос он задавал и Могилевскому.

Вечное правило разведки: агент, попавший в лапы чужой контрразведки, должен быть проверен досконально, доверие к нему до проверки падает.

Попав в лапы «особого отряда» Кедии, Берия стойким себя не показал. Рассказав все, что знал, он в какой-то степени стал своим человеком для Кедии. Тот посоветовал ему войти в здание, где находились члены ЦК Грузии, — в случае ареста вместе с товарищами авторитет Лаврентия возрастает.

Вполне возможно, что, раскрывая секреты, Берия оставил и какие-то письменные этому подтверждения. Они-то и не давали ему покоя, он посылал своих доверенных эмиссаров отыскать изобличающие его бумаги и доставить ему лично. Своего прошлого он боялся.



Из рассказа Соломона Моисеевича Сальникера, бывшего шифровальщика разведотдела XI Красной Армии:

«Берия никогда не был резидентом нашей закордонной разведки. Он был одним из многих «посланцев», которых засылали для сбора информации в Грузию и Армению. В то время мы не знали подробностей его ареста, но были увере-

ны: как агент он провален. Больше его использовать на работе в Грузии было нельзя. Насколько мне известно, он и в Грузию попал случайно — среди бакинских товарищей искали грузина, который мог бы выполнить поручение регистра. Пришел к начальнику регистра Пунке Берия от какого-то азербайджанского товарища. Тот писал в записке, что можно воспользоваться его услугами, якобы он имел отношение к сотрудникам Бакинской коммуны. Имена бакинских комиссаров в то время были священны, вот его и взяли. Но Пунке дал ему не очень-то сложное и важное задание, а вполне простое. Возможно, собирался заодно и проверить. Я помню одну полученную шифровку из Тифлиса, в которой шла речь об аресте Берии. Пунке тогда сказал: «Ну и болтуна нам подсунули!»



После той злополучной поездки в Грузию попасть на службу в разведотдел он не мог, путь туда ему был закрыт. Но Лаврентий находит выход — является к своему доброжелателю в ЦК АКП и получает должность в управлении делами, становится хозяйственником. Там бы он и прозябал, но вот создается комиссия по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих — вновь лакомый кусочек! — и Лаврентий просится на новый участок работы.

Вообще-то к дележке имущества у него была патологическая слабость. И в отделе Бакинского Совета, при комиссарах, он занимался подобной дележкой, и после, когда был наркомом при Сталине, добился правительственного решения, по которому имущество и ценности репрессированных «врагов народа» делились между сотрудниками НКВД. Проще говоря, присваивались.



Помню, как вернулась после ссылки и тюрем реабилитации двоюродная сестра отца Роза Львовна Глушанова — жена бывшего начальника одного из управлений ГПУ Азербайджана Арсена Давидовича Глушанова, спорившего и перечившего Берии и Багирову и расплатившегося за это своей жизнью, — и по списку, сохранившемуся в НКВД,

искала свои вещи, мебель. Все это оказалось в квартирах бывших сотрудников НКВД, которые после ареста урывали себе чужое.

Какие ценности получила семья Берии и его приближенные, один Бог знает!



Из рассказа Митрофана Ионовича Кучавы — члена Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, созданного для рассмотрения дела Берии (записано В.Некрасовым).

«При НКВД был открыт спецмагазин для реализации конфискованных при аресте у «врагов народа» вещей, которые приобретали за бесценок сами работники внутренних органов. Был даже такой случай, когда заместители министра и их жены дрались между собой за право покупки вещей. Фельдъегеря Монтяна расстреляли для того, чтобы завладеть его хорошей охотничьей собакой и ружьем. Деканозов и Мороз, будучи в нетрезвом состоянии, избili рабочего. Он начал жаловаться. Тогда его арестовали и расстреляли решением тройки. Гражданин Слишков случайно стал свидетелем одной спецоперации, проведенной Меркуловым. Слишков был расстрелян, на вопрос суда Меркулов ответил: «Жалею, что невинный человек погиб по моей вине».

Деканозов, Меркулов, Мороз — чекисты, подручные Берии. Им он поручал самые деликатные задания.



Вернемся к послужному списку Лаврентия Павловича.

Удачно проведя очередную экспроприацию, он вновь остается без дела. В очередной раз пускает в ход свой излюбленный конек — высшее образование — и просит направить его на учебу. Образование — козырная карта этого игрока, который знает: грамотный человек среди тех, кто пришел к власти, особенно на губернском уровне, весьма ценен. С ним считаются, ему прощают ошибки молодости, которые он подчеркивает постоянно при своих провалах.

Но, разумеется, у него есть и поддержка в лице Георгия Стуруа, которому нравится бойкий и исполнительный зем-

ляк. Есть поддержка и другая — Мирджафара Багирова. И тот поможет ему устроиться на работу в АзЧК, причем на хорошую должность. Так рука об руку, в одной связке, они и пройдут вместе, вписавшись в новую жизнь, и придут к высоким постам, которые позволят им вершить людскими судьбами, выносить приговоры, основываясь на высших законах революции и победившего пролетариата.

В апреле 1921 года с помощью Джафара (Мирджафара) Багирова Берия придет на работу в карательный орган революции и станет властвовать над другими. Власть, как и богатство, портит людей.



Из протокола допроса Ш.Г.Теврадзе, бывшего оперативного работника НКВД и МВД Грузии:

«В 1933 году, будучи оперативным уполномоченным дорожно-транспортного отдела ОГПУ Закавказья, мне пришлось вести следствие по делу бывшего начальника ОБХС ОДТО на станции Баку Зильбермана Александра Васильевича и других сотрудников ОБХС, которые обвинялись в должностных преступлениях и расхищении социалистической собственности. Хорошо помню, что Зильберман неоднократно говорил мне тогда, что он хорошо знаком лично с Берией Л.П., вместе с ним проживал на одной улице в г. Баку, как мне помнится, на Биржевой улице, и что они дружили. Мать Берии Марта занималась шитьем одежды. Однажды Зильберман сказал, что вот Берия Л.П. теперь секретарь ЦК, большой человек, а раньше был очень бедный и даже был тогда почтальоном в г. Баку. Когда Берия стал работать почтальоном, он стал жить лучше, и даже его мать перестала заниматься шитьем...»



В тридцатые годы азербайджанский историк А.Алиев, роаясь в архивах Бакинского педагогического института имени В.И.Ленина, неожиданно найдет документы контрразведки партии мусаватов, отчеты Берии и его расписки. Блестящий и растерянный, он забудет о своей диссертационной работе и поспешит домой, испугавшись своего открытия.

Ночью обо всем расскажет жене. В тот год имя «железного» наркома, воцарившегося в Москве, уже приводило всех в трепет. «Никому об этом не говори», — шепотом советовала жена. «Скажу только Мирджафару», — ответил муж, уже попросившийся к нему на прием.

Он ушел утром в ЦК АКП. Там его ждали.

Мирджафар Багиров, не зная, о чем пойдет речь, встретил его приветливо:

— Какими судьбами? Что случилось?

Историк рассказал все, что узнал.

— Ты кому-нибудь говорил об этом? — доверительно поинтересовался секретарь ЦК партии. — Нет? Молодец! И не говори, пока я не разберусь!

Алиев ушел радостный. Ему казалось, что гора снята с плеч, теперь он может чувствовать себя спокойным.

Ночью за ним приехали чекисты и отвезли на улицу Шаумяна, где находились их подвалы. Больше про Алиева никто ничего не слышал — пропал человек, как в воду канул.



Провокаторы внимательно и настойчиво выискивали те документы, которые могли их разоблачить.

Приспешники Берии тщательно просеивали бакинские архивы, как песчинки золота, собирали нужные им страницы. Многие архивные документы в течение долгих лет почему-то хранились у Берии, а потом у его сподвижника Всеволода Николаевича Меркулова.



Из допроса Л.П.Берии 16 июля 1953 года.

«Вопрос: Почему архивные документы, принадлежащие ЦК КП(б) Азербайджана, находились в вашем личном распоряжении, кто их изъял?

Ответ: Я просил изъять, но кто их изымал из архива ЦК КП(б) Азербайджана, не могу сказать, так как не помню. То, что я хранил эти документы лично у себя, это я поступил неправильно, изъятих, потому что боялся, как бы их не уничтожили бывшие руководители ЦК КП(б) Азербайджана,

которые впоследствии были разоблачены как враги народа. Они вели против меня травлю в бытность мою секретарем Закрайкома.

Вопрос: Вам представляется обложка из этого вашего архива, хранившегося у вас, на котором učinена следующая запись: «Личный архив № 2 товарища Берии (дела по Баку). Вскрывать только по личному распоряжению товарища Берии». Кто učinил эту запись и чья эта подпись?

Ответ: Эта запись učinена Меркуловым, и это его же подпись. Меркулов работал замнаркома внутренних дел. Оформлял он эти документы потому, что я доверял ему, кроме того, Меркулов в 1938 году помогал мне в составлении объяснения в ЦК ВКП(б) на имя Сталина по вопросу о моей службе в контрразведке».



Сам Меркулов это дело объяснял так.

В один из дней 1932 года его вызвал к себе Лаврентий Павлович и поручил выехать в Баку для того, чтобы разыскать в архивах его личные документы. При этом Берия сказал: «Хлопочу потому, что враги могут их прибрать к рукам и уничтожить, а они, сам понимаешь, важны мне тем, что могут избавить от различного рода обвинений».

Следователь спросил у Меркулова, почему же был избран такой ненормальный способ получения документов, на что подследственный ответил: «Берия был тогда секретарем Закрайкома, я его помощником. В ЦК КП(б) Азербайджана был тогда Багиров, который меня лично знал. Я обратился к нему с просьбой помочь в розыске документов, что он и сделал. Писать официальный запрос о розыске этих документов Берия, по-видимому, опасался, так как это могло привлечь внимание его врагов».



Охота за документами велась напряженная. Видимо, все, что имело отношение к провокаторской деятельности Берии, было уничтожено им самым и его подручными. В семидесятые годы я предпринял поиски документов в бакинских архивах, которые могли иметь косвенное отношение к «желез-

ному» наркому, но, кроме двух или трех листов, ничего найти не удалось. Внимательно ознакомившись с описью дел, переговорив с бывшими сотрудниками архивов, я пришел к выводу: все уже изъято. Мои собеседники были убеждены, что изъятие проводилось в тридцатые годы, потому что о выемке документов в 1953 году, когда шло следствие над преступником, они не слышали.

— Провокаторы уничтожают документы, — утверждала Морозова, — они боятся их больше пуль. Поверь мне, я через все это прошла, видела этих тварей...



Бакинские архивы, где имелись какие-то упоминания о Берии, находились под неусыпным надзором его друга молодости Мирджафара Багирова. Тот тоже знал свое дело. Храня документы, изобличающие Берию, он имел полную гарантию своей неприкосновенности. Когда бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана судили в Баку, то задали вопрос, касавшийся архивных документов «железного» наркома. Багиров не отрицал, что такие он бережно хранил у себя.



На суде в Баку Мирджафар Аббасович Багиров, говоря о Берии, показывал:

«В 1919 году я оказал ему большую услугу, освободив из-под ареста и устроив на службу в АзЧК. Потом он постепенно догонял меня по должности, но уже в Грузии, и помог мне однажды выпутаться из тяжелой истории. Мы не раз выручали друг друга. Лаврентий Павлович не забывал меня и в Москве, когда уже поднялся на самый верх...»

Вопрос: Что вам известно о преступном прошлом Берии?

Ответ: У меня были копии документов о его службе в мусаватистской разведке.

Вопрос: А у него — подлинные документы о вашей контрреволюционной деятельности?

На этот вопрос Багиров не ответил.

Вопрос: Где вы хранили эти документы? Ведь Берия мог их похитить...

Ответ: У меня были и другие экземпляры, спрятанные в надежных местах.



Багиров был преданным Берии, и тот ему действительно помогал. Вместе поднимались по партийной лестнице. Багиров отмечался многими правительственными наградами. В 1937 году он стал депутатом Верховного Совета СССР, в 1939-м — членом ЦК партии. После смерти Сталина Берия выдвинул его в Президиум ЦК.

В своей республике Багиров был маленьким диктатором. Правда, вспоминала Морозова, черты его характера совершенно отличались от характера Лавруши — если Берия был льстецом и подхалимом, по сути своей, провокатором, то Мирджафар при всей его жестокости обладал более выигрышными качествами, за что снискал уважение в народе: требователен, иной раз справедлив, как говорят на Востоке — был настоящий мужчина. Его настолько боялись в народе, что когда судили в здании клуба КГБ им. Дзержинского на пересечении улиц Шаумяна и лейтенанта Шмидта в Баку, то произошла знаменательная сценка: члены суда и генеральный прокурор СССР А.Руденко вошли в зал, председатель сказал всем присутствующим: «Садитесь!» — но никто не сел. Тогда Багиров на скамье подсудимых махнул рукой, и люди сели.

На процессе он вел себя мужественно, в отличие от Берии и тех, кого судили вместе с ним, не юлил, не просил пощады, не выкручивался, не отрицал факты. «За то, что мы сделали, нас надо четвертовать», — сказал он. Признался: «С какими мерзавцами я работал... Кем я окружил себя!» Ему стыдно было видеть, как его бывшие подчиненные всю вину террора и беззакония в Азербайджане валили на него одного в то время, как он своей вины не умалял. «Я натворил много плохого, меня мало казнить, меня надо четвертовать!» — повторял он.

Организаторов террора в Азербайджане: Багирова, Борщевца, Григоряна, Маркаряна — приговорили к расстрелу. Атакишиева и Емельянова — к 25 годам заключения.



Отсидев срок, вышел из тюрьмы Атакишиев, но вскоре умер. Все эти годы бедно и незаметно жила его семья. Их уплотнили. Я не раз бывал в том старинном доме на Коммунистической улице. До революции там обитали нефтепромышленники, квартиры были великолепно отделаны — дубовый паркет, лепнина, красное дерево, большие своды. После революции в одной из них жил один из лидеров азербайджанской республики Дадаш Буниат-заде. В 1937 году его расстреляли, семью выставили, и его квартиру занял Атакишиев, друг Берии. Квартира не принесла счастья ни одному своему жильцу.

«Не бери чужого», — говорила Изабелла Георгиевна.

Мои знакомые, случайно попавшие в нее, когда уплотнили семью Атакишиева, мечтали оттуда переехать.



Трудно себе представить, что было бы, если бы документы Лаврентия Берии попали не в руки Багирова.

«Не тешь себя мыслью, что все сложилось бы иначе. Нашли бы другого палача. Может быть, менее кровавого и менее подлого, но обязательно нашли бы. Была ведь такая вакансия в существовавшем режиме: «Требуется палач». На эту роль хорошо подошел провокатор».

Эти слова принадлежат Изабелле Георгиевне Морозовой.



Из анкеты, составленной комиссией ЦК Компартии Грузии в двадцатые годы по Берии. Ее опубликовал доктор исторических наук, профессор В.Ф.Некрасов, одним из первых ознакомившийся с личным делом Лаврентия, которое долго хранилось под грифом «секретно».

Вопрос: Замечались ли колебания в критические минуты для организации и в чем они выражались?

Ответ: Замечались. В тюрьме не подчинялся постановлениям парторганизации и проявил трусость. Как пример: не принимал участия в голодовке коммунистов.

(А Лаврентий Павлович утверждал, что голодал и тем самым боролся за свое освобождение! Оказалось, только он один брал из рук тюремщиков миску с похлебкой, чтобы «заморить

червячка», ссылаясь на слабость здоровья! Своего презрения к нему арестованные не скрывали — ни тогда, когда находились в заключении, ни после, когда вышли на свободу).

Вопрос: Имеет ли какой уклон к карьеризму, бюрократизму, склокам и группировкам?

Ответ: Замечались уклоны как к бюрократизму, так и к карьеризму. Но под руководством и внушением старших товарищей при его молодости эти недостатки могут быть изжиты.

(Какой наивный ответ людей, веривших в молодого, бойкого человека, не представлявших, что тем самым дают путевку в жизнь не просто проходимцу и негодяю. Все они, подписавшие анкету, будут уничтожены во время репрессий, творимых Берией в Грузии в тридцатые годы. Вспомнили ли они о своей снисходительности, проявленной при обсуждении «товарища» по партии?)

Вопрос: Имеет ли какой-либо уклон к национализму, левизне?

Ответ: Замечался уклон к левизне.

Вопрос: Пользуется ли популярностью у рабочих и крестьян?

Ответ: Как молодого работника рабочие и крестьяне его еще не знают.

Вопрос: Является ли теоретиком или практиком марксизма?

Ответ: Практик слабый.

Вопрос: Проявлял ли умение подбирать работников и руководить ими?

Ответ: Не особенно.

Вопрос: Есть ли возможность использовать на более ответственной работе?

Ответ: Нет.

Вопрос: Здоровье.

Ответ: Слабое.

Как видите, весьма скромная характеристика, не позволяющая думать молодому карьеристу о высоких постах. Но он к ним все же пробрался. Он стоял на трибуне Мавзолея, был вождем народа, хозяином миллионов судеб.



1 февраля 1922 года Берия собственноручно написал в другой анкете о своей мечте: «Что касается работы в ЧК, меня таковая поглощает, и желательным бы было для основательного изучения российских методов работы в органах ЧК командировать для работы в Центральную ВЧК».

Кто ищет, тот всегда найдет. Кто стремится к вершине, тот ее достигнет.

Достиг ее и Лаврентий Берия, пройдя по трупам и загубленным жизням.

В результате интриг и закулисной борьбы он станет первым секретарем Закавказского крайкома партии большевиков, в августе 1938 года — первым заместителем «железнодорожного наркома» Николая Ежова, а через четыре месяца и наркомом внутренних дел СССР. С XVII съезда партии — член ЦК ВКП(б), после XVIII съезда — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С 1941 года и до 1953-го он будет и заместителем Председателя Совнаркома (Совета Министров) СССР, во время войны — заместителем председателя Государственного Комитета Обороны. В 1941 году ему присвоят звание генерального комиссара госбезопасности, после войны — Маршала Советского Союза. В 1943 году он станет Героем Социалистического Труда. На груди его к 1949 году будут красоваться четыре ордена Ленина, два ордена Красного Знамени и орден Суворова I степени, которым он был отмечен за «выполнение специального задания правительства». Специальное задание — это выселение целых народов Северного Кавказа и Крыма...

Да, он шел к вершинам власти, используя любые методы.



Возможно, он и остался бы на этой вершине, и стал бы первым лицом государства после смерти Сталина, но тут случилась осечка, которой карьерист и интриган никак не ожидал. Он потерял чутье, упиваясь силой — своей и своих приспешников. Он не понял, что и страх толкает людей на героические поступки, не догадался, что оставшиеся после смерти Сталина высокие люди так же, как и простые смертные, будут искать от него защиты.

Кремлевская перегруппировка сил шла медленно и с виду незаметно. К своему несчастью, Берия ее проспал, его подвела самоуверенность.



Лаврентий Павлович был мастером не только больших провокаций, но и малых.

Партийный работник Цатуров рассказывал, как действовал Берия.

Однажды он пригласил в гости Цатурова и за ужином объявил, что есть решение о его назначении на руководящую работу в Армению.

— Только надо убрать Ханджяна, — сказал он. — Кого я посылаю с этой целью, все проваливаются. Надо суметь подойти к Ханджяну.

— Может, его просто снять? — спросил Цатуров.

— Для того, чтобы снять, нужны основания, вот ты эти основания и поищи. Настрой против него людей. Пусти какой-нибудь слухок — поверь, это всегда помогает. Ты справишься...

Ханджян был авторитетным руководителем, в угодники к Берии не шел, во многих вопросах ему противился.

Свою миссию Цатуров и Акопов, выехавший вместе с ним в Армению, не выполнили. Однажды Цатуров зашел к Берии и увидел там Ханджяна. При нем Берия стал ругать Цатурова:

— Почему дерешься с Ханджяном? Он больной человек, его надо беречь, а ты там драки устраиваешь...

«Такого хамелеона я в жизни не встречал», — вспоминал Цатуров.



Когда Берия стал всемогущим в Закавказье, он мог себе позволить многое. Он застрелил Агаси Ханджяна в собственном кабинете, а потом представил дело как самоубийство партийного работника. Тело Ханджяна завернули в ковер и перенесли из здания в номер гостиницы, где он остановился.

Кровельщик, работавший на крыше соседнего дома, смотрел в окно кабинета Берии...



Берия умел создавать «антураж происшествия». Нашли записку, которую Агаси Ханджян якобы оставил жене перед смертью: «Я запутался в своих связях с врагами партии. Жить так больше не могу. Не вини меня. Прощай».

Потом выяснили: записка была фальшивой.

Спустя годы в Ереван прибыла комиссия, чтобы эксгумировать останки и сделать то, что должны были сделать судмедэксперты до похорон. Установили: пуля пробила левый висок, а Ханджян не был левшой. Это и подтвердили показания бывшего кровельщика.



В те времена дела обстрипывали умело.

В библиотеке я поднял старую подшивку некогда популярной газеты Закавказья «Заря Востока» и в номере от 11 июля 1936 года прочитал извещение Закавказского краевого комитета ВКП(б).

«Закрайком ВКП(б) извещает о смерти секретаря ЦК КП(б) Армении тов. Ханджяна, последовавшей 9 июля 1936 года в результате акта самоубийства. Рассматривая акт самоубийства как проявление малодушия, недопустимого особенно для руководителя парторганизации, ЗКК ВКП(б) считает необходимым известить членов партии о том, что тов. Ханджян в своей работе за последнее время допустил ряд политических ошибок, выразившихся в недостаточной бдительности в деле разоблачения националистических и контрреволюционных троцкистских элементов. Осознав эти ошибки, тов. Ханджян не нашел в себе мужества по-большевистски исправить их на деле и пошел на самоубийство.

Общее состояние тов.Ханджяна усугублялось также его длительной болезнью — тяжелой формой туберкулеза».

Это дело — раннее начало большого террора. Лаврентий Берия и ему подобные делали первые шаги, запускали маховик репрессий, которые год спустя затопили всю страну кровью.



Морозова была права: производя впечатление рубахи-парня, приветливого, компанейского, отзывчивого, Берия

стал отменным провокатором, непревзойденным мастером интриг. Он мог пустить слух, посорить друзей, мог изложить начальству все в нужном для него свете. Многие попадались на этот крючок.

В 1922–1926 годах начальником Берии был председатель ЧК, а затем и ГПУ Грузии Епифан Кванталиани, член партии с 1906 года, активный участник революционной борьбы, сидевший в царских тюрьмах и ссылках. Берия всячески обхаживал его, стремился подружить жен и даже уговаривал поселиться совместно — в те годы были модны «семейные коммуны».

Рассказывали, что добрый по натуре Кванталиани поддерживал молодого чекиста, демонстрирующего трудовое рвение.

С подачи своего подчиненного будет смещен Епифан Кванталиани, как только Лавруша — так его звали сослуживцы — расправит свои крылышки. В дальнейшем Кванталиани испытает всю тяжесть террора, который будет проводить его протее.

Делая карьеру, Берия настойчиво устанавливал связи с руководящими работниками, под разными предлогами бывал у них дома, создавая впечатление надежного, порядочного и услужливого молодого человека.

Особую ставку он сделал на Серго Орджоникидзе, хотя и горячего по натуре человека, но доверчивого и искреннего. Берия умело обворожил Серго, да и не только его, но и брата — Папулию Орджоникидзе. Когда не будет Серго и не нужно будет внимание семьи Орджоникидзе, Берия расправится с Папулией.

Однажды Изабелла Георгиевна протянула мне список сотрудников ЧК-ГПУ, работавших вместе с Берией. Составила она его по памяти.

— Вот, ознакомься. Все, кого я подчеркнула, были репрессированы. А вот эти остались жить и здравствовать. Они дружили и «творили» вместе с Лаврентием.

В друзьях Лаврентия значились: братья Кобуловы, Деканозов, Шария, Гоглидзе, Савицкий, Рапава, Парамонов, Меркулов, Серебряков, Цанава, Пачулия... Это была его команда, команда палачей.

Фамилии, которые подчеркнула Изабелла Георгиевна, принадлежали людям сосланным, посаженным, расстрелянным, замученным. Их гораздо больше.

— А ведь Лаврентий работал с ними, знал, что никакие они не враги, а честные люди. Но уничтожал их, потому что они стояли на его пути, мешали, ибо были несогласны с его методами...

В свое время Берия устранил Павлуновского — председателя Закавказского ГПУ. Плел интриги, распускал слухи, рассчитывая занять его место. И победил.

Так же он свалил и Станислава Реденса, который возглавлял ГПУ Закавказья: почувствовал слабость Реденса, мягкость его характера, то, что тот поддавался внушению, стал навязывать свою волю. Обхаживал его и делал вид, что является его другом.

Игра против Реденса была опасной, тот был женат на Анне, сестре Надежды Аллилуевой, и был свояком Сталина. Ошибка в этой интриге могла обойтись Берии дорого, но Лаврентий Павлович не мог удержаться — такова была его натура. И, дождавшись удобного случая, он подставил друга.

Рассказывают, что однажды он допьяна напоил Реденса у себя дома, а потом отправил без сопровождающего. Тот ошибся, забрел к чужим, поднялся шум, возмущенные люди вызвали милицию. В участке разобрались, но имя Реденса пошло гулять по Тифлису.

Берия сам позвонил в Москву. Нет, не доложить, а посоветоваться, как быть, ведь провинившийся не только чекист, но и родственник Кобы, а ведь в Грузии такие вещи воспринимаются плохо.

Сталин рассмеялся, узнав о проделке Лаврентия Павловича:

— Ну и молодец — ловко его обработал!

Реденса перевели полпредом ОГПУ в Белорусскую ССР.

Вполне возможно, что Сталин его и не уважал. В год террора он отдаст своего родственника на растерзание, хорошо зная, что тот никогда не был врагом и всегда неукоснительно шел курсом партии. Камень, брошенный Берией в Реденса в Тифлисе, свалил того наповал.

Все, кто в свое время отказался работать с Берией в ГРУ Грузии, будут уничтожены в конце тридцатых годов. У него была очень хорошая память, и имена людей, не воспринимавших его и не нравившихся ему, он помнил всегда. Лишь один из них уцелеет — Август Эглит. Все чекисты добериевского периода уедут из Закавказья, останется один Эглит. Более того, станет министром внутренних дел Латвийской ССР и переживет своего всеильного шефа. Почему Берия был так благосклонен к нему — ответа мы не узнаем.

Возможно, что и таким людям, как Берия, свойственны маленькие слабости.



Как карьерист Берия с почтением относился к начальству. Во внутрипартийной борьбе услужливал всем советским вождям. Перед Троцким снимал шляпу, ни не забывал строчить на него «объективку» соперникам Льва Давидовича в партии.

В Центральном архиве ФСБ России находится телеграмма зампреда ЧК Грузии Л.Берии, отправленная в Москву 23 января 1924 года после разговора с Троцким, с пометкой: «Для тов. Ягоды для срочной передачи тов. Сталину и Орджоникидзе».

«23 января посетили тов. Троцкого и сообщили ему наше мнение о том, что ему в какой бы то ни было форме необходимо высказаться в связи со смертью Ильича. Болезнь не дала возможность ему выступить на открытом собрании. Написал статью, которую мы передали по радио. В беседе с нами т.Троцкий, между прочим, сказал следующее: он не верит в возможность какого бы то ни было раскола в нашей партии. Политический уровень нашей партии даже молодой ее части высок. Во всяком случае, если что-либо и было возможно, это не будет с его стороны. Последние слова он повторил 4 раза. В общем, он не мыслит раскола партии. По его мнению, предстоящий партийный съезд разрешит все насущные вопросы нашего хозяйства и практические вопросы смычки с крестьянством... Тов. Троцкий считает, что его последняя брошюра подверглась незаслуженным нападкам, ему приписывается то, о чем, по существу, он не писал. Смерть Ильича сильно подействовала

на него. Он считает, что в данный момент особенно необходима сплоченность... Чувствует себя тов. Троцкий неважно...»



Но у Лаврентия Павловича бывали и трудные времена. Особенно в первые годы установления советской власти в Азербайджане.

В 1921 году Баку посетил ветеран партии, член коллегии ВЧК Михаил Сергеевич Кедров. Вот что позже рассказал его старший сын:

«...В 1921 году отец в качестве полномочного представителя ВЧК находился в Баку; я был с ним. Мне известно, что отец проводил обследование АзЧК и сообщил о результатах Дзержинскому в Москву. У отца была особая тетрадь, где такого рода донесения писались под копирку. В одном из них отец сообщал о том, что такие-то дела, которые вел Берия (тогда Берия был зам.пред. АзЧК), вызвали у него сомнения политического характера; в связи с этим отец делал вывод о том, что Берия не соответствует занимаемому посту и не может быть на руководящей работе в органах ВЧК. Это письмо было отослано Дзержинскому, кажется, осенью или зимой 1921 года. Копия хранилась у отца до момента его ареста вместе с другими документами, содержащимися в этой тетради. Накануне ареста отца я был у него дома, и отец мне сказал, что эту «тетрадку» он спрятал в надежном месте, но где — он этого не сказал...»

В день ареста отца, 16 апреля 1939 г., я был у него дома, и он мне показал текст письма, а затем спрятал его в стол. В момент ареста агенты НКВД бросились сразу обшаривать столы, спрашивая, где письмо к Сталину. Найдя его, они приступили к систематическому обыску».

На одном из судебных заседаний 21 декабря 1953 года судьи намеревались получить объяснение по этому вопросу.

«Да, — ответил Берия, — такая поездка была, но никакой ревизии Азербайджанской ЧК Кедров не проводил и задания от Дзержинского не имел. Он приезжал по личным вопросам, а не по делам ЧК».

Иначе объяснил этот эпизод Багиров: «Кедров приезжал в Баку и проводил проверку работы ЧК по заданию Дзержинского».

Что же обнаружил Кедров, ревизуя АзЧК?

Практику освобождения явных врагов советской власти, прекращение дел террористов, бандитов, осуждение невиновных. Все это творилось при непосредственном участии Лаврентия Берии.

Встряску 1921 года в АзЧК пришлось пережить некоторым моим собеседникам. По их рассказам можно представить события того периода.

Мирджафар Багиров защитил своего друга, не дав его в обиду. Он же хорошо характеризовал его, беседуя с Кировым:

— Вы же слышали о нем, Сергей Миронович. Он был нашим разведчиком в Грузии, — убежденно говорил Багиров.

Последний довод оказался достаточным. Киров потребовал от председателя АзЧК навести в «хозяйстве» порядок. Позже Багиров и Берия навели его, выверяя по генеральному курсу партии, — в Закавказье оказались десятки тысяч пострадавших от беззакония.

Как утверждала Морозова, Багиров, как и многие, напирал на молодость Лаврентия, объясняя недочеты в работе отсутствием опыта и навыков у своего заместителя. Поддержал Багирова и бывший председатель АзЧК Баба Алиев, который у руководителей республики пользовался уважением.

Так что особых хлопот у Лаврентия после ревизии Кедрова не было. Он выжил, более того, когда стал «железным» наркомом, то припомнил семье Кедровых встречу в 1921 году, расправился с сыном Кедрова, который работал в Главном управлении госбезопасности: сотрудников этого управления Игоря Кедрова и Владимира Голубева расстреляли в феврале 1939 года. Старый революционер Михаил Кедров тогда обратился к Сталину, которого знал. Читал ли Сталин его письмо или это письмо перехватили люди Берии, но факт остается фактом: Кедрова-старшего арестовали и отдали под суд, сфальсифицировав обвинение. Но суд его оправдал. В истории террора это оказался единственный случай, когда обвиняемого во всех смертных грехах против советской власти оправдали.

Несмотря на оправдательный приговор, Берия дал команду расстрелять Кедрова. В сентябре 1941 года, когда немецкая армия подошла к Москве, из столицы в Саратов был от-

правлен спецвагон с двадцатью двумя арестованными. Берия самолично вписал фамилию Кедрова в отпечатанный список, не удосужившись дать его в машбюро. В Саратове, в местной тюрьме, и был расстрелян человек, бывший в 1921 году ревизором АзЧК. Вот как долго таил злобу Берия и как умело расправлялся со своими противниками. Пощады он не знал.



Оказался «забытым» арест Берии, произведенный азербайджанскими чекистами в 1920 году.

Бывший начальник отдела прокуратуры Азербайджанской ССР Н.Ф.Сафронов рассказал интересную историю. В 1929 году его вызвал к себе Берия и сообщил, что он направляется в длительную командировку в Баку.

— Надо помочь бакинцам, — пояснил Лаврентий Павлович. — Там освободилась должность начальника учетно-статистического отдела в ГПУ. Работу вы знаете, и я уверен, что справитесь.

Прибыв в Баку, Сафронов рьяно взялся за свои обязанности. В архиве был полный беспорядок, дела запущены.

Однажды, спустившись в хранилище, которое занимало нижний этаж здания, Сафронов услышал смех своих помощников. «В чем дело?» — спросил он. «Смотрите, что я нашел, — сказал молодой сотрудник и протянул дело, на обложке которого было выведено: «По обвинению Берии Лаврентия Павловича». — Выходит, и председатель ГПУ Грузии был у нас под арестом!» — «Я бы вам посоветовал меньше болтать!» — сказал Сафронов, озадаченный находкой. Взяв папку, а также алфавитную карточку, он прошел в свой кабинет и закрылся.

Перед ним было несколько документов: первый — анкета при аресте, заполненная рукой Берии, и второй — письмо из ЦК АКП. В письме, адресованном председателю АзЧК, говорилось о неправильном аресте Берии и сообщалось в его оправдание, что в свое время он оказывал содействие отдельным членам партии.

— Других документов в деле не оказалось, — вспоминал Сафронов, — и было непонятно, сколько он находился под стражей, когда и кем освобожден.

В этот момент в кабинет постучал дежурный: «Вас вызывает товарищ Фриновский!»

Сафронов направился к Фриновскому, председателю ГПУ Азербайджана, а до этого — командиру дивизии особого назначения имени Сталина, которая подавляла в некоторых районах Азербайджана мятежи против советской власти. Молча положил Фриновскому на стол тощую папку и карточку из картотеки учетно-статистического отдела.

Фриновский, посмотрев на документы, усмехнулся:

— Какая-то нелепица! Я передам это Лаврентию Павловичу лично для отправки в Музей революции!

В январе 1950 года Сафронов, встретившись с Берией, неожиданно вспомнил смешной эпизод своей далекой молодости и поинтересовался у Лаврентия Павловича, передал ли ему Фриновский обнаруженное в архиве дело. Берия, смутившись, покраснел, губы его задергались.

— Да это был не арест, — пробормотал он, — а задержание. Через несколько часов меня освободили, посчитав все нелепостью.

— Я так и думал, — сказал Сафронов.

— Кстати, есть ли в Азербайджане что-нибудь еще в этой части? — спросил Берия. — Вы должны знать...

Чувствовалось, что он тревожится.

— Ваша фамилия, возможно, фигурирует в журнале регистрации дел.

— Возможно, — согласился Берия, делая вид, что не придает значения этому факту. Он уже пришел в себя и старался выглядеть уверенным. Минута замешательства прошла. — Страшного в этом ничего нет, — словно успокаивая себя, сказал он. — О случившемся знает узкий круг руководящих работников партии.

В 1950 году Берия был сильной личностью и мог позволить себе вспомнить былое. Он знал, что документы о его прошлом уничтожены, да и не только документы — уничтожены и свидетели, которые могли что-то прояснить.

Кто мог вспомнить о его аресте в Баку? Наверное, только Багиров. Баба Алиев был давно мертв. Был расстрелян Антон Габернкорн как враг народа, участвовавший в создании

АзЧК под руководством Атарбекова. Не было в живых и Атарбекова. Да и самого Фриновского, подавлявшего мятежи против советской власти, уже не было. В 1938 году, когда Берия станет наркомом внутренних дел, Фриновского, к тому времени наркома Военно-Морского флота, уничтожат как врага народа.

Следователи, пытавшиеся воссоздать далекий эпизод, не имели уже никаких фактов, кроме показаний самого Берии. А тот объяснял случившееся так: «Я был задержан в середине 1920 года у себя дома сотрудником ЧК Азербайджана. При задержании у меня был произведен обыск, и я был из дома доставлен ночью в ЧК. Просидев в ЧК примерно до 11–12 часов дня, был вызван в кабинет председателя ЧК Азербайджана Бабы Алиева, где присутствовал и его заместитель Кавтарадзе. Мне Баба Алиев сказал, что произошло недоразумение, вы свободны, можете сесть в машину и ехать домой. Мне были возвращены мои бумаги, которые были изъяты во время обыска. Никто меня не допрашивал и ничего мне не говорили о причинах моего задержания».

Последовал еще ряд вопросов, разумеется, и такой: кто ходатайствовал о его освобождении?

Берия ответил: «Впоследствии мне стало известно, ходатайствовал Стуруа Георгий. Он тогда был секретарем ЦК Азербайджана, и ранее он меня знал, примерно с 1918 года по Баку и Тбилиси».



Берия не знал, что при разговоре Багирова со Стуруа присутствовал техсекретарь Володя Воробьев. Счастье последнего, что Лаврентий Павлович не знал об этом.

Багиров удивился аресту Берии и просил Стуруа помочь. — Парткомиссия разберется, в чем его вина. Зачем арест? Да, он сотрудничал с мусаватом, но ведь ничего плохого нам не сделал, хотел помочь, проникнув в их контрразведку. Понимаешь, он был революционным романтиком. А его в камеру... Странные вещи происходят, Георгий, мы арестовываем человека, который, может, и совершил ошибку, но совершенно случайно...

Багиров напирал на Стуруа, видно, уже заручившись поддержкой Бабы Алиева, а тот был дружен с председателем правительства республики Нариманом Наримановым.

— Да он свидетелей приведет, что хотел на нас работать. Стуруа не выдержал такого напора.

— Хорошо, — сказал он после долгого раздумья. — Если товарищи ручаются за него, Берию можно освободить. Только в ЧК должны разобраться...

В АзЧК Лаврентию помогли Мирджафар Багиров, зам. председателя, и чекист Кавтарадзе, который заступился за земляка.

Владимир Иванович Воробьев рассказывал мне:

— Об услышанном в кабинете Стуруа разговоре я никому не рассказал: видно, потому и остался в живых. Правда, работая позже с Хандадашем Буниат-заде, как-то в поезде разговорился с ним, кажется, в Сальянах, а Хандадаш мне сказал: «Не упоминай при мне этого паршивого имени!» Почему, объяснять не стал. А ведь Лаврентий в ту пору уже работал в Тифлисе и ходил в больших начальниках.

Пролить свет на этот и многие другие эпизоды далекой юности бывшего «железного» наркома могло следствие 1953 года, но судьи так спешили расправиться с Берией, что даже не уточнили многие факты его биографии. Подробности были ни к чему, фактов для обвинения хватило. Правда, попутно приписали Лаврентию Павловичу многие недоказанные действия, как, например, роль английского шпиона в Баку после падения коммуны, руководствуясь простой формулой: служил на контрразведку мусавата, а та сотрудничала с англичанами, значит шпион.

По свидетельствам Морозовой, Айдамирова и Сальникера, сотрудники контрразведки мусавата действительно сотрудничали с резидентами английской разведки в Баку — англичане в тот период вели активную борьбу с Бакинской коммуной. Когда коммуна пала, англичане спешно покинули город накануне прихода турецких войск — их был небольшой отряд, а турок десятки тысяч. Англичане и поспешили ретироваться.

В Баку действовали эмиссары английской разведки, собиравшие сведения и налаживавшие контакты с местными

людьми. Мы знаем, что у Лаврентия Павловича контакты с ними были...



Об аресте Берии в 1920 году Морозова рассказала так:

— К Антону Габернкорну пришли люди, обвинившие Берию в сотрудничестве с контрразведкой мусавата и присвоении имущества и ценностей во время работы в комиссии Бакинской коммуны. Запросили Саака Тер-Габриэляна, который был первым председателем чрезвычайной комиссии Совета бакинских комиссаров, и тот ответил, что Берия никакого отношения к его комиссии не имел, но сотрудники говорили о нечистоплотности Лаврентия в бытность его членом комиссии по экспроприации буржуазии. Со службой в контрразведке ситуация была понятна, а вот с экспроприацией — нет. Чекисты нашли свидетельницу, которая дала показания против Берии и привела факты. Антон Габернкорн вызвал к себе Мирджафара Багирова — своего подчиненного...

Свидетельницу, проживающую в Баку на улице Бондарной, через сутки нашли убитой. Второй свидетель, как оказалось, спешно покинул город. «Бежал, не вернется», — доложил Багиров.

Как о незначительных фактах среди других, более тяжелых для новой власти, доложил Габернкорн Георгию Атарбекову, приехавшему в Баку помочь АзЧК. Тот сказал: «Присмотрись к товарищу Берии. Опросите людей, установите истину». Добавил, что, возможно, это козни врагов, которые возводят всякую напраслину на сотрудников ЧК и тех, кто им помогает.

— Кем был в то время Берия? — поинтересовался я у Морозовой.

— Причислял себя к регистроду XI армии. Вообще-то с этим регистродом много сомнительного...

— Но как Берия туда попал?

— Как обычно, по протекции, — ответила Изабелла Георгиевна. — Член партии мог порекомендовать — людей не хватало...

— Не брат ли Лаврентия Павловича привел его в регистрод? Рассказывают о его брате Герасиме...

— С этим братом немало путаницы, — ответила Морозова. — Участие Герасима Берии в работе разведотдела XI армии такое же туманное, как и военная служба Лаврентия Павловича. Когда в 1953 году последнему предъявили дело — опись агента с личными сведениями и припиской секретного сотрудника информационного отделения регистрационного отдела армии Лаврентия Берии, то выяснилось, что карточка сотрудника разведотделения при реввоенсовете XI армии Герасима Берии, оказавшаяся в деле Лаврентия, заполнена рукой Лаврентия. Это установила экспертиза. Берия факт подлога не отрицал, но объяснить его никак не мог.

— Как вы думаете, почему он заполнил карточку за двоюродного брата?

— Полагаю, ради пайка. Хотел пристроить и своего брата к служебной кормушке.

Как все это объясняет сам Лаврентий Павлович Берия? Обратимся к материалам следствия 1953 года.

«Не помню сейчас точно, не могу объяснить. Берия Герасим Дмитриевич является моим двоюродным братом, и он мне в 1920 году помогал как сотрудник регистра XI армии... Почему заполнил от его имени анкету, как я уже сказал, не помню. Берия сейчас жив и работает в Грузии, где именно — я не знаю. До 1920 года я знал, что у меня есть двоюродный брат — Берия Герасим, но с ним не встречался, я имел только о нем положительные отзывы — не помню, от кого они исходили. Встретился я с ним впервые в Тбилиси в 1920 году, наверное, весной, и он мне немного помогал в сборе сведений, и я жил у него иногда на квартире, так как он в это время учился в Тифлисском училище. Вспоминаю, что этого брата двоюродного, о котором я все выше показал, звали Николай — Колей. Почему в анкете, заполненной мной, он именуется Герасимом, не могу объяснить...»

Брат действительно помогал Лаврентию. Именно у него тот остановился, приехав из Баку. Когда Лаврентий внезапно исчез, Герасим стал разыскивать его и обнаружил в тюрьме. Герасим хорошо помнил, что Берия значился под своей настоящей фамилией, а не под вымышленной — Лакербая, как требовала конспирация и было им же самим условлено. Герасим посетовал: тем самым Лаврентий по-

ставил под удар его и явочную квартиру, поскольку после этих признаний особый отряд меньшевиков провел у него на квартире обыск.

Но роль брата Берии в этой истории так и осталась неизученной.

Впрочем, следователи к регистроду возвратились. Они опровергали роль Берии в установлении связи с большевистским подпольем в Грузии. Бывший окружной резидент разведуправления Кавказского фронта Нечаев (меньше всего арестованный Берия ожидал увидеть его живым) утверждал, что «органы разведупра не рекомендовали своим работникам связываться с подпольными партийными организациями и уж во всяком случае такая связь не могла быть поручена таким второстепенным разведработникам, каким был сотрудник регистрода XI армии Л.П.Берия». Далее в показаниях Нечаева: «Связь с Закавказским краевым комитетом была поручена только мне как резиденту окружному регистрода Кавказского фронта. При моих встречах тогда с М.Цхакая, Назаретяном, Туманяном я не слышал от них, чтобы кто-либо из других разведработников был с ними связан, они знали, что я — представитель фронта».

Во время следствия Берию все время уличали во лжи. Показания Нечаева свидетельствовали, что Берия приписывает себе должность окружного резидента для того, чтобы как всегда придать себе значимость. Уличенный, он юлил и выкручивался, пока не признал, что особое задание, о котором он все время говорил, заключалось в одном: «Передать пакет нелегальному ЦК — Назаретяну как персональное поручение известного деятеля Анастаса Ивановича Микояна».

— И последнее весьма сомнительно, — утверждала Морозова, — потому что не мог такой работник, как Микоян, довериться неизвестному курьеру. Такой пакет Микоян непременно передал бы через Нечаева. Я думаю, что Микояна Берия приплел к своей истории для пущей убедительности, надеясь, что с ним встретится, что тот его защитит, потому что долгое время они дружили семьями и он видел в Микояне последнюю поддержку.

— Вы думаете, что Анастас Иванович мог спасти Берию?

— Нет, не думаю, — сказала Морозова. — Но Микоян по натуре был мягким и добрым человеком, и Берия, несомненно, на это рассчитывал.



Соломон Моисеевич Сальникер, шифровальщик особого отдела XI Красной Армии, о гражданской войне рассказывал мне много интересного, и не все записи и документы, что у меня сохранились, удалось опубликовать. У Сальникера была изумительная память. Уже в семидесятые годы он нашел и расшифровал несколько важных документов Кирова — об этом писали наши многие газеты. Часть оставшихся после отца документов мне передал сын Сальникера — инженер бакинской электросистемы.

Там есть примечательная запись раговора Кирова с Атарбековым, который состоялся при молодом шифровальщике. Атарбеков сказал о Берии: «Видимо, этот Лаврентий большой прохвост. О нем все говорят плохо. Обычно про людей говорят разное: и хорошее, и плохое — кто с какой колокольни судит. А про этого, Сергей, только плохое». Киров ответил: «Ничего, приглядимся. Если что не так, на свое место поставим». «Не люблю подхалимов и карьеристов, — заметил Атарбеков. — Это самое худшее, что может быть в человеке. Такие способны на самые гнусные поступки».

Выходит, революционер не ошибался.

Не ошибалась и Морозова. И она не уважала Берию и удивлялась, как он мог сделать такую головокружительную карьеру, когда рядом были другие люди, достойные и порядочные. Смеясь, она вспоминала фразу, как-то сказанную о Лаврентии Кировым: «Не был бы говном, не всплыл бы».

Он всплыл в очередной раз, когда Сталину понадобился новый «железный» нарком.

По убеждению Морозовой, Сталин еще в двадцатые годы искал сильную личность которая возглавит репрессивный аппарат. Вначале он рассчитывал на Георгия Атарбекова, который везде, куда его посылала партия, был карающим мечом революции. Сталин знал, что у Ф.Э.Дзержинского с Атарбековым натянутые отношения. Но Атарбеков от этой должности отказался и ушел из ВЧК по болезни. Потом Ста-

лин стал прочить на должность «железного» наркома Нестора Лакобу — абхазского большевика, пользовавшегося на Кавказе большим авторитетом. Нестор не захотел, несколько раз отказывал Сталину. Тогда тот от него отвернулся.

Какова судьба Атарбекова, я уже рассказал. Председателя ЦИК Абхазской АССР, члена ЦИК СССР Н.А.Лакобу отравили.

Так Берия расчищал себе путь к креслу наркома. Позже он не только расправился с женой Лакобы, которую хорошо знал, но и с сыном, — тому шел всего четырнадцатый год. Он написал письмо дяде Лаврентию по совету заключенных, рассчитывая на оправдание: ведь дядя Лаврентий знал отца, бывал в их доме и говорил, что любит семью Лакобы — гостеприимную и дружескую.

Лаврентий Павлович письмо получил, это известно точно. Известно и то, что он удивился, беря в руки конверт: «Как, этот гаденыш еще жив?»

То был приговор. Лакобу-младшего расстреляли.



Поступок или слово, которые, как отмечал Плутарх, проявляют характер человека.



Почему Берия оставил в живых Морозову, ограничившись лишь сроком в лагерях?

На мой вопрос об этом Морозова ответить не могла. Бывает такое: можешь объяснить любые причины, а вот на одну, личную, верного объяснения не найдешь.

— Думаю, что некое расположение его завоевала в двадцать первом году, работая в комиссии по борьбе с проституцией — была такая в ЧК. Однажды в Баку на Малой Морской улице, в бывшем притоне, накрыла целую компанию видных наших сановников с проститутками. Был там Лаврентий и две личности, которые входили в правительство республики. По всем правилам полагалось доставить их в АзЧК и завести дело. Я отправила их домой. Мне было стыдно видеть наших руководителей в бардаке. Лаврентий про-

сил меня тогда: «Умоляю, Изабелла, не говори никому ни слова!» Потом Багиров мне сказал: «Хорошо, что ты этих бабников не привела. Скандал был бы большой. Лаврентий нервничает, но я с ним уже поговорил, подобное больше не повторится». Позже я узнала, что Мирджафар убедил Берия: «Морозова — человек надежный, не то что ты, не разболтает». О том случае я больше поминала...

Возможно, это и был случай, который помог, при всех невзгодах судьбы, дожить Изабелле Георгиевне до глубокой старости.

Берия вел в Азербайджане слежку за партийными работниками. Из-за этого в мае 1922 года появилась на свет директива ЦК АКП в адрес органов ЧК и лично Берии о недопустимости ведения агентурной слежки за партийными работниками, вмешательства во внутреннюю жизнь парторганизаций.

Багиров тогда не поддержал друга.

— Тебе мало контрреволюционеров? — спросил он у Лаврентия. — Для чего наживаешь себе врагов, тем более в ЦК?

— Ты же знаешь, Джафар, что и туда могли проникнуть враги?

— Знаю. Но не поступай так, чтобы и тебя начали проверять. Напиши им покаянное письмо.

В июне Лаврентий покаялся, да так неловко, что ЦК АКП направило ему новое письмо, в котором мы находим такие строки: «Постоянно имейте наблюдение, чтобы работники ваших органов старались по возможности быть более объективными, а главное, чтобы они не вмешивались во внутреннюю жизнь партийных организаций и чтобы их работа не принимала характера секретной агентуры или наблюдений за партработниками, как это было отмечено в циркуляре Заккрайкома РКП № 90».

По поводу этого инцидента Багиров даже ходил к Кирову — спасти Лаврентия.

— Человек он молодой, вспыльчивый, — уже в который раз говорил Багиров, — но работу любит и знает. Сергей Миронович, мы его образуем!

— Если вы обуздаете его излишнюю подозрительность, то сделаете благое дело для своей парторганизации, — заметил Киров.



Из протокола закрытого заседания Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, состоявшегося 18–23 декабря 1953 года.

«Председатель: С какого и по какое время вы работали народным комиссаром внутренних дел Грузии?

Гоглидзе: Наркомом внутренних дел Грузии я работал с ноября 1934 года по ноябрь 1938 года...

Председатель: Вы получали указания от Берии в 1937–1938 годах о массовых арестах руководящих работников партии и советских органов?

Гоглидзе: ...По мере развертывания следствия в начале 1937 года я повседневно докладывал Берии, как секретарю ЦК КП/б/ Грузии, протоколы допросов арестованных. Ознакомливаясь с протоколами допросов, Берия давал указания на аресты руководящих работников партии и советских органов, проходивших по показаниям арестованных. Кроме того, Берия давал указания на аресты руководящих работников партии и советских органов, на которых в НКВД Грузии не было вообще никаких компрометирующих материалов.

Председатель: Вы получали указания от Берии в 1937 году о массовых избиениях арестованных и как вами эти указания выполнялись?

Гоглидзе: Массовыми избиениями арестованных стали заниматься весной 1937 года. Однажды Берия, возвратившись из Москвы, предложил мне вызвать в ЦК КП/б/ Грузии на совещание всех начальников районных, городских отделов НКВД и наркоматов автономных республик. Когда все прибыли, Берия собрал нас в здании ЦК и выступил перед собравшимися с докладом. В своем докладе Берия отметил, что органы НКВД Грузии плохо ведут борьбу с врагами, медленно ведут следствие, враги народа разгуливают по улицам. Тогда же Берия заявил, что, если арестованные не дают нужных показаний, их нужно бить. После этого в НКВД Грузии начались массовые избиения арестованных...

Член суда Зейдин: При допросах в НКВД Грузинской ССР избивались арестованные сотрудниками и вами лично?

Гоглидзе: Да, Берия при мне делал сотрудникам НКВД Грузии указания об избивении арестованных.

Член суда Зейдин: Берия давал указания избивать арестованных перед расстрелом?

Гоглидзе: Берия такие указания давал...

А вот что говорили о Берии его бывшие подручные.

В. Деканозов: «Берия проявил себя во всем как карьерист, властный и злобный человек. Он устранил всех председателей ЧК. Возводил интриги против них. По всему его поведению видно было, что он любыми способами добивался власти».

Б. Кобулов: «Особого внимания заслуживает вероломство и мстительность, проявленные Берией в отношении некоторых не угодных ему лиц...»

А. Мичурин-Равер: «...Берия был всегда властолюбивым и стремившимся к диктаторству. Это ярко проявилось во время его пребывания в Азербайджане и в Грузии. Берия убирал не угодных ему людей, делая это под видом их разоблачения как врагов народа... Берия сумел весьма быстро реализовать свои цели и стать на положении «вождя» грузинского народа...»

Л. Цанава: «Берия был жестоким, деспотичным, властным человеком... Он ради достижения своих целей мог жестоко расправиться с теми, кто стоял на его пути. Работая в Грузии, Берия в 1937–1938 годах расстрелял всех, кто работал его заместителями в ГрузЧК и ЗакЧК, и многих, кто были его начальниками».



На Ялтинской конференции советская делегация давала в честь американцев и англичан обед. Рузвельт спросил Сталина:

— Кто этот господин, который сидит напротив посла Громыко?

— А! Это же наш Гиммлер. Это — Берия, — ответил Сталин.



Служба в охранке мусаватистского правительства еще долго тревожила Берия. Он чуть было не пал жертвою интриги, затеянной в 1938 году наркомом внутренних дел Николаем Ежовым, когда тот, получив информацию о том, что Лаврентием заинтересовался Сталин, решил предусмотрительно избавиться от конкурента. Как показали дальнейшие события, опасения его не были лишены оснований.

Он поспешил опередить вождя, решив, что люди уровня Берии пока еще находятся в его юрисдикции и определять их судьбу можно без согласия Сталина.

Вызвав своего помощника, Ежов дал указание срочно отправить в Тбилиси шифровку, проследив ее прохождение. В считанные минуты телеграмма была отправлена.

Шифровку из Москвы получил бывший подручный Берии по ОГПУ Рапава, который немедленно помчался к своему хозяину в ЦК Компартии Грузии. Войдя в кабинет, молча показал телеграмму. Берия побледнел: «Ты пришел меня арестовать?» Рапава кисло улыбнулся: «Я — ваш человек, Лаврентий Павлович... Как вы могли так подумать? Разве я бы стал вам показывать шифровку?» Берия оживился, встав, похлопал Рапаву по плечу. «Ты — настоящий друг, — сказал он, — этого я никогда не забуду. Поеду к Кобе, он во всем разберется. Уверен, что все эти козни против меня плетутся за его спиной, он не в курсе...»

Обстоятельства, связанные с переездом Берии в Москву, весьма противоречивы. Пишут, что Берия неожиданно вылетел в столицу, чтобы попасть к вождю, объясниться с ним. Высказывают предположения, что, разочаровавшись в Ежове, который стал изрядно выпивать, Сталин задумал заменить его более надежным человеком; новый нарком должен был быть не столь примитивным, разбираясь в провокациях, отличался бы хитростью и изысканными манерами. Позже в узком кругу, говоря о Ежове, Сталин бросил фразу: «Мудак был ваш Ежов. Даже Берию не смог перехватить!»

Выходит, всесильный нарком доигрывал уже проигранную партию.

Но прежде чем одолеть своего врага, Лаврентий Павлович должен был еще добраться до Сталина. А путь к нему

был утыкан шипами. В тот же день, в крайнем случае на следующий Рапава обязан был доложить в Москву о выполнении приказа или сообщить, что Берия, которого надлежало арестовать, скрылся в неизвестном направлении. Тогда поисками беглеца занялись бы все органы НКВД, и Берии вряд ли удалось бы добраться до Кремля. Но Рапава промолчал. Занятый важными делами, Ежов забыл о Берии всего лишь на двое суток. Но два дня в истории — слишком большой срок.

В Москву Берия добирался через Баку, где встретился с Багировым, которого известил о своих неприятностях. Багиров понял: спастись надо обоим. Вызвав надежных чекистов, он доверил им особую операцию — сопровождение Берии в Москву. «Никто не должен знать об этом, — предупредил он. — Иначе вам не сносить головы. Если сбережете моего друга — будет вам почет, если нет — не жить вам на белом свете...»

Чекисты хорошо знали Багирова, слов на ветер он не бросал.

Один из охранников, сопровождавших Берию, рассказывал мне, как прятали того от посторонних глаз в купе. По его рассказу, Берия всю дорогу молчал, был бледен, рассеян. «Мы не знали о том, что его должны были арестовать, речь шла о защите от покушения. В двух соседних купе ехали чекисты, с нами в контакт они не вступали. Мы понимали: нас прикрывают. На вокзале в Москве посадили Берию в «эмочку», которая пришла за ним, а сами сели в другой автомобиль. Люди Ежова свой «груз» проспали...»

Это и решило судьбу Ежова.

Представляю, как он был ошеломлен, увидев Берию в приемной Сталина в Кремле, куда его срочно вызвали. Сотрудник охраны вспоминал, что на лице Лаврентия Павловича расцвела сладостная улыбка, а нарком буквально позеленел, когда помощник генсека А.Поскребышев пригласил их пройти к товарищу Сталину.

Разговор в кабинете вождя принял сложный оборот: загнанный в угол Ежов вел себя агрессивно, обвинял Берию в измене, доказывал, что, получив компромат на Берию, выполнял свой долг. Лаврентий Павлович в свою очередь от-

вергал все обвинения, уличая наркома в сговоре с контрреволюционерами, которые, дескать, захотели снять с него голову за верность курсу партии и личную преданность товарищу Сталину.

Дав высказаться обоим, Сталин объявил свою волю:

— Я понимаю товарища Берию, в жизни бывает много сложностей. Но сейчас речь идет о доверии к Лаврентию Павловичу, который на протяжении последних лет являлся проводником линии партии в Закавказье. Мы не можем не учитывать его прежних заслуг... — Сделав паузу, он добавил: — Мы рекомендуем товарища Берию на пост первого заместителя наркома, так как он имеет опыт работы в органах, беспощаден к врагам... Надеемся, что наши надежды он оправдает...

Так Берия стал первым заместителем Ежова и начальником Главного управления госбезопасности. Фактически Ежов был отстранен от важных дел в наркомате. Позже его перевели в другой наркомат, он стал спиваться, предчувствуя скорый конец. А в это время Берия уже тасовал кадры, освобождаясь от людей Ежова, аппарат заполняли люди Берии. На Лубянке шла основательная чистка, арестованных, содержащихся во внутренней тюрьме, выпускали; следователей, ведших их дела, привлекали к ответственности — сажали, расстреливали. Страна облегченно вздохнула: ежовщине конец!

Но это была лишь временная передышка.

В том же 1938 году Сталин поручил Берии очень серьезное задание — выявить группу врагов, пробравшихся в аппарат ВКП/б/. Жертвы, как всегда, были намечены заранее. И Берия рьяно взялся за дело, ведь он уже имел богатый опыт по части арестов, допросов и фабрикаций. По стране прокатилась не одна волна истребления неугодных людей, каждая — не менее беспощадная, чем при Ежове.

Приближенные Берии получали высокие посты, были повышены в должности и Рапава, и чекисты, охранявшие Берию в поезде. Кто мог сказать, что Лаврентий Павлович не отзывчивый человек? Своих подручных он всегда заботливо опекал.



По рассказам Морозовой, Сталин долго искал верного человека на должность «железного» наркома, что было ему так необходимо для установления единовластия. Он привлек на свою сторону Генриха Ягоду, заместителя Менжинского, которого позже и сделал первым своим «железным» наркомом. Его не смутило даже то, что Ягода женат на племяннице Свердлова, с которым, кстати, у Сталина были непростые отношения еще со времен сибирской ссылки.

Убрав Ягоду, когда он стал ему не нужен, Сталин нашел на его место исполнительного Николая Ежова, верного партаппаратчика, который творил в угоду правителю любые кровавые дела. Но Ежов работал топорно, а Сталину хотелось, чтобы в должности наркома был не только исполнительный человек, но и надежный. Ему понравилось, как Берия обыграл Ежова. Это был последний аргумент в пользу Лаврентия. К тому же Ежов, уже отработанный материал, на свою беду знал много секретов вождя. Обладание чужими тайнами и секретами всегда чревато опасностью.

Однажды в дореволюционном Баку Морозовой пришлось наблюдать такую картину. У хозяина дома, где квартировал Коба, оценилась сука. Она лежала в углу двора под огромной чинарой, окруженная щенками, тянувшимся к ее соскам. Один из них был самым нахальным, несмотря на маленькие размеры, все время оказываясь проворнее других.

— Так и в жизни, — заметил Коба товарищам, — кто проворнее, тот и побеждает...

В 1938 году проворнее других оказался Берия.



Обыграл он не только Ежова. Была у него и другая «победа», о которой Сталин знал наверняка, наблюдая, как умело расправляется Лаврентий со своими конкурентами. Он обходил других, потому что использовал для достижения цели различные методы, даже самые низменные. До этого Берия обвел вокруг пальца любимца Абхазии известного большевика Нестора Лакобу, которому долгие годы отдавал предпочтение сам Коба.

Самостоятельность и независимость Лакобы приводили Лаврентия в ярость. Но что он мог поделать, если Сталину

нравился «глухой горец» — так Берия за глаза называл Нестора. Тот великолепно владел огнестрельным оружием, с большого расстояния попадал в монету. В тридцатые годы во время ночных застолий вождей по просьбе Сталина он сбивал яблоко на голове своего повара! Нестор учился в той же духовной тифлисской семинарии, что и Куба, в годы гражданской войны был активным революционером, а при царе — партийным боевиком.

В тридцатые годы в Абхазии вышла книга «Сталин и Хашим», предисловие к которой написал Лакоба. В ней рассказывалось, как, скрываясь от полиции в Батуми, вождь прятался в доме крестьянина Хашима Смырбы. Книга Сталину понравилась. Он похвалил не только Лакобу, но и Лазаря Кагановича, который выделил для издания хорошую бумагу.

Берия пошел дальше Лакобы, он сам «написал» большую книгу, присвоив чужой труд и расстреляв настоящего автора книги. В ней возвеличивалась роль Сталина в деятельности кавказской партийной организации. Можно ли было теперь сравнивать маленькое предисловие Лакобы с серьезным трудом о роли Сталина в работе большевиков Закавказья, в котором все успехи были приписаны ему одному? Конечно, Берия преуспел.

Позже он преуспел и в другом.

Летом 1935 года Сталин приехал на отдых в Абхазию. Сохранилась фотография, сделанная в Новом Афоне, — Егоров, Ворошилов, Сталин, Тухачевский и Лакоба. Вечерами они сражались на бильярде. Нестор побеждал знаменитых командармов, а Берия стоял в тени, молча наблюдая за игрой. Сталин смеялся, показывая на Лакобу, подзадоривая военачальников: «Играет лучше вас, лучше вас стреляет!» А когда Лакоба побеждал и его, он лишь похлопывал Нестора по плечу: «Прощаю тебя, ты ведь такой маленький!» И веселился вместе с командармами, иногда обращая внимание на Лаврентия: «Что не играешь? «Глухого» боишься?»

Берия был злопамятен, как все тщеславные люди. Как все злопамятные, он ждал своего часа.

В том году Лакоба был награжден сразу двумя орденами — такого прежде не бывало. Сталин долго беседовал с ним в Кремле и даже подарил свою фотографию с личной под-

писью. Понимая сильную позицию Нестора, Берия ездил к нему на поклон, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Правда, однажды в доме Лакобы вышел казус, который был замят, но Берией не забыт. Неожиданно на него напал брат хозяина Михаил: «Змея, твои штучки в Абхазии не пройдут!» — и спустил Лаврентия с лестницы. Нестор остановил брата: «Ты что! Он же гость!» Как ни в чем не бывало Берия поднялся по лестнице, подошел к обидчику: «Ну что ты, Миша, горячишься!»

Сталин настаивал на переезде Лакобы в Москву неспроста — он желал видеть его на месте Ягоды. Но Лакоба отказался, правда, сделав это в мягкой форме, чтобы не обидеть Кобу, но отказ даже в вежливой форме был для того прежде всего отказом.

Нестор Лакоба не хотел становиться палачом, исполнителем чужой воли. Берия, напротив, мечтая о карьере, был готов на любую роль, даже палача.

В 1936 году в стране началась подготовка к «великому террору». Генрих Ягода боролся с группой Каменева — Зиновьева, партийные газеты призывали к беспощадной борьбе с врагами социализма. В первой половине августа Сталин опять предложил Лакобе перебраться в столицу. Тот снова отказался. После этого их отношения стали натянутыми. Правда, Сталин еще принимал Лакобу и вел с ним доверительные беседы. Однажды даже выслушал откровения Нестора, который считал, что взаимоотношения с Берией у него испортились, на что Коба лишь усмехнулся: «Не бойся, я с ним разберусь!»

О намерениях можно судить по фактам. Приструнил Сталин Берию или, наоборот, подтолкнул к действиям, мы не знаем. Можно лишь предполагать, что вождь развязал ему руки. Отсюда и визит Берии в Сухум, и возбужденный разговор на квартире Лакобы. «Он становится все более наглым», — сказал после его последнего приезда Нестор.

В конце декабря 1936 года Лакоба, приехав на партактив в Тбилиси, остановился в гостинице. Утром навестил Лаврентия, и они поспорили. Когда Нестор вернулся в гостиницу, сказал: «Будут звонить — меня нет». Но вечером его соединили по телефону — звонила мать Лаврентия:

«Нестор, приходи, будет жареная форель. Очень тебя прошу, приходи!»

Ужин в доме Берии прошел в тяжелой атмосфере. Немного выпили, еще меньше поговорили, потом отправились на спектакль в театр. После первого акта Нестор ушел — ему вдруг стало плохо. В гостинице тошнота продолжалась. Вызвали медсестру. Задыхаясь, Нестор сказал: «Убил меня Лаврентий!»

Странно, что Лакобе не оказали квалифицированную медицинскую помощь, словно захворал он не в столице республики, а в далеком селении.

В правительственном сообщении говорилось: 28 декабря 1936 года в 4 часа 20 минут утра от сердечного приступа в Тбилиси скончался председатель ЦИК Абхазской АССР, член ЦИК СССР Н.А. Лакоба. Тысячи тбилисцев пришли проститься с видным деятелем партии и государства. Гроб с телом Лакобы был установлен в Доме Красной Армии. Среди венков был и венок от четы Берия — Нины и Лаврентия.

Тело Лакобы было отправлено в Сухум в тот же вечер. На станции Келасури, куда прибыл траурный поезд, шел сильный снег. Нестора несли до дома на руках. Жена его, Сария, вызвала врача, которому доверяла семья. Врач И.Г.Семерджиев сказал ей так тихо, чтобы никто не слышал: «Нестор отравлен».

Абхазия погрузилась в траур. Похоронили Нестора Лакобу в Ботаническом саду, в склепе. Берия на похороны не приехал. Сталин не прислал даже телеграммы.

Через неделю после похорон Нестора Лакобы в Москве открылась декада грузинского искусства. В Большом театре шла постановка тбилисских мастеров сцены «Дареджан Цбиери», на которой присутствовали Сталин и Берия. На русский язык это название переводилось так: «Коварная Дареджан». Бывают же совпадения в жизни!

В январе по Абхазии поползли слухи, что Нестор был врагом народа. Его портреты стали спешно убирать. Имя революционера на целые десятилетия предали забвению.



Мог ли Коба не ценить умение Берии вести борьбу с противниками и конкурентами?

Как только Лаврентий себя проявил, Сталина вдруг осенило, что лучшей кандидатуры, которую он так долго искал на должность наркома внутренних дел, и не может быть. Правда, и про обвинения, предъявленные Берии Ежовым, не забыл. Когда наступило время, вождь об этом вспомнил.

Год спустя после активных репрессий, проведенных Берией, он вдруг вызвал его в Кремль.

— Кстати, что это были за разговоры о вашей службе в охранке мусавата? — неожиданно спросил Иосиф Виссарионович. — Вы бы прояснили ту историю...

Берия написал объяснительную записку, которую, как полагают, Сталин хранил в своем личном сейфе. То был документ, в любую минуту мог решающий судьбу нового «железного» сталинского наркома, а проще говоря, поводок, на котором хозяин вел свою собачку. После смерти Сталина эта объяснительная записка исчезла. Вряд ли Берия писал в ней правду, но для исследователей истории Страны Советов она могла бы кое-что прояснить — хотя бы биографию бывшего сотрудника охранки при одной власти, ставшего маршалом и крупным государственным деятелем при другой.



После смерти Сталина в руководстве страны началась скрытая борьба за власть. Рассчитывая на альянс с Маленковым, с которым дружил долгие годы, Берия намеревался стать единоличным правителем державы.

Но и Хрущев не дремал. В его воспоминаниях есть несколько строк, характеризующих тот период: «С каждым днем Берия все больше набирал силы, и быстро росла его наглость. Все его провокаторское хитроумие было пущено в ход».

Как и Хрущев, каждый член Президиума ЦК искал спасение от Берии, которое могло быть только в объединении всех против него. Его приход к власти означал смерть каждого — все они хорошо это понимали.

Переговоры Хрущева с Молотовым и Булганиным прошли успешно. Затем Никита Сергеевич убедил Маленкова в

необходимости выступить единым фронтом против чекиста номер один, переговорил с Сабуровым и Первухиным. Подключился к ним и Ворошилов. Все сошлись на одном: Берия необходимо снять со всех постов и, по возможности, изолировать, потому что оставлять на свободе такого человека опасно.

Хрущев с Маленковым договорились начать действия на заседании Президиума Совета министров. Когда все соберутся, решили они, объявим о заседании Президиума ЦК. Берия этот замысел не отгадал, не чувствуя подвоха, поинтересовался, с чего такой неожиданный сбор, и нехотя приехал в Кремль.

Открыл заседание Маленков — и сразу сказал:

— Давайте обсудим партийные вопросы. Есть вопросы, которые необходимо обсудить немедленно.

Все согласились. Как условились, слово взял Хрущев и первым бросил камень в бывшего единомышленника и соратника по партии: он предложил обсудить вопрос о товарище Берии.

Берия встрепенулся:

— Ты что, Никита? Что ты мелешь?

Хрущев ответил:

— Вот ты послушай. Об этом как раз я и хочу сказать.

Сказал он о многом, но начал с судьбы Григория Каминского, который исчез бесследно после своего заявления в конце 30-х годов на пленуме ЦК о связи Берии с мусаватистской контрразведкой. Это была одна судьба из миллионов других, перемолотых жерновами террора, которым после Ягоды и Ежова руководил Лаврентий Берия. Хрущев закончил свою пламенную речь словами: «Невероятно, чтобы честный коммунист мог так вести себя в партии».

В том же духе выступил и Булганин. Потом — все остальные. Все клеймили Берия, только Микоян, по словам Хрущева, сказал, что «Берия не безнадежный человек и в коллективе может быть полезен».

Как председатель Маленков должен был подвести итоги, но он растерялся, возникла пауза. Но Берия ею не воспользовался, он так оторопел от неожиданности, что эта растерянность подвела черту его карьере и жизни. Хрущев

внес предложение освободить Берию от всех постов. Проголосовать толком не успели: Маленков нажал секретную кнопку, вызвав военных, которые были уже готовы и ждали приказа.



Из воспоминаний маршала Советского Союза Г.К. Жукова:

«Я вместе с Москаленко, Неделиным, Батицким и адъютантом Москаленко должен сидеть в отдельной комнате и ждать, пока раздадутся два звонка из зала заседания в эту комнату.

...Проходит час. Никаких звонков. Я уже встревожился. Уж не произошло ли там что без нас, не перехитрил ли всех Берия, этот изощренный интриган, пользовавшийся доверием Сталина? Немного погодя (было это в первом часу дня) раздался один звонок, второй. Я поднимаюсь первым...

Идем в зал. Берия сидит за столом, в центре. Мои генералы обходят стол, как бы намереваясь сесть у стены. Я подхожу к Берии сзади, командуя:

— Встать! Вы арестованы!

Не успел Берия встать, как я заломил ему руки назад и, приподняв, эдак встряхнул. Гляжу на него — бледный-пребледный. И онемел.

Ведем его через комнату отдыха в другую, что ведет через запасный ход. Тут сделали ему генеральный обыск.

Да, забыл. В момент, когда Берия поднялся и я заломил ему руки, тут же скользнул по бедрам, чтобы проверить, нет ли пистолета. У нас на всех был только один пистолет. Второй взяли уж не помню у кого...

Итак, посадили его в эту комнату.

Держали до 10 часов вечера, а потом на ЗИСе положили сзади, в ногах сиденья, укутали ковром и вывезли из Кремля. Это затем сделали, чтобы охрана, находившаяся у него в руках, не заподозрила, кто в машине.

Вез его Москаленко. Берия был определен на гауптвахту, вернее в тюрьму Московского военного округа...»



В рассказе маршала К.С. Москаленко — другие подробности. Но, полагаю, отдельные несовпадения в деталях общей картины не портят, просто каждый по-своему оценивал события.

«...последовал условный сигнал, и мы — пять человек вооруженных, шестой т. Жуков — быстро вошли в кабинет, где шло заседание. Тов. Маленков объявил: «Именем советского закона арестовать Берию!» Все обнажили оружие, я направил его прямо на Берию и приказал поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берию.

...Все это произошло так неожиданно для Берии, что он полностью растерялся. При аресте в его портфеле нашли лист бумаги, весь исписанный красным карандашом — «Тревога, тревога, тревога», и там много раз повторяется это слово на листе бумаги. Видимо, когда начали говорить о Берии на заседании да еще критиковать его действия, он сразу почувствовал опасность и имел в виду передать этот лист охране Кремля.

...Берия нервничал, пытался подходить к окну, несколько раз просился в уборную, мы все пять человек с обнаженным оружием сопровождали его туда и обратно. Видно по всему, что он хотел как-то дать сигнал охране, которая всюду и везде стояла в военной форме и в штатском платье, но с оружием. Долго тянулось время, мы были голодны, помощник Маленкова Суханов был все время в приемной и организовывал чай. Но темнота все еще не наступала, чтобы вывезти Берию из Кремля незаметно».



На следующий день, 27 июня 1953 года, в субботу, в канцелярию гауптвахты, где находились Москаленко, Батицкий, Гетман и другие, прибыли заместители Берии генерал-полковники Круглов и Серов. Они сказали, что будут участвовать в допросе, потому что имеют поручение Хрущева и Маленкова вести следствие вместе с военными.

— Хорошо, — сказал Москаленко. — Тогда при допросе Берии будут присутствовать Батицкий и Гетман.

— Это невозможно, — ответил Серов.

— Я такого же мнения, — согласился с ним Круглов.

Завязавшийся спор ни к чему не привел.

Москаленко позвонил в ЦК Маленкову. Никто не ответил. Позвонил вновь. Дежурный пояснил, что все члены Президиума ЦК находятся на премьерe в Большом театре. Москаленко позвонил в театр, попросив срочно пригласить к телефону Маленкова или Хрущева. Подошел Маленков. Узнав в чем дело, он, посоветовавшись с товарищами, сказал: «Все трое приезжайте сюда, в театр!»

Во время антракта в правительственной комнате Большого театра собрались все члены Президиума ЦК партии. Круглов и Серов сказали, что военные неправильно обращаются с Берией, что порядок содержания его неверный, словом, надо соблюдать законность.

Последняя фраза вызвала смехок — сам Берия и его подчиненные никогда эту законность не соблюдали.

— Я не юрист и не чекист, — взорвался Москаленко. — Как правильно обращаться с Берией, не знаю. Я воин и коммунист. Мне сказали, что Берия — враг нашей партии и народа, поэтому мы все, в том числе и я, относимся к нему, как к врагу. Плохого ничего по отношению к нему не допускаем. Если я в чем-то не прав, подскажите, и я исправлю.

Хрущев, чтобы разрядить обстановку, сказал:

— Все действия товарища Москаленко правильные. Мы их одобряем. Президиум решил, что дело будет вести вновь назначенный Генеральный прокурор товарищ Руденко...

— В присутствии товарища Москаленко, — добавил Маленков.

Как побитые, вышли из комнаты Круглов и Серов. Хрущев предложил Москаленко сесть за стол и выпить рюмку вина. Маленков, кивнув головой, одобрительно сказал: «За хорошую, успешную и чистую работу!»

Вернувшись из Большого театра, Москаленко приказал перевести Берию во двор штаба МВО, в бункер — временный командный пункт штаба округа. Приехал Руденко. «Ну что ж, Роман Андреевич, начнем работать?» — спросил Москаленко. «Начнем!» — бодро ответил новый Генеральный прокурор.



Шесть месяцев, день и ночь, шло следствие. Берия сопротивлялся, молчал, сваливал вину на Сталина, писал записки Маленкову, жалуясь, что допущена ошибка, предупреждал Егора (так он звал Маленкова), что «сначала расправятся со мной, а потом с тобой». Члены Президиума ЦК дали указание больше ему не давать ни бумаги, ни карандаша, ни ручки, и это указание было исполнено.

После этого Берия сник. Он понял, что потерял последнюю надежду, которую еще питал, — отречение Маленкова означало для него крах.



Несмотря на преклонный возраст, Москаленко хорошо помнил те тревожные дни, когда трудно было представить, что кто-то замахнется на такого всесильного человека, как Лаврентий Берия.

— Что еще вам запомнилось?

— После ареста Берии стали поступать анонимные письма с угрозами расправиться со мной. Часть этих писем я выбросил в мусорную корзину, а часть послал Серову, который был председателем Комитета госбезопасности, но он ничего не сделал по ним.

— Вас представляли к награде?

— На второй день после расстрела Берии, то есть 25 декабря 1953 года, меня вызвал министр обороны СССР товарищ Булганин. Он предложил написать реляцию на пять человек: на Батицкого, Юферова, Зуба, Баксова и меня для присвоения звания Героя Советского Союза — первым трем первичного, а последним двум — вторичного. Я категорически отказался это сделать, мотивируя тем, что мы ничего такого не сделали. Он мне сказал: «Ты не понимаешь, ты не осознаешь, какое большое, прямо революционное дело вы сделали, устранив такого опасного человека, как Берия, и его клику!»



Закрытое заседание Специального судебного присутствия Верховного суда СССР шло в Москве с 18 по 23 декабря 1953 года. В протоколах сказано: председателем заседания являлся Маршал Советского Союза И.С.Конев, членами:

председатель ВЦСПС Н.М.Шверник; первый заместитель председателя Верховного суда СССР Е.Л.Зейдин; генерал армии К.С.Москаленко, первый секретарь Московского областного комитета КПСС Н.А.Михайлов; председатель Совета профсоюзов Грузии М.И.Кучава; председатель Московского городского суда Л.А.Громов; первый заместитель министра внутренних дел СССР К.Ф. Лунев.

Кроме Лаврентия Берии, по делу проходили активные участники преступной группы, связанные с ним в течение многих лет противозаконными действиями в органах НКВД—МВД: бывший министр госбезопасности, в последнее время министр госконтроля СССР В.Н.Меркулов; бывший начальник управления НКВД СССР, в последнее время министр внутренних дел Грузинской ССР В.Г.Деканозов; бывший заместитель наркома внутренних дел Грузинской ССР, в последнее время замминистра внутренних дел СССР Б.З.Кобулов; бывший начальник управления НКВД СССР, в последнее время министр внутренних дел Украинской ССР П.Я.Мешик; бывший начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Л.Е. Влодзимирский.

Как говорится, сколько веревочке ни виться... Но эта веревочка вилась долго, и погубила она много народа.

Протоколы суда над Лаврентием Берией долго скрывались, в наше время они опубликованы лишь частично. Понятно, что организаторы процесса над ним стремились не столько к установлению истины и полной справедливости, сколько к скорейшему устранению палача, который, оставаясь в живых, был опасен.

Думается, что открытый судебный процесс их также не устраивал: на суде могла открыться нежелательная правда, утопающий Берия, без сомнения, стал бы обличать своих бывших соратников. Во всяком случае к расстрелам и чисткам все они имели прямое отношение. Но, спасая себя, они делали великое дело для всех нас, освобождая страну от пут страха и террора, беззакония и издевательств.

— За это им спасибо, — сказала Морозова, — хоть смыли с себя грязь и кровь, сделав одно доброе дело для народа.

Может, и была она права, простив грехи каждому из них.



Маршал Советского Союза И.С. Конев, председательствовавший на судебном заседании, спросил обвиняемого: признает ли он себя виновным?

Берия ответил: «Я должен заявить суду, что врагом народа я не был и не могу быть... но должен сказать, что за период моей работы в Закавказье и в Москве мною было сделано много такого, что граничит с вражеской деятельностью... Одним из самых тяжких для меня обвинений является мое участие в мусаватистской контрразведке. Это обвинение я признаю полностью. Кроме того, должен признать, что, работая в Бакинском Совете в общей канцелярии после ухода большевистской власти, я остался в Баку. Есть ряд и других моментов из бакинского периода, которые меня порочат...

Самым тяжким позором для меня как гражданина, члена партии и руководителя является мое бытовое разложение, безобразная и неразборчивая связь с женщинами... Пал я мерзко и низко. Я имел много связей с женщинами, подозрительными по шпионажу...

Период 1937–1938 гг. в Грузии... Я действительно как секретарь ЦК партии Грузии давал прямые указания арестовывать и избивать людей...»



Из последнего слова Л.П. Берии на суде:

«Я уже показывал суду, в чем признаю себя виновным. Я долго скрывал свою судьбу в мусаватистской контрреволюционной разведке. Однако я заявляю, что, даже находясь на службе там, не совершил ничего вредного. Полностью признаю свое морально-бытовое разложение. Многочисленные связи с женщинами, о которых здесь говорилось, позорят меня как гражданина и как бывшего члена партии.

...Признавая, что я ответствен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937-1938 гг., прошу суд учесть, что контрреволюционных, антисоветских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений в обстановке того времени.

...Не считаю себя виновным в попытке дезорганизовать оборону Кавказа в период Великой Отечественной войны.

Прошу вас при вынесении приговора тщательно проанализировать мои действия, не рассматривать меня как контрреволюционера, а применить ко мне статьи Уголовного кодекса, которые я действительно заслужил».



Приговор объявили 23 декабря 1953 года. В тот же день Берия был расстрелян, а труп его сожжен.

Перед смертью Берия молил о пощаде, плакал. Он хотел жить. Так уж устроено: больше всех хотят жить именно убийцы.



К сожалению, в эту главу книги не вошли полностью рассказы и показания бывших командиров и бойцов XI Красной Армии, тех, кто знал, встречался, работал какой-то период с Берией и видел палача, — они были непосредственными свидетелями возвышения провокатора. Большая им благодарность за то, что откликнулись на мое предложение и помогли восстановить крупницы исторической правды.

Кроме И.Г.Морозовой, о жизни и деятельности Берии автору рассказали: Б.И.Арутюнов, М.М.Алиев, И.Г.Беляков, А.М.Брюшко, В.И.Воробьев, Р.Н.Гусейнов, П.Е.Гайдуков, М.Г.Гаджибеков, З.А.Израилевич, П.З.Коробков, Н.А.Кулаков, С.Х.Каспарова, М.Г.Лепехин, С.А.Мовсесов, Я.М.Моллер, С.М.Рябинин, А.Р.Романов, А.Х.Захарьян, С.М.Сальникер, А.А.Сдобников, К.К.Оганесов, Р.М.Хананов, К.М.Турецкий, а также ветераны госбезопасности М.А.Айдамиров, М.М.Муслим-заде, М.Г.Рынский, Н.Д.Севоян...



ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Поразительным предчувствием обладают люди в старости, как они ощущают приближение своего заката!

Явственно понял это в тот день, когда приехал к Изабелле Георгиевне. Она долго не открывала дверь, но было хорошо слышно, как, шаркая своими стоптанными башмаками, она отодвигает старенький засов, даже не поинтересовавшись, как обычно, кто звонит. Увидев меня, обрадовалась, как радуются только близкому человеку, с которым давно не виделись:

— Вот хорошо, что пришел, вот хорошо! Небось, чувствовал, что жду...

Выставив на стол чашки, она отправилась на кухню. От помощи отказалась: «Я сама, не мешай». Когда вернулась, укоризненно сказала:

— Ты напрасно даешь соседке деньги на покупки. Ни к чему это...

— Ну, знаете, — по-молодому бодро возразил я: — Молоко да хлеб — это всего лишь мелочи.

— За заботу спасибо. Хлебушка мне своего хватает. А знаешь, чего не хватает? Общения с людьми. Сижу с этим ящиком, — она кивнула на старенький телевизор, — а включаю редко. Ударилась вдруг в воспоминания. Работаю, как ты велел, свои воспоминания записываю.

Я обратил внимание на столик, стоявший в углу комнаты. На нем лежала аккуратная стопка исписанных листов бумаги, которою мы принесли как-то с Олегом. Перехватив мой взгляд, она добавила:

— Может, когда-нибудь и сгодится.

Мне тогда подумалось, что, записывая свои воспоминания — раньше она этим не хотела заниматься, — Изабелла Георгиевна делала полезное дело в первую очередь для меня.

— Вы рассказали, что к вам приходили из архива, хотели приобрести некоторые документы, а вы им отказали...

— Было такое, — подтвердила она. — Приходили две милые девицы, стали расспрашивать, что у меня имеется. Показала им пару папок. Они все внимательно посмотрели, а потом та, что постарше, выпалила: «Передайте в наш архив бумаги, мы вам заплатим шестьдесят рублей за эту папку. Остальное потом оценим». Младшая добавила: «Вы на нас не обижайтесь, больше выплатить вам мы не можем — архивы советские бедны; по сто рублей платят лишь заслуженным людям, а у вас ведь нет никакого звания». Ну, и пошло — поехало, дескать, инструкция на сей счет есть, которую нельзя нарушить. Тут — прости меня, старуху, — я и сорвалась: «Миленькие вы мои, это не бумаги, а документы, и здесь вам не восточный базар, так что знайте: переговоры завершены, не начавшись».

Она разнервничалась, вспоминая происшедшее. Я попытался было поменять тему разговора, но Изабелла Георгиевна еще раз помянула недобрым словом архив, выторговывавший у нее документы, и принялась настаивать, чтобы часть его я немедленно забрал к себе. Убеждала: «Ведь помру — все пропадет!»

— Не могу: нет суммы такой у меня, — пробовал было я отшутиться.

— Не валяй дурака! Все передаю тебе, хочу, чтобы осталось в надежных руках. Не о себе пекусь, а о тех, кто уже ушел из жизни — это память о них...

— Хорошо, — согласился я, — по мере необходимости буду брать документы.

Она еще настойчивей сказала:

— Забирай все немедленно. Чем быстрее, тем лучше.

— Да куда все денется?

— А мой возраст? — резко перебила она. — Я, дорогой мой, еще в прошлом веке родилась, а уже этот на исходе...

— Вот вы опять за свое — возраст, смерть. У нас, дорогая Изабелла Георгиевна, на Кавказе по сто лет живут, а то и больше. Вы еще крепкая и бодрая...

— Крепкая духом! — вставила она и тут же вполне серьезно добавила: — Никогда о смерти не думала, а ныне почувствовала — скоро уходить... Прожила больше положенного, задержалась...

Я молча перебрал несколько папок, которые решил взять с собой в тот день. В них были не только выписки и копии, но и письма и записки, имевшие отношение к обороне Астрахани в 1919 году, к тому периоду, о котором я уже писал свою первую повесть. В пожелтевших от времени бумагах значились имена известные и забытые: Киров, Серго, Бутягин, Раскольников, Рейснеры — отец и дочь, Атарбеков, Мехоношин, Рогов, Ульяновцев, Шляпников, Василенко... В скромных папках лежали свидетельства, так необходимые нашей истории, проливающие свет на многие ее «белые пятна». Впрочем, многое от нас тогда еще было скрыто за крепкими замками — тот же Шляпников, которого мы считали врагом, веря нашей официальной историографии, но о котором Морозова говорила с нежностью: честный, порядочный, умный... О некоторых воспетых большевиках она говорила вполне определенно: повесили, а на самом деле человек был скаредный, тупой, лицемерный, словом, недостойный.

Уже в те годы, общаясь с Морозовой и некоторыми ее друзьями, я понял, что наша история больше лакирована, чем достоверна. Впрочем, перелистайте издания различных десятилетий и вы убедитесь, как они разнятся между собой: одни и те же факты подаются в разной интерпретации, а те, что невыгодны авторам, по истечении времени просто из книг изъяты.

Морозова не раз говорила:

— Наступит пора, когда всю нашу историю будут переписывать заново. Ее так долго фальсифицировали, что понадобится еще много лет, чтобы все привести в должный вид. Вот когда начнут говорить правду, кое-что из моих бумаг и понадобится...

Завязывая тесемочки отложенных папок, я невольно поинтересовался, как все это богатство сбереглось, ведь, насколько мне известно, в 37-м году вместе с хозяевами забирали и бумаги, принадлежащие не только им, но и родственникам. Документы были для НКВД дороже золота и

драгоценностей — они обладали информацией и, естественно, служили ключом к другим личностям, к их семьям.

Изабелла Георгиевна в ответ заулыбалась:

— Думаешь, они хитрее нас были? Я еще помню царскую охранку и старых подпольщиков, а те, в тридцать седьмом, были просто выскочками очередного комсомольского призыва. Что касается этого архива, то мне на хранение сдавали свои документы большевики, которых я хорошо знала. Они чувствовали, что вот-вот и их загребут, и говорили: «Сохрани, мы знаем, ты сумеешь». Всем казалось, что меня никогда не тронут — ведь я работала в подполье со Сталиным, в ЧК с Берией и Багировым, меня хорошо знали Клим Ворошилов, Анастас Микоян, Авель Енукидзе, Серго Орджоникидзе и многие лидеры партии. Если бы не один прохвост, который под честное слово выудил у меня некоторые записи, то здесь добра было бы гораздо больше...

Да, старые канцелярские шкафы, стоявшие у стены, хранили многие тайны нашей истории. Какие — это еще предстояло узнать. Но я был молод и, как все молодые люди, беспечен.

Отчетливо запомнилось, как в тот день мы расставались. Изабелла Георгиевна даже прослезилась: «Чувствую, видимся в последний раз», — и поцеловала меня в щеку. В ответ я посмеялся: «Ну вот, вы опять за свое — последний, последний... Мы еще с вами поработаем». Она прижалась ко мне, и казалось, вот-вот зарыдает, но старики, выплакавшие за свою долгую и трудную жизнь немало слез, рыдать не умеют — ее глаза лишь повлажнели.

Так и осталось в памяти: маленькая сгорбленная старушка на пороге, а за ее спиной, на стене, дагерротип красивой светской дамы, запечатленной в салоне петербургского фотографа, владевшего правом снимать царскую семью. То был штрих многолетней жизни, лишь один ее штришок.

Морозова была права. Вернувшись из командировки, я узнал, что два дня меня настойчиво разыскивает университетский товарищ. Я понял — это Олег, и немедленно набрал его номер телефона.

— Ты? Хорошо, что позвонил, — голос в трубке был каким-то глухим и уставшим. — Умерла Изабелла Георгиевна.

Накануне она просила тебя найти — ты должен забрать ее архив. Я обещал, что отыщу... Похороны сегодня, — добавил он после длинной паузы: — Ты знаешь, я чувствую угрызения совести, ведь в последнее время редко бывал у нее...

Я опустил трубку. На душе было тяжело. Как и Олег, я вдруг понял, что потерял не только близкого человека, но и ту тонкую нить, которая связывала меня с давно ушедшей эпохой.



Хоронили Изабеллу Георгиевну районные власти. Собрались знакомые, соседи. Народа было немного. Пионеры несли на красных подушечках награды — ордена и медали. Меня и Олега это, признаться, удивило, потому что о правительственных наградах Морозова никогда не рассказывала.

Был теплый день, в деревьях шелестел ветерок, приятно поблескивало солнышко. Выбивая из меди грусть, играл духовой оркестр какой-то войсковой части. Организаторы из райкома партии куда-то торопились, стараясь управиться с похоронами до пяти часов, видно, спешили на другое мероприятие. Им нужен был автобус, который отправлялся на кладбище.

Может, поэтому над могилой было произнесено мало речей — не все знали покойницу и потому говорили сбивчиво: ветеран партии и труда — и все. Она пережила свое время, а новое ее, в сущности, не знало.

Из своих скромных сбережений, выкроенных из пенсии, Морозова умудрилась каким-то образом собрать деньги на поминальный стол. Соседка, дружившая с ней, еще на кладбище предупредила всех, что покойница просила обязательно помянуть ее, нужно выполнить последнюю волю умершей. «Так она велела», — повторяла женщина, утирая слезы.

Когда вернулись с кладбища, в опустевшей комнате нас ждала неприятная новость: канцелярские шкафы, содержанием которых так дорожила Морозова, были пусты — ни одной папки, ни одного листочка. Самое странное, что никто не знал, куда все вдруг подевалось, кто использовал «подходящий» момент. Дверцы, прежде запиравшиеся на ключ, тонко поскрипывали, словно грустя по своей хозяйке.

Выходит, слова Изабеллы Георгиевны оказались все-таки пророческими. Я-то не придавал им значения, а за архивом следили и, возможно, охотились.

На следующий день я стал обзванивать бакинские хранилища. Мои собеседники вежливо поясняли, что впервые слышат о документах Морозовой, что их организация ничего у старушки не приобретала, поскольку, по их мнению, никакой научной ценности те бумаги не представляли. Правда, в одном меня обнадежили, припомнив, что примерно год назад, а может, и меньше, их архивисты вели какие-то переговоры с Морозовой с целью приобретения находившихся у нее документов, но она заломила такую цену, что им пришлось от своих планов отказаться.

— А сколько она просила? — не выдержал я.

— Точно не помню, — услышал я в ответ, — но речь шла о большой сумме, которой мы не располагали. Сто рублей мы платим лишь тем, кто лежит в Аллее почетного захоронения, — пошутил мой собеседник.

Он был уверен, что умершая всю жизнь мечтала лежать на почетном, а не на простом кладбище. А она, между прочим, просила похоронить ее тихо и скромно, потому что презирала почести и славу.



Несколько лет спустя, собрав наконец в единое целое все свои записи, я позвонил в Институт истории партии, чтобы получить официальную справку об Изабелле Георгиевне Морозовой, так много сделавшей в свое время для самой партии. Справки, как полагалось, наводили долго — то нужно было письмо, то разрешение, то просили пояснить, где будут публиковаться мои записи. Наконец, после долгих проволочек, получив разрешение сверху, сказали:

— У нас фактуры немного, значит, только то, что она была членом партии с дореволюционным стажем. В тридцатые годы репрессирована. Больше ничем вас обрадовать не можем — нет данных. Что касается ее личного архива, о котором вы говорите, то мы им не располагаем...

На этом автор и заканчивает повествование, посчитав, что обещание, данное им много лет назад Изабелле Георгиевне

Морозовой, выполнено. А уж как у него получилось, судить читателю.

В книге использованы архивные документы, письма, рукописи, воспоминания и публикации И.Г.Агабекова, В.К.Агафонова, Е.Ф.Азефа, А.Акопяна, С.Я.Аллилуева, А.А.Аргунова, Г.А.Атарбекова, М.А.Алданова, А.В.Антонова-Овсеевко, М.М.Айдамирова, С.С.Айзафта, М.Ю.Ашенбреннера, Е.К.Брешко-Брешковской, М.Горбунова, А.Р.Гоца, И.С.Голубева, Р. Л.Глушановой, С.Ю.Витте, М.Е.Бакая, В.И.Белова, В.Л.Бурцева, С.П.Белецкого, А.В.Герасимова, Б.Горева, И.П.Гольденберга, Ю.В.Давыдова, А. Даллеса, Л.Г.Дейча, Г.С.Доценко, Е.Я.Драбкиной, И.М.Дубинского-Мухадзе, А.И.Елизаровой, А.С.Енукидзе, С.Д.Жгенти, Г.К.Жукова, В.М.Жухрая, П.П.Заварзина, В.М.Зензинова, Г.Е.Зиновьева, С.В.Зубатова, Б.И.Каптелова, Н.Кванталиани, А.Ф.Керенского, Ф.М.Кнунианц, Н.Н.Колесниковой, Л.Б.Красина, Н.К.Крупской, В.Н.Коковцова, В.М.Каспарова (Каспарянца), Н.В.Крыленко, П.Г.Курлова, М.И.Кучава, А.А.Лопухина, В.И.Ленина, А.В.Луначарского, О.Г.Шатуновской, М.Г.Лепехина, С.Лакобы, А.П.Мартынова, А.Максимовича, Н.Я.Макеева, М.М.Мамедъярова, Р.В.Малиновского, И.Г.Морозовой, К.С.Москаленко, Л.П.Меньщикова, В.Ф.Некрасова, А.М.Никитина, Б.И.Николаевского, И.А.Окладского, В.Т.Оппокова, Б.С.Попова, В.С.Пикуля, Г.В.Плеханова, К.Г.Паустовского, З.И.Перегудовой, Л.А.Ратаева, Е.Ф.Розмирович, П.М.Рутенберга, Ч.Рууда, Б.В.Савинкова, С.М.Сальникера, А.Семкина, Е.Д.Стасовой, С.А.Степанова, Е.С.Созонова, П.А.Столыпина, М.Суханова, В.Стуруа, А.И.Спиридовича, Л.Д.Троцкого, А.А.Трояновского, Н.С.Тютчева, К.М.Турецкого, В.Н.Фигнер, Н.С.Хрущева, В.М.Чернова, С.Г.Шаумяна, П.Е.Щеголева, К.З.Циллиакус — всех, имеющих непосредственное отношение к теме книги.

В книге использованы также документы Департамента полиции, охранных отделений МВД Российской империи, различных политических партий.



Содержание

Глава первая	7
Некоторые подробности об охранке	20
Как полиция вербовала провокаторов	42
Азеф — король провокаторов	52
Георгий Гапон	92
Графа Витте полиция не любила	121
Покушение, организованное охранкой	130
Взлёт и падение Столыпина	150
Выстрелы Богрова	161
Дело Романа Малиновского	184
Судьба генерала Джунковского	245
Мирон Черномазов	260
Конец царской охранки	274
Был ли Сталин агентом охранки?	281
Авиакатастрофа 1925 года	320
Его имя приводило людей в трепет... ..	333
Глава последняя	388

Литературно-художественное издание

Виктор Джанибекян

Провокаторы

Ответственный за выпуск

О. Прудков

Редактор

В. Чернявский

Корректор

Б. Тумян

Компьютерная верстка

Ю. Синицын

OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа

Подписано в печать 04.01.00.

Формат 84×108 ¹/₃₂. Усл. печ. л. 21,42.

Тираж 7 000 экз. Заказ № 808.

Лицензия ЛР № 066682 от 16 июня 1999 г.

ООО «Гя итэрум»

127434, Москва, ул. Немчинова, 10

Книга издана при техническом содействии

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ОАО «Рыбинский Дом печати»

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Служил ли Сталин в тайной полиции?
Какова была предыстория карьеры Лаврентия Берии?
Кто стоял за трагическими событиями восстания
1905 года?

Здесь вы найдете ответы на все эти вопросы. И не только. Вы узнаете подлинные, основанные на воспоминаниях, свидетельствах и архивных документах истории самых печально знаменитых провокаторов царской охранки, от Гапона до Черномазова. Истории тайных агентов, которые послужат ключом к разгадке многих тайн прошлого...

ISBN 5-85589-061-9



9 785855 890617